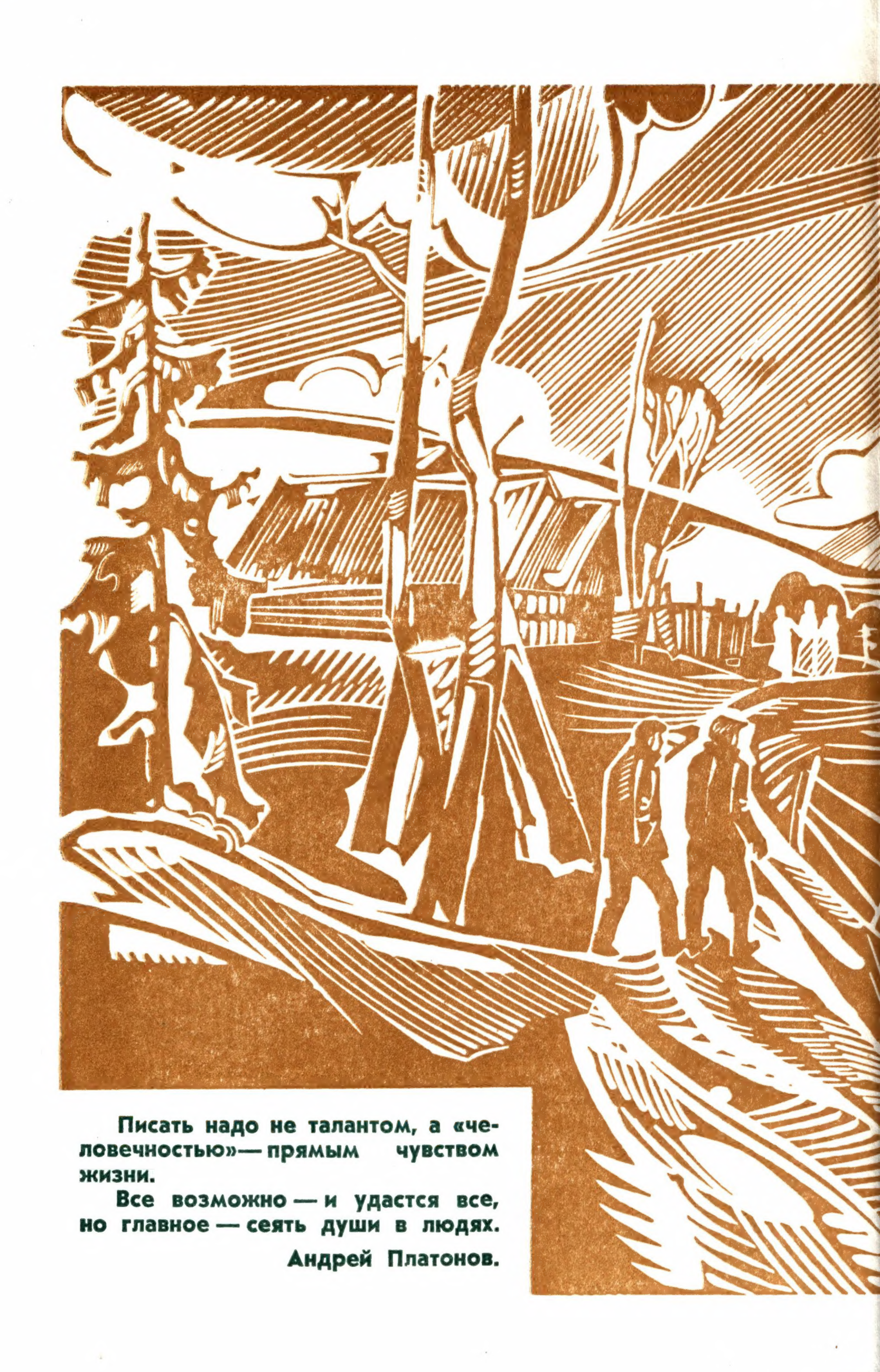
А.П. ПЛАТОНОВ

ИЗБРАННОЕ





Писать надо не талантом, а «человечностью» — прямым чувством жизни.

Все возможно — и удастся все, но главное — сеять души в людях.

Андрей Платонов.







А. Платонов

1899—1951

А.П. ПЛАТОНОВ

ИЗБРАННОЕ

Москва
«Просвещение»
1989

ББК 83.3Р7
П37

Составитель, автор предисловия, комментариев
Н. Г. Полтавцева

Оформление Е. А. Кручины и А. Я. Салтанова

Текст печатается по изданию:
Платонов Андрей. Собрание сочинений: в 3 т.—
М.: Сов. Россия, 1984—1985.— Т. 1—3.

Для учащихся старших классов средней школы

Платонов А. П.

П37 Избранное: Для учащихся ст. классов сред. шк./Сост., авт. предисл., коммент. Н. Г. Полтавцева.— М.: Просвещение, 1989.— 368 с.: ил.

ISBN 5-09-002933-4

В книгу включены повести, рассказы и сказки великого советского писателя А. П. Платонова, стремившегося в своем творчестве постичь истинную сущность человека, показать процесс освобождения человека от гнета ложного сознания.

П $\frac{4306020000—309}{103(03)—89}$ инф. п.— 89 (4800000000) ББК 83.3Р7

ISBN 5-09-002933-4

СВЕТ ЖИЗНИ

«Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, родные плетни и поле над всеми ими... В нем цвела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека.

...Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара»...

Андрей Платонов. *Потомки солнца.*

Есть писатели — баловни литературной судьбы: они еще при жизни изведали раннее признание, любовь читателей, успех, славу. Есть и другие: упредившие свое время, предвосхитившие его ожидания и самые смелые проекты, признанные через много лет благодарными потомками, не перестающими удивляться былому недомыслию своих дедов и прадедов. ...Путь культуры никогда не был прост и однозначен, хотя и своевременное, и позднее признание всегда получают в ней в конце концов справедливое истолкование. Простые формулы «созвучен эпохе» или «опередил свое время» — самые наглядные и ходовые тому примеры.

Однако существуют и третьи: писатели с подспудной, глухой славой, разгорающейся чем дальше, тем больше. И если при жизни в таланте и подлинности им не отказывали лишь самые справедливые и чуткие современники, их посмертная нужность для всех нас — обитателей большого мира — позволяет произнести как отгадку слово «классик». История признания таких писателей чаще всего приходится на переломные этапы общественного развития, когда общественное сознание вновь обретает пытливость и интерес к собственному пути, теряет шоры, изгоняет «внутренних цензоров» и ниспровергает мнимые кумиры. Андрей Платонов — такой писатель.

Жизненная и писательская судьба его полностью определилась великой социальной революцией и путями развития советского общества.

«Есть революции, изменяющие внешний образ жизни лишь слегка, по необходимости, не затрагивающие внутренний строй человека. И есть перевороты, настолько резко меняющие внешность человечества, что и то, что называется человеческим духом, ломается, умирает и рождает своей смертью новую форму психики.

Поэтому человеческий мир сейчас стоит перед великим и коренным изменением внутренней сущности самого человека, которое будет идти параллельно изменению внешней социальной формы человечества. И наша социальная революция есть также и революция интеллектуальная, и она есть такой исторический момент, когда человечество возрождается, обновляется и находит новый источник сил для питания и развития своей жизни».

Так писал в 1920 году молодой Андрей Платонов.

Если прибегнуть к метафоре, то родиной для Андрея Платонова была революция, а семьей — народ, ее совершающий. Народ впервые входил в историю, культуру и литературу как полноправный герой, вызывая у писателей старшего поколения сложные, противоречивые чувства — удивления, изумления, восхищения, иногда — опаски... Андрей Платонов, подобно Горькому, был плоть от плоти этого народа, и взгляд на народ «со стороны» ему не грозил. Вот почему его путь — это путь самого народного сознания в революции, как бы заново переживающего в очень короткий временной промежуток всю историю человеческой культуры: от мифологической, языческой древности до наших дней. От сознания, хранящего память архаических времен,— к сознанию, преображенному творческим, свободным и радостным трудом: так, пожалуй, можно очертить вектор основного движения платоновской прозы. А в промежутке были все этапы развития человеческой культуры: и Возрождение, и Просвещение, и великие научно-технические революции, и разочарования в них... Путь этот Андрей Платонов проходил прежде своих героев, которых позже наделял своими собственными идеями, сомнениями и утратами...

Такой представляется попытка дать ответ на вопрос: чем необычен писатель Андрей Платонов? Чем вызван нарастающий во всем мире интерес к его творчеству? Видимо, особенность художественного мышления классика советской литературы такова, что глубоко современная проблематика его книг совпадает с древнейшими представлениями человека о мире, но дается с позиций современного личностного, предельно ответственного сознания. Человек осознал себя обитателем общего дома — человечества, обживающего космос,— а это очень близко «планетарному» и неэгоистическому мышлению художника Платонова. Проследим же его изменения — от истоков до устья.

> «...Теперь исполняется моя долгая упорная детская мечта — стать самому таким человеком, от мысли и рук которого волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей, и из всех людей — я каждого знаю, с каждым спаяно мое сердце».
>
> Андрей Платонов. *Автобиографическое письмо.*

Андрей был старшим из десятерых детей в семье Платона Фирсовича Климентова, слесаря и помощника машиниста в воронежских железнодорожных мастерских. Память о нем и о матери, Марии Васильевне, Платонов пронес через всю свою жизнь. К теме семьи, к детству, к проблеме сиротства — духовного и физического — Платонов будет возвращаться постоянно. Духовный опыт его детства несут в себе многочисленные герои платоновских повестей и рассказов — Саша Дванов, Назар Чагатаев, мальчик — герой рассказа «Глиняный дом в уездном саду», Никита из одноименного рассказа, наконец, дети из знаменитого платоновского «Возвращения».

Задумываясь над тем, что такое семья, Андрей Платонов пишет: «...чувству родины и любви к ней, патриотизму, человек первоначально обучается через ощущение матери и отца, то есть в семье... Именно в любви ребенка к своей матери и к своему отцу заложено его будущее чувство общественного человека; именно здесь он превращается силою привязанности к источникам жизни — матери и отцу — в общественное существо, потому что мать и отец в конце концов умрут, а потомок их останется — и воспитанная в нем любовь, возжженное, но уже не утоляемое чувство обратится, должно обратиться, на других людей, на более широкий круг их, чем одно семейство. Сиротства человек не терпит, и оно — величайшее горе».

Детство Андрея Платонова вобрало в себя не только мир рабочей Ямской слободы, не только обучение в начальной школе у Аполлинарии Николаевны Кулагиной (героини рассказа «Еще мама»), не только работу рассыльным в страховом обществе «Россия», обучение профессии литейщика и помощника машиниста. Из детства, «предыстории», Андрей Платонов вместе со всей страной перешагнул, минуя юность, сразу в молодость, взрослую и бурную жизнь.

Исторические события 1917 года застают восемнадцатилетнего юношу в воронежских железнодорожных мастерских. «Фраза о том, что революция — паровоз истории,— писал Платонов,— превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе... Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции».

Одухотворенное высоким смыслом движение точных и красивых механизмов сливается в восприятии юноши со столь же высоким, точным и осмысленным движением революционного хода истории. «Революцией духа» назовет он в одной из своих статей пришедшую в мир провинциальных захолустий и озарившую его новым светом революцию. Вот почему наряду с учебой в Воронежском политехникуме Платонов становится активным участником и корреспондентом многочисленных литературно-журналистских собраний и изданий. В статье «Государство — это мы» (1920) Платонов пишет: «Мы рыцари жизни,

мы дети грязной безумной земли. Но мы хотим и мы сможем довести ее от низа до неба». С этими же идеями мы встречаемся и в его статье «В звездной пустыне» (1921): «Вселенная — это радость, позабывшая смеяться. Она — не взорванная гора на нашей дороге. И зарницы мысли рвут покой и радость и угрожают довольному миру пламенем и разрушением до конца...»

«Поэту-рабочему», «поэту-философу» становилось тесно в рамках несовершенного мира — бунт против природных сил Платонов вел очень последовательно: его журналистская, агитационная и поэтическая деятельность в газетах и клубах Воронежа была продолжением его занятий гидромелиорацией и электротехникой, которым он обучался в политехникуме, дабы реально доказать силу идей и знаний. Молодой Платонов видит возможность переустройства мира в сознательной деятельности человека. Пробуждение творческого сознания в темных «природных» человеческих массах как способ переустройства природы — основная мысль его статей.

Итак, «гнев, мысль, надежда изменяют природные формы». Они — и труд. «Труд стал смыслом жизни вселенной, когда стал смыслом человека». Это, по Платонову, труд не только созидания, но и труд разрушения — старой природы, старого знания, старого искусства, в котором активнейшее участие принимает техника. О том, к каким громадным издержкам это приводит, расскажут позже платоновские научно-фантастические повести двадцатых годов «Потомки солнца», «Лунная бомба», «Эфирный тракт», в которых гнев, мысль, надежда, изменив природные формы, создадут новую материю, перекроят лицо вселенной, но не родят счастья и человечности, потому что они работали для торжества абстрактного Человечества — и оказались далеки и не нужны людям.

В центре художественного мира Платонова тех лет — «организованное общество» и человек-«просветитель», бросивший вызов косным силам враждебных стихий. Власть над миром принесла ему революция. Именно в это время появляется у Платонова одна из основных его тем: тема пробуждения в человеке сознания вместе с приходом революции как закономерного, естественного процесса. Не случайно платоновская публицистика всегда была истоком его постоянных, повторяющихся настойчиво и упорно, с великой последовательностью пытливого ума тем и сюжетов, излюбленных проблем и мотивов художественного творчества. Публицистика как бы предваряла, объясняла и задавала тон его художественному творчеству.

Период творчества начала 20-х годов — так называемый «воронежский период»— это время, когда писатель и его герои были единомышленниками. Если в публицистике это мышление «народного интеллигента» приводило подчас к максималистским выводам, то в художественном творчестве идеи ранних лет про-

ходят «перепроверку», и отношение Платонова к ним зачастую меняется. Почему же это происходит? Платонов, работавший в 1921—1926 годах губернским мелиоратором и электротехником, в конкретных ситуациях сталкивался с той вселенной, которую призывал перестраивать. И реальная жизнь начинала ограничивать «космизм» его вселенских планов.

«Засуха 1921 года произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой»,— так пишет он в автобиографии от 29 сентября 1924 года. Однако именно в это время рождались в его художественном сознании идеи и сюжеты произведений, которые составят вскоре первый московский сборник прозы «Епифанские шлюзы» (1927), обративший на себя доброжелательное внимание Горького и заставивший заметить среди многих, входящих в литературу, молодого писателя из Воронежа.

> «Мы увидели свет в унылой тьме нищего, бесплодного пространства,— свет человека на задохнувшейся, умершей земле,— мы увидели провода, повешенные на старые плетни, и наша надежда на будущий мир коммунизма, надежда, необходимая нам для ежедневного трудного существования, надежда, единственно делающая нас людьми, эта наша надежда превратилась в электрическую силу, пусть пока что зажегшую свет лишь в дальних соломенных избушках».
>
> Андрей Платонов. *Родина электричества.*

В 1926 году Платонов выезжает в Москву, где получает направление на работу в качестве помощника подотдела мелиорации в Тамбовском губернском управлении. Его жена, Мария Александровна Кашинцева, и сын Платон, родившийся в 1923 году, остаются в Москве. Письма к жене из Тамбова помогают многое понять в сомнениях и тревогах писателя тех лет. «...Вновь охватила меня моя прочная тоска, вновь я в «Тамбове», который в будущем станет для меня каким-нибудь символом, как тяжкий сон в глухую тамбовскую ночь, развеваемый утром надеждой на свидание с тобой... Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и проза. Но мне кажется — настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье...» Тамбов действительно станет вскоре в сатирической прозе писателя символическим «городом Градовым»— образом непроснувшегося мира косного сознания, миром духовного захолустья, куда и революция дошла лишь в виде анекдотически воспринятого известия о светопреставлении... Упразднение в финале повести «города Градова»— очередная платоновская попытка одним махом, бесповоротно и окончательно разрубить гордиев узел сложных проблем, «пу-

стить дураков в расход», и тем самым снять со счетов эту проблему. Однако Тамбов одновременно стал местом, где Платонов не только многое передумал, но и многое написал, в том числе и программную для себя повесть «Епифанские шлюзы».

В лучших своих рассказах 20-х годов «Родина электричества», «Песчаная учительница», в повести «Епифанские шлюзы» платоновский герой-энтузиаст, охваченный новым знанием о мире, убежденный, что техника может решить все проблемы, встречается лицом к лицу с природной стихией: природой и человеком, живущим по ее законам. Люди — природная масса, подчиненные биологическим ритмам мира, сопротивляющиеся вместе с природой, вместе с ней противостоящие подвижнику-одиночке,— ситуация на первый взгляд почти безнадежная. Платонов пришел к первому серьезному противоречию между своими ранними идеями и теориями и реальностью жизни.

Но он сумел извлечь корень проблемы — человек должен бороться за человечное в человеке: вот путь покорения природы.

Один только труд, основанный на техническом знании, начинает ощущаться Платоновым как нечто недостаточное. Требуется некое дополнительное начало — им, этим началом, становится **одухотворение** задачи, поставленной перед человеком. Только тогда можно действительно говорить и о преображении, и о преобразовании жизни. В повести «Епифанские шлюзы», рассказывающей о попытках в петровские времена построить канал, соединяющий Дон с Волгой, и выйти к морю, писатель показал, к чему может привести бездуховный труд. Ситуация ранних рассказов — подвижник — технический энтузиаст и объединенные в противостоянии ему люди и природа — закончилась здесь трагически. Дух англичанина Бертрана Перри был далек от выполняемой им задачи, труд не стал творческим, переделка людей и природы не удалась. Конфликт завершился позорной смертью от руки палача, победой «биологического» начала над жесткой технической логикой.

Ранняя платоновская публицистика и его прозаический сборник «Епифанские шлюзы» многое позволяют понять в дальнейших поисках Андрея Платонова. Становится ясным, что повесть «Ямская слобода» (1926—1928) — это приближенное рассмотрение человека, живущего по законам «смутного», «природного», «косного» сознания — косного не из-за глупости, а из-за несправедливого устройства истории. Филат — сирота, у него нет того, кто по законам фольклора и народной этики мог бы научить его «уму-разуму»,— отца, и умению жалеть и любить, чувствовать другого человека — матери. Поэтому так един он с природой, и таким высоким слогом говорит об этом автор, и так косноязычен он в своих попытках думать, сознавать, овладевать разумом. В финале повести Филата уводили навстречу истории — в красногвардейский отряд, но шел он

скорее за «душевным человеком», которого смог запомнить его «смутный рассудок». До сознательного участия в истории было еще далеко.

Филат — первый из «людей массы», представителей «смутного сознания», человек народа, ставший предметом забот, тревог и анализа Платонова. Он был воспринят им — наконец-то!— как непростой, нуждающийся в участии и любви, в понимании и включении в человечество «сокровенный человек». Сокровенный, то есть такой, который скрывает и хранит в себе много тайн и неожиданностей.

Повесть «Сокровенный человек» (1928), давшая название сборнику платоновской прозы, вновь развивала тип «естественного», «сокровенного» человека. Однако Фома Пухов воплощал в себе несколько иные качества народного сознания. Похожий на сказочного Ивана-дурака, Фома Пухов по всем правилам сказки, фольклора играет с жизнью, смертью, своей и чужой, забавляется странным и прекрасным устройством мира техники и машин и чувствует себя в обличье «природного дурака» весьма неплохо, пока не начинает понимать, что его путешествие в мир революции складывается не так, как бы ему хотелось. Он пытается влиять на этот мир, пользуясь старыми игровыми законами (история с песчаным десантом), однако оказывается «ветром, дующим мимо паруса революции». И тогда наступает для Пухова странное и непривычное состояние: «он уже больше не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвением сердца, который редко отворяют. А раньше вся природа была для него срочным известием».

Когда Пухов ощущает себя «вычтенным из общества», тогда умирает для него и природа. Раньше пуховскую этику, пуховское поведение диктовала старая народная культура, архаичная и патриархальная, сказочно-лукавая и сродственная герою, как его собственная кожа. Теперь ей на смену шла культура новая, и ее, как и историю, делали красноармейцы-десантники, идущие на штурм Перекопа, Афонин, матрос Шариков. Пухов жил рядом с ними, исследуя их мир «на прочность». Изжив старые правила и образцы, Пухов возжаждал новых, и они пришли с внезапным — как всегда бывает в сказке — желанием **тоже** делать историю.

«Нечаянно сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция — как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как нарождение.

Во второй раз — после молодости — Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и действии ... отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции».

Пуховы, возжелавшие делать историю,— новая вариация старой платоновской темы «смутного сознания», которую он разовьет в повестях «Происхождение мастера» (1928), «Чевенгур» (1928), «Котлован» (1929).

Так намечаются первые изменения в платоновской концепции гуманизма. Человек по-прежнему остается в центре его внимания, но проблема «человек и мир» заменяется проблемой «человек в мире», по выражению исследователя творчества Платонова Л. Шубина. Одной лишь действенности — главной категории в платоновском художественном сознании ранних лет — явно недостаточно. Так появляется на переломе 20—30-х годов другая категория — гармония.

Социально-утопическое объяснение действительности свойственно всем платоновским героям 20-х годов, людям из народа, оказавшимся впервые в истории в роли вершителей судеб — своих и мировых. Горький и справедливый, лирический и иронический одновременно рассказ о попытках этих людей соединить утопические представления о социализме с реальной практикой строительства социализма предстает перед нами не только в его повестях, но и в сатирических рассказах и хрониках тех лет: «Государственный житель» (1929), «Усомнившийся Макар» (1929), бедняцкой хронике «Впрок» (1931), ставших объектом сокрушительной и несправедливой критики. Платонов был обвинен в самом страшном грехе —«проповеди гуманизма» (Л. Авербах). Его почти прекратили печатать. Однако творчество Платонова, несмотря на необоснованные упреки критики, было глубоко современно и значительно. Проблема «человек и природа» в его прозе сомкнулась с проблемой «человек и общество»— таков обычный путь художественной философской прозы.

Путь, проделанный Платоновым от начала 20-х годов к середине 30-х,— от изображения косных стихий мира, противоположенных разуму отдельного человека-«просветителя» («Песчаная учительница», «Родина электричества»), к пониманию кризиса «просветительства» («Епифанские шлюзы»); от изображения человека, являющегося частью диких и яростных стихий («Ямская слобода», «Сокровенный человек»), к борьбе, преодолению и победе-синтезу, взаимообогащающему обе стороны. Основные принципы эстетики Платонова 30-х годов — действенность и гармония. Он как бы двигался от «смутного» сознания к сознанию реальному — от утопий о социализме к реальному представлению о нем.

> «...В будущем человеке элемент свободы осуществится как высшая и самая несомненная реальность. Больше того, эта личная свобода будет служить объединению человечества, а вовсе не личному наслаждению: выясняется, что свобода — это общественное

чувство и она не может быть применима в эгоистических целях».

Андрей Платонов. *Из архивных записей.*

Тридцатые годы — середина творческого и жизненного пути писателя, горный перевал, с которого хорошо видны уже оставшиеся позади и еще не пройденные пространства. Изъятый, казалось бы, критикой из реальной жизни литературы, Платонов все равно присутствовал в ней. Его нежелание оправдываться в несуществующей вине не всеми тогда было понято как единственно достойное поведение. Платонов много думал о том, как соотносятся жизнь, литература и критика, в чем смысл писательского труда, как приходит к человеку подлинное понимание свободы — свободы от мнимых идолов и кумиров, от плена старых, быть может, привлекательных, но оставшихся позади чувств и стремлений *. Расставание со «смутным сознанием» его прежних героев — в центре внимания писателя, теперь это понятие стало намного шире: в мире ложных представлений и «смутных чувств», вне разума истории живут не только те, кто был обездолен когда-то. Существует сознательно создаваемый и тщательно взлелеянный мир лживой идеологии, превращающий человека в крошечную песчинку, заставляющий добровольно уходить в мрак и хаос стихий, так как право на мысль и разум отданы единственному избраннику. Начав исследования этого процесса в своих критических статьях о творчестве западных писателей (Э. Хемингуэе, Р. Олдингтоне, К. Чапеке), которые он публиковал под псевдонимами «Ф. Человеков», «А. Климентов» и др. в литературно-критических журналах «Литературное обозрение», «Литературный критик», «Детская литература», Платонов, как обычно, от публицистики перешел к художественной прозе. Ярче всего эта тема прозвучала в его предвоенных антифашистских рассказах «Мусорный ветер» (1934) и «По небу полуночи» (1938), а также в прекрасных образцах философской прозы — новеллах «Такыр» (1934) и повести «Джан» (1935). В «Мусорном ветре» Платонов сводит на «очной ставке» идей мир классического западного гуманизма — старый мир просветительской идеологии, претендовавший на звание «разума истории»,— от его лица говорит и действует «физик космических пространств» Альберт Лихтенберг; мир фашизма — мир «смутного сознания», рационально организованного с далеко идущими государственными целями, и мир коммунизма, представленный прекрасной и смелой девушкой Гедвигой Вотман. Этот философский спор с весьма реальными историческими выводами решается Платоновым в пользу идеи подлинной свободы, данной марксизмом. Будущее для писате-

* Результатом этих размышлений стала книга статей и рецензий «Размышления читателя» (1939), изданная в 1970 году.

ля наполнено борьбой, противостоянием человеческого и бесчеловечного в мире: это главный вывод, к которому он пришел. Но взамен оптимистических заявлений молодого Платонова об истинности мира, организованного на рациональных началах, у зрелого Платонова появляется сдержанность и осторожность в прогнозах. Единственным предположительно верным предопределением будущего, по мысли Платонова, будет «конкретное, обыкновенное изложение развития благородной человеческой страсти (к свободе.— *Н. П.*) — лучший способ предсказания будущего, потому что невозможно доказать обратное — исчезновение этой страсти, что же тогда станется с человеком? А если что и станется, то будет ли это человек и стоит ли о нем тогда говорить?»

В философской повести Андрея Платонова «Джан» писателя интересовало уже не становление отдельной личности, а обретение свободы целым народом. В этой повести писатель выступил против нахождения человека в плену первоначальной слитности с природой, против дикарского состояния сознания, против всесторонней несвободы человека. Здесь трагический конфликт получил подчеркнуто обостренное и обобщенное выражение. «Разум» предстает перед нами по законам жанра философской повести в лице главного героя, Назара Чагатаева. «Чувства»— это джан, милая жизнь, душа, утерянная и не обретенная в неподлинном бытии, это народ. В судьбе народа джан и Назара Платонов дал ситуацию трагедии, но решил ее не трагическим способом, внеся в жизнь джан идеи новой социальности.

Главной для писателя в 30-е годы становится проблема истинно человеческой свободы, проблема подлинной гармонии, проявляющейся на всех уровнях. В реальной жизни ее быть не могло — поэтому у Платонова возникают трагические нотки, вызванные невозможностью сиюминутного общего счастья. Громче всего они прозвучали в рассказах «Фро» и «Река Потудань».

Трагическое буквально раздирало прозу Платонова. Страстно желая гармонии, он писал о дисгармонии бытия. Основной конфликт писатель видел в разрыве, несоответствии «чувств» и «разума», о котором мы говорили выше. Более всего Платонова страшила односторонность — в чем бы она ни проявлялась — будь то жизнь общества или сердце человека. По этой причине и рождалась ориентация на «абсолютное будущее»: сознание и чувство социальны, так пусть наступит мир социальной гармонии! «Абсолютное будущее», воплощающее принципы подлинного гуманизма,— вот что определяло платоновский идеал в 30-е годы. Платонов выявлял трагический конфликт — и «разрешал» его.

Что же, по мысли писателя, способствовало этому? Идея мудрой и справедливой человечности, данная марксизмом, неэгоистическая любовь, семья, народ... Утверждая свой идеал,

Платонов обращается не только к жанру философской прозы, но и к психологической — так появляются рассказы «Третий сын», «На заре туманной юности», «Июльская гроза», «Река Потудань», «Фро», «Юшка»...

> «...Война — это зона между жизнью и смертью, где жизнь добывается в тяжелом труде через смерть врага,— война вместе с тем место, где надолго решается судьба человечества. Например, русское серое обычное поле является великим многозначительным образом, а супряга, когда тринадцать-четырнадцать детей и старух впряжены в общую лямку, тянут однолемешный плуг, **символом** непобедимой России...»
>
> Андрей Платонов. *Из записных книжек.*

На рубеже 30—40-х годов в прозе Платонова появляются новые решения: он придет к новому осознанию и образному воплощению связей между естественным и социальным. Особое место в их ряду будут иметь произведения Платонова, написанные в военное время. Это был важный этап для всей советской литературы — проверка духовного единства перед лицом опасности. Новым этапом стало это время и для Платонова. Эвакуировавшийся в начале войны в Уфу, в 1942 году в октябре Платонов призван в армию и становится корреспондентом военной газеты «Красная звезда». Многочисленные его военные рассказы появляются не только на страницах этой газеты, но и в других газетах и журналах, а также издаются отдельными сборниками. Приходит, как кажется, конец временному отчуждению писателя от живого литературного процесса.

Еще в 1938 году (рассказ «По небу полуночи») Платонов хорошо представлял опасность идей национал-социализма, грозящих миру. Они превращали землю в пустыню, детей в сирот, ум в безумие.

В 40-е годы писатель усиленно подчеркивает не столько иррациональное начало фашизма, победившее старую европейскую культуру чувств и мышления, сколько его рассудочность и прагматизм, «съевшие» душу (рассказы «Седьмой человек», «Неодушевленный враг», «Девушка Роза» и другие). Не случайно борьба «естественного» и «противоестественного» начал, «живого» и «мертвого», появившаяся еще в прозе молодого Платонова, станет определяющей в военных рассказах. В них «одухотворенным людям»— советским солдатам, умирающим за подлинные ценности: родину, народ, семью, противопоставлен мертвый, «неодушевленный» мир фашизма.

После войны Платонов публикует рассказ «Семья Иванова» (1946) (в поздних публикациях печатается под названием «Возвращение»), вызвавший серию нападок на писателя за «клевету на советскую семью». В это время Платонов пишет детские рассказы-притчи и издает в своей обработке башкирские

и русские народные сказки. Ясный мир детства и мир народной этики снова позволяют нам увидеть «лицо Ивана из сказки».

Путь писателя завершался. В начале 1951 года он умер в своей квартире на Тверском бульваре от туберкулеза, полученного на фронте. В конце этого пути оказался мир детства. Вернемся и мы в него — вместе с писателем. Чем была семья для Платонова? И для его художественного сознания?

«Мать»— это родина, народ, женское начало, чувство, душа, естество, природа. «Отец»— это пастырь, идеолог, начало мужское, духовное, идеальное. И они, по Платонову, не должны существовать отдельно, потому что тогда возникают дисгармония и трагедия. Объединение этих первоначал бытия порождает самые различные следствия. Так, объединение души и духа рождает платоновского одухотворенного человека. Чувство и сознание порождают сердечность. Мать и отец дают жизнь ребенку, дитяти, и все они вместе есть семья. Пожалуй, это наиболее важно для писателя, потому что и объединение родины, народа с пастырем, идеологом рождает большую семью — государство.

Становится тогда прозрачно ясной и платоновская мотивировка сиротства — страшного, двойного сиротства: безотцовщины, чреватой бездуховностью, и человека без матери — человека бесчувственного или бессердечного.

Итак, семья лежит в основе платоновского художественного мира, и яростный культ предков и потомков, стариков, покойников и детей, становится таким образом средством выражения отношения ко времени — настоящего к прошлому и будущему. Ибо для писателя умершие матери и отцы есть умершие эпохи, отошедшие в прошлое, предшествующие нашим, современным этапы чувства и сознания. А дети и чудаки, юроды — их взрослые варианты — это залог сердечности, одухотворенной человечности будущего. Поэтому детские рассказы Платонова, как шкатулки с двойным дном, поучение для детей, притча для взрослых.

И странствия в книгах Платонова — странствия сказочные, фольклорные. Это либо странствия души в поисках разума (так путешествуют Пухов, народ джан, Фро и множество других платоновских героев), либо странствия духа — в поисках «нужной родины», теплоты чувства, родства со всем живым в мире (путь Назара Чагатаева, Назара Фомина, Зуммера, Бертрана Перри, машиниста Мальцева...). И все они ищут гармонии...

Так появляется в «Джан» ключевая метафора — пустыня — иссохшее, жаждущее сердце. И, как в пушкинском «Пророке», духовная жажда народа сливается с образом пустыни. Но пустыня сердца — это еще и символ гордыни. Поэтому в ней (то есть в мертвом сердце) живут лишь смутные чувства — стихийные страсти, могущие стать опасными, и блуждает одинокий иссохший разум.

Путь разума по пустыне сердца к утраченным некогда чувствам приводит в итоге к оживлению, жизни сердца. И путь в пустыню начинается по воде — вспомним о значении воды — стихии жизни и смерти — в фольклоре. «Иссохшее сердце» — пустыня — жаждет счастья, метафорической «живой воды».

Логическое и биографическое объяснение этому мы можем отыскать в платоновских занятиях гидромелиорацией, в его публицистике ранних лет, да и в очерках 30-х годов о социалистических преобразованиях в пустыне. Но одновременно в мире художественной прозы Андрея Платонова **вода** будет совпадать с понятием **жизнь**, живое, естественное чувство, женское начало, как станет вполне реальный **свет**, пришедший из «второй» профессии Андрея Платонова, не только гидромелиоратора, но и электротехника, синонимом начала духовного, мужественного, просветляющего. Понятия «свет разума», «свет идей» существуют в ранней прозе писателя на уровне аллегорий, и лишь гораздо позже свет неба, свет звезд, сам мотив света приобретут оттенок чистой духовности, превратившись в программном рассказе «Свет жизни» в метафору синтеза и гармонии. Гармония ощущается писателем и его персонажами как обретение счастья. Но есть столь же четко осознаваемое трагическое: «Счастье — незаслуженно». Поэтому реального достижения счастья в платоновской прозе не существует. И лучшее, что может дать писатель своим героям,— это ожидание и обещание счастья. Так, скажем, происходит в рассказе «Возвращение» обрыв сюжета на вторичном, **подлинном** возвращении героя с войны домой. **Какая** теперь наступит гармония, **каким** будет это долгожданное счастье, писатель показать не может. Или не хочет.

В этом рассказе мотивы дома и дороги, соприкоснувшись, дают такую ситуацию, как встреча у порога. Символически это очень точное выражение ситуации **ожидания**, поиска, выяснения путей восстановления разрушенной гармонии. Война для Платонова есть постоянная метафора распада, разрушения дома, семьи, родины. И не случайно в «Возвращении» ссору между матерью и отцом — следствие «губительных страстей» — прекращают дети, как бы выводя мир (вселенную) из войны — к миру. А средством построения гармонии, связью между реальным и идеальным, душой и духом, материей и сознанием, матерью и отцом, жизнью и словом, оказывается **любовь** — творческая, бескорыстная и неэгоистическая.

Она выступает у Платонова как универсальное средство связи между всеми элементами мира: и существами, и минералами, и вещами, и людьми — на равных — как разорванным некогда трагическим единством. Такая неэгоистическая любовь — залог вечного и ничем не разрушаемого союза, обретаемого в памяти, связывает ребенка и старуху в рассказе «Глиняный дом в уездном саду», девушку Олю и оставшегося без матери мальчика Юшку («На заре туманной юности»), заме-

нившего своим братьям мать Семена («Семен»), немецкого летчика Эриха Зуммера и испанского сироту («По небу полуночи»). Такая любовь спасает от губительных сил талант Мальцева («В прекрасном и яростном мире»).

Идея возвращения к любви лежит в таких платоновских рассказах, как «Фро», «Возвращение», «Река Потудань», «Афродита».

В послевоенном рассказе Андрея Платонова «Афродита» Назар Фомин ищет свою утраченную в жестоком круговороте войны жену. Найти ее — обрести мир, потому что все — любовь, везде — она. Она то исчезает, то возникает вновь, но обрести ее — значит найти гармонию, родить, как в мифе, мир изначально! И в этом вечном поиске Афродиты пребывают все платоновские герои, это предназначенная и уготованная им автором «радость-страданье» (А. Блок).

Радостью-страданием был жизненный и творческий путь писателя Андрея Платонова, чьи книги, уже после его смерти, продолжают приходить к нам и продолжают учить нас великому дару любви, милосердия, доброты...

Н. Полтавцева

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Я родился в слободе Ямской, при самом Воронеже. Уже десять лет тому назад Ямская чуть отличалась от деревни. Деревню же я до слез любил, не видя ее до 12 лет. В Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и много мужиков на задонской большой дороге. Колокол «Чугунной» церкви был всею музыкой слободы, его умилительно слушали в тихие летние вечера старухи, нищие и я. А по праздникам (мало-мальски большим) устраивались свирепые драки Ямской с Чижевской или Троицкой (тоже пригородные слободы). Бились до смерти, до буйного экстаза, только орали: «Дай дух!» Это значит, кому-нибудь дали под сердце, в печенку, и он трепетал, белый и умирающий, и вкруг него расступались, чтобы дать ход ветру и прохладе. И опять шла драка, жмокающее месиво мяса.

Потом наступило для меня время ученья — отдали меня в церковно-приходскую школу. Была там учительница — Аполлинария Николаевна, я ее никогда не забуду, потому что через нее я узнал, что есть пропетая сердцем сказка про Человека, родимого «всякому дыханию», траве и зверю, а не властвующего бога, чуждого буйной зеленой земле, отделенной от неба бесконечностью... Потом я учился в городском училище. Потом началась работа. Работал я во многих местах у многих хозяев. У нас семья была одно время в 10 человек, а я старший сын —

один работник, кроме отца. Отец же, слесарь, не мог кормить такую орду.

Я забыл сказать, что, кроме поля, деревни, матери и колокольного звона, я любил еще (и чем больше живу, тем больше люблю) паровозы, машину, ноющий гудок и потную работу. Я уже тогда понял, что все делается, а не само родится, и долго думал, что и детей где-то делают под большим гудком, а не мать из живота вынимает.

Между лопухом, побирушкой, полевою песней и электричеством, паровозом и гудком, содрогающим землю,— есть связь, родство, на тех и других одно родимое пятно. Какое — не знаю до сих пор, но знаю, жалостный пахарь завтра же сядет на пятиосный паровоз и будет так орудовать регулятором, таким хозяином стоять, что его не узнать. Рост травы и вихрь пара требуют равных механиков.

И теперь исполняется моя долгая упорная детская мечта — стать самому таким человеком, от мысли и руки которого волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей, и из всех людей — я каждого знаю, с каждым спаяно мое сердце.

Теперь исполняется эта мечта. Человек каменный, еле зеленеющий мир превращает в чудо и свободу. Мир становится призраком, а человек постоянством и твердою ценностью...

Вы говорите о великой целомудренной красоте и ее чистых сынах, которые знают, видят и возносят ее.

Меня вы ставите в шайку хулителей и поносителей, людей недостойных и не могущих ее видеть, а потому я должен отойти от дома красоты — искусства, не лапать ее белые одежды. Не место мне, грязному, там.

Ладно. Я двадцать лет проходил по земле и не встретил того, о чем вы говорите,— Красоты.

Должно быть, по тому самому, что она живет вне земли и ее видели немногие — лучшие и, конечно, не я.

Я думаю не так: это оттого я никогда не встретил Красоты, что ее отдельной, самой по себе — нет.

Она — имущество всех, и мое; Красота — все дни и все вещи, а не одна надземная и недоступная, гордая. Это оттого я не встретил и никогда не подумал о красоте, что я к ней привык, как к матери, о которой я хорошо вспомню, когда она умрет, а сейчас я все забываю о ней, потому что она всегда в душе моей. Я живу не думая, а вы, рассуждая, не живете — и ничего не видите, даже Красоту, которая неразлучна и верна человеку, как сестра, как невеста.

Вы мало любите и мало видите.

Я человек. Я родился на прекрасной живой земле. О чем вы меня спрашиваете? О какой красоте? О ней спросить может дохлый: для живого нет безобразия.

Я знаю, что я один из самых ничтожных. Это вы верно заметили, но я еще знаю, чем ничтожней существо, тем оно боль-

ше радо жизни, потому что менее всех достойно ее. Самый маленький комарик — самая счастливая душа.

Этого вы не могли подметить. Вы люди законные и достойные, я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком привычка, для меня редкость и праздник.

Я уверен, что приход пролетарского искусства будет безобразен... Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас. Но не бойтесь, мы очистимся; мы ненавидим свое убожество, мы упорно идем из грязи. В этом наш смысл. Из нашего уродства вырастает душа мира.

Вы видите только наши заблуждения, а не можете понять, что не блуждаем мы, а ищем.

Человек вышел из червя. Гений рождается из дурачка (так у Платонова.— *Н. П.*). Все было грязно и темно, и становится ясным.

Мы идем снизу, помогите нам, верхние,— в этом мой ответ.

Не казаться большим, а быть, каким есть,— очень важная, никем не ценимая вещь.

Жить, а не мечтать, видеть, а не воображать — искусство не по силе людей, но зато и единственно истинное искусство.

Андрей Платонов.
1922

СОВРЕМЕННИКИ О ПЛАТОНОВЕ

Представляя вам воспоминания и отзывы современников о Платонове, мы рассчитываем на то, что непосредственный, живой голос людей, знавших писателя, приблизит вас к пониманию его времени, его непростой литературной судьбы. Среди тех, чьи свидетельства мы приводим,— помимо известных писателей *Валерия Брюсова, Максима Горького, Юрия Нагибина,*— литературные критики РАППовского толка, выступавшие резко критически, *Р. Мессер* и *А. Гуревич,* друг юности, первый редактор Платонова *Г. Литвин-Молотов*, критик *Ф. Сучков.*

Платонов — плоть от плоти и кровь от крови не только своего слесаря-отца, но и вообще русского рабочего. У него — как и у этого молодого гиганта, познавшего коллектив, машину, производство, но еще не порвавшего с деревней, не освободившегося от «тяги к земле»,— два перепева: фабричного гудка, потной работы, мускульной отваги, коллективного творчества, мощи нового города, с одной стороны, и поля, степи, голубой глубины, ржаных колосьев, «Мани с Усмани» и большой дороги со странником Фомой — с другой.

Эти два главных мотива резко разграничивают поэзию Платонова.

Г. Литвин-Молотов. 1922

В своей первой книге А. Платонов — настоящий поэт, еще неопытный, еще неумелый, но уже своеобразный. Вместе с тем он, в своем еще ограниченном кругозоре, в своей еще ограниченной технике, уже разнообразен... Будет очень грустно, если все это окажется лишь — «Пленной мысли раздраженье», и такие прекрасные обещания не дадут достойных осуществлений.

В. Брюсов. 1923

...Должен сказать, что русских «молодых» читаю более охотно, даже с жадностью. Удивительное разнообразие типов у нас и хорошая дерзость. Понравились мне — за этот год — Андрей Платонов, Заицкий, Фадеев, Олеша.

М. Горький. 1927

Человек вы — талантливый, это бесспорно, бесспорно и то, что вы обладаете очень своеобразным языком.

М. Горький — А. Платонову. 1929

Торжество стихии над человеком и самая концепция «мелкого человека» есть прямой поворот назад к Леониду Леонову, к Всеволоду Иванову, к торжеству мелкобуржуазного сознания, которое не видит социальных сдвигов пролетарской революции... Оно видит лишь торжествующую природу и растерянного «мелкого человека».

Р. Мессер. 1930

Социальное существование платоновского человека есть беспрерывный и неуклонный путь к смерти. Счастье же есть дар природы, это внутреннее, замкнутое в самом себе свойство человека, которое с первого же дня его появления на свет осуждено на вымирание.

...Слова бессильны. Грубую жизнь переделать нельзя. На ее бесчувствие надо ответить самым сильным из заложенных в человеческой природе чувств. И по убеждению Платонова эта сила — отчаяние. Третий сын впадает в беспамятство. Обессиленный, он падает на пол, теряя сознание. Такова поза и образ платоновского гуманизма. И в нем видит писатель свое духовное родство с новыми людьми своей страны и эпохи!

Ведь третий сын — коммунист.

Разве не Платонов в наши дни, в нашей стране, где все униженные и оскорбленные уже давно воздали должное угнетателям, пошел за Достоевским и предельно надавил на жалобность, на фатальное несчастье, тщетность, бессилие человека?

А. Гурвич. 1937

Андрея Платонова хоронили в начале января 1951 года на Ваганьковском кладбище в сыроватый, какой-то не январский, а скорее мартовский, серый, с редкими пробоями синевы и све-

та день. У рыжей отверстой могилы, над гробом, где лежало обобранное болезнью, неправдоподобно узенькое, худое тело,— крупен и мощен оставался лишь высокий чистый свод лба и темени,— писатель Вячеслав Ковалевский, с темными, выплаканными глазами и детским затылком, говорил ясным, твердым от скорби голосом:

— Андрей Платонович! ...Андрей Платонович!— это звучало, как зов, который может быть услышан, да и был, верно, услышан — кто знает?— Андрей Платонович, прощай. Простое русское слово «прощай», «прости», я говорю в прямом смысле. Прости нас, твоих друзей, любивших тебя сильно, но не так, как надо было любить, прости, что мы не помогли тебе, не взяли на себя хоть часть твоей ноши. Андрей Платонович, прости!..

А когда гроб на талях опустили в рыже-отверстую глубину последнего успокоения Платонова, вперед прорвался некий литературный человек, от которого покойный не видел добра, и неловким, женским движением, от кисти, швырнул в могилу горсть влажной земли; его жест обрел значительность символа: последний комок грязи, брошенный в Платонова.

Ю. Нагибин. 1967

...У Платонова нет выражений, которые заставили бы испытать брезгливость. Между тем автор не гнушался поведать о любом естественном действии. Он описывал и рождение человека, и жалкость любовного удовлетворения, и всякий раз у него находились удобочитаемые, выражающие суть слова. Это означает — дело не в ситуации, описываемой художником, а в том, как он мыслит и чувствует. Это означает также, что красный свет семафора, преграждающий пешеходам и водителям путь на всех дорогах, в художественном творчестве оказывается именно тем цветом, который не отталкивает, а напротив, привлекает внимание, зовет к себе.

На красный свет шел Платонов во всех своих работах, и, на радость всем нам, чистота понимания человеческой души, святое отношение к описываемым явлениям были у него равны писательскому размаху. Это и обеспечило исключительную красоту, редкую человечность удивительной прозы Платонова. Теперь эта проза наша. Она стала частью России.

Ф. Сучков. 1966



ПОВЕСТИ

СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК*

1

Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.

— Естество свое берет! — заключил Пухов по этому вопросу.

После погребения жены Пухов лег спать, потому что сильно исхлопотался и намаялся. Проснувшись, он захотел квасу, но квас весь вышел за время болезни жены — и нет теперь заботчика о продовольствии. Тогда Пухов закурил — для ликвидации жажды. Не успел он докурить, а уж к нему кто-то громко постучал беспрекословной рукой.

— Кто? — крикнул Пухов, разваливая тело для последнего потягивания.— Погоревать не дадут, сволочи!

Однако дверь отворил: может, с делом человек пришел.

Вошел сторож из конторы начальника дистанции.

— Фома Егорыч,— путевка! Распишитесь в графе! Опять метет — поезда станут!

Расписавшись, Фома Егорыч поглядел в окно: действительно, начиналась метель, и ветер уже посвистывал над печной вьюшкой. Сторож ушел, а Фома Егорыч загоревал, подслушивая свирепеющую вьюгу,— и от скуки, и от бесприютности без жены.

— Все совершается по законам природы! — удостоверил он самому себе и немного успокоился.

Но вьюга жутко развертывалась над самой головой Пухова, в печной трубе, и оттого хотелось бы иметь рядом с собой что-нибудь такое, не говоря про жену, но хотя бы живность какую.

По путевке на вокзале надлежало быть в шестнадцать часов, а сейчас часов двенадцать — еще можно поспаться, что и было сделано Фомой Егорычем, не обращая внимания на пение вьюги над вьюшкой.

Разомлев и распарившись, Пухов насилу проснулся. Нечаянно он крикнул, по старому сознанию:

---

* Этой повестью я обязан своему бывшему товарищу Ф. Е. Пухову и тов. Тольскому, комиссару новороссийского десанта в тыл Врангеля *(примеч. автора)*.

— Глаша! — Жену позвал; но деревянный домик претерпевал удары снежного воздуха и весь пищал. Две комнаты стояли совсем порожними, и никто не внял словам Фомы Егорыча. А бывало, сейчас же отзовется участливая жена:

— Тебе чего, Фомушка?

— А ничего,— ответит, бывало, Фома Егорыч,— это я так позвал: цела ли ты!

А теперь никакого ответа и участия: вот они, законы природы!

— Дать бы моей старухе капитальный ремонт — жива бы была, но средств нету и харчи плохие! — сказал себе Пухов, шнуруя австрийские башмаки.

— Хоть бы автомат выдумали какой-нибудь: до чего мне трудящимся быть надоело! — рассуждал Фома Егорыч, упаковывая в мешок пищу: хлеб и пшено.

На дворе его встретил удар снега в лицо и шум бури.

— Гада бестолковая! — вслух и навстречу движущемуся пространству сказал Пухов, именуя всю природу.

Проходя безлюдной привокзальной слободой, Пухов раздраженно бурчал — не от злобы, а от грусти и еще отчего-то, но отчего — он вслух не сказал.

На вокзале уже стоял под парами тяжелый, мощный паровоз с прицепленным к нему вагоном — снегоочистителем. На снегоочистителе было написано: «Система инженера Э. Бурковского».

«Кто этот Бурковский, где он сейчас и жив ли? Кто ж его знает!»— с грустью подумал Пухов, и отчего-то сразу ему захотелось увидеть этого Бурковского.

К Пухову подошел начальник дистанции:

— Читай, Пухов, расписывайся, и — поехали! — и подал приказ:

«Приказывается правый путь от Козлова до Лисок держать непрерывно чистым от снега, для чего пустить в безостановочную работу все исправные снегоочистители. После удовлетворения воинских поездов все паровозы поставить для тяги снегоочистителей. В экстренных случаях снимать для той же тяги дежурные станционные паровозы. При сильных метелях — впереди каждого воинского состава должен неотлучно работать снегоочиститель, дабы ни на минуту не было прекращено движение и не ослаблена боеспособность Красной Армии.

Пред. Глав. рев. комитета Ю.-В. ж. д. Рудин.
Комиссар путей сообщения Ю.-В. ж. д. Дубанин».

Пухов расписался — в те годы попробуй не распишись!

— Опять неделю не спать! — сказал машинист паровоза, тоже расписавшись.

— Опять! — сказал Пухов, чувствуя странное удовольствие

от предстоящего трудного беспокойства: все жизнь как-то незаметней и шибче идет.

Начальник дистанции, инженер и гордый человек, терпеливо слушал метель и смотрел поверх паровоза какими-то отвлеченными глазами. Его раза два ставили к стенке, он быстро поседел и всему подчинился — без жалобы и без упрека. Но зато навсегда замолчал и говорил только распоряжения.

Вышел дежурный по станции, вручил начальнику дистанции путевку и пожелал доброго пути.

— До Графской остановки нет! — сказал начальник дистанции машинисту.— Сорок верст! Хватит ли воды у вас, если топку придется все время форсировать?

— Хватит,— ответил машинист.— Воды много — всю не выпарим!

Тогда начальник дистанции и Пухов вошли в снегоочиститель. Там уже лежали восемь рабочих и докрасна калили чугунку казенными дровами, распахнув для свежего воздуха окно.

— Опять навоняли, дьяволы! — почувствовал и догадался Пухов.— А ведь только что пришли и харчей жирных, должно, не едали! Эх, идолы!

Начальник дистанции сел на круглый стул у выпуклого окна, откуда он управлял всей работой паровоза и снегоочистителя, а Пухов стал у балансира.

Рабочие тоже встали у своих мест, у больших рукояток, посредством которых по балансиру быстро перекидывался груз — и балансир то поднимал, то опускал снегосбросный щит.

Метель выла упорно и ровно, запасшись огромным напряжением где-то в степях юго-востока.

В вагоне было не чисто, но тепло и как-то укромно. Крыша вокзала гремела железами, отстегнутыми ветром, а иногда этот скрежет железа перемежался с далеким артиллерийским залпом.

Фронт работал в шестидесяти верстах. Белые все время прижимались к железнодорожной линии, ища уюта в вагонах и станционных зданиях, утомившись в снежной степи на худых конях. Но белых отжимали бронированные поезда красных, посыпая снега свинцом из изношенных пулеметов. По ночам — молча, без огней, тихим ходом — проходили броневые поезда, просматривая темные пространства и пробуя паровозом целость пути. Ночью ничего не известно; помашет издали поезду низкое степное дерево — и его порежут и снесут пулеметным огнем: зря не шевелись!

— Готово? — спросил начальник дистанции и посмотрел на Пухова.

— Готово! — ответил Пухов и взял в обе руки рычаги.

Начальник дистанции потянул веревку к паровозу — тот запел, как нежный пароход, и грубо дернул снегоочиститель.

Выскочив со станционных путей, начальник дистанции одной

рукой резко и коротко дернул за веревку паровозного свистка, а другой махнул Пухову. Это означало: работа!

Паровоз крикнул, машинист открыл весь пар, а Пухов передвинул оба рычага, опуская щит с ножами и развертывая крылья.

Сейчас же снегоочиститель сдал скорость и начал увязать в снегу, прилипая к рельсам, как к магнитам.

Начальник дистанции еще раз дернул веревку на паровоз, что означало — усилить тягу! Но паровоз весь дрожал от перенапряжения и сифонил так, что из трубы жар вылетал. Колеса его впустую ворочались в снегу, как в крутой почве, подшипники грелись от частых оборотов и плохого масла, а кочегар весь взмок от работы с топкой, несмотря на то что выбегал за дровами на тендер, где его прохватывал двадцатиградусный ветер.

Снегоочиститель и паровоз попали в глубокий снежный перевал. Один начальник дистанции молчал — ему было все равно. Остальные люди на паровозе и на снегоочистителе грубо выражались на каком-то самодельном языке, сразу обнажая задушевные мысли.

— Пару мало! Пошуруй топку и просифонь, чтоб баланец * загремел,— тогда возьмем!

— Закуривай! — крикнул рабочим Пухов, догадавшись о том, что́ делается на паровозе.

Начальник дистанции тоже вынул кисет и насыпал в кусочек газеты зеленой самогонной махорки.

К метели давно притерпелись и забыли про нее, как про нормальный воздух. Покурив, Пухов вылез из вагона и здесь только обнаружил гром бури, злобу холода и пальбу сухого снега.

— Вот сволота! — сказал Пухов, еле управляясь с тем, с чем ему нужно было управиться.

Вдруг бешено заревел баланс паровоза, спуская лишний пар. Пухов вскочил в вагон — и паровоз сейчас же и разом выхватил снегоочиститель из снежного бугра, пробуксовав колесами так, что огонь посыпался из рельс. Пухов даже увидел, как хлестнула вода из паровозной трубы от слишком большого открытия пара, и оценил машиниста за отвагу:

— Хорош парень у нас на паровозе!

— А? — спросил старший рабочий Шугаев.

— Чего — а? — ответил Пухов.— Чего акаешь-то? Горе кругом, а ты разговариваешь!

Шугаев поэтому замолчал.

Паровоз прогудел два раза, а начальник дистанции крикнул:

— Закрой работу!

Пухов рванул рычаг и поднял щит.

---

* Баланс — автоматический предохранитель от излишнего давления пара в котле *(примеч. автора)*.

Подъезжали к переезду, где лежали контррельсы. Такие места проезжали без работы: щит снегоочистителя резал снег ниже головки рельса и не мог работать, когда у рельса что-нибудь находилось — тогда снегоочиститель опрокинулся бы.

Проехав переезд, снегоочиститель понесся открытой степью. Укрытый снегом, лежал искусный железный путь. Пухов всегда удивлялся пространству. Оно его успокаивало в страдании и увеличивало радость, если ее имелось немного.

Так и теперь — поглядел в запушенное окно Пухов: ничего не видно, а приятно.

Снегоочиститель, имея жесткие рессоры, гремел, как телега по кочкам, и, ухватывая снег, тучей пушил его на правый откос пути, трепеща выкинутым крылом; это крыло назначено было швырять снег на сторону — то оно и делало.

В Графской сделали значительную стоянку. Паровоз брал воду, помощник машиниста чистил дымовую коробку, топку и прочее огневое хозяйство.

Обмерзший машинист ничего не делал, а только ругался на эту жизнь. Из штаба какого-то матросского отряда, стоявшего в Графской, ему принесли спирту, и Пухов тоже прошел в долю, а начальник дистанции отказался.

— Пей, инженер,— предложил ему главный матрос.

— Благодарю покорно. Я ничего не пью,— уклонился инженер.

— Ну, как хочешь! — сказал матрос.— А то выпей — согреешься! Хочешь, рыбы принесу — покушаешь?

Инженер опять отказался, по неизвестной причине.

— Эх ты, тина! — сказал тогда оскорбленный матрос.— Ведь тебе с душой дают — нам же не жалко,— а ты не берешь! Поешь, пожалуйста!

Машинист и Пухов пили и жевали все напролом, улыбаясь насчет начальника.

— Отстань ты от него! — обрубил другой матрос.— Он есть хочет, но идея его не велит!

Начальник дистанции смолчал. Есть он действительно не хотел. Месяц назад он вернулся из командировки — из-под Царицына, где сдавал восстановленный мост. Вчера он получил депешу, что мост просел под воинским поездом: клепка моста шла наспех, неквалифицированные рабочие ставили заклепки на живую нитку, и теперь фермы моста расшились — от одного чувства веса мало-мальски грузного поезда.

Два дня назад началось следствие по делу моста, и дома у начальника дистанции лежала повестка от следователя железнодорожного Ревтрибунала. Назначенный в экстренную поездку, инженер не мог пойти в Ревтрибунал, но помнил об этом. Поэтому ему не пилось и не елось. Но страха он тоже не имел, терзаясь сплошным равнодушием, равнодушие, он чувствовал, может быть страшнее боязливости — оно выпаривает из чело-

века душу, как воду медленный огонь, и когда очнешься — останется от сердца одно сухое место; тогда человека хоть ежедневно к стенке ставь — он покурить не попросит: последнее удовольствие казнимого.

— Теперь куда поедете? — спросил у Пухова главный матрос.

— Должно, на Грязи!

— Верно: под Усманью два эшелона и броневик в сугробах застряли! — вспомнил матрос.— Казаки, говорят, Давыдовку взяли, а снаряды за Козловым в заносах стоят!

— Расчистим, сталь режем, а снег — вещество чепуховое!— уверенно определил Пухов, спешно допивая последние капли спирта, чтобы ничто не пропадало в такое время.

Тронулись на Грязи. Пассажиром напросился старичок — будто бы ехал от сына в Лисок,— а кто ж его знает!

Поехали. Загремел балансир, кидая щит то вниз, то вверх,— и забурчали рабочие, которым не досталось матросской жирной рыбы.

— Яблок бы моченых я теперь поел! — сказал на полном ходу снегоочистителя Пухов.— Ух, и поел бы — ведро бы съел!

— А я бы сельдь покушал! — ответил ему старичок-пассажир.— Люди говорят, что в Астрахани сельди той миллионы пудов гниют, только маршрутов туда нету!

— Тебя посадили, ты и молчи сиди! — строго предупредил Пухов.— Сельдь бы он покушал! Будто без него съесть ее некому!

— А я,— встрял в разговор помощник Пухова, слесарь Зворычный,— на свадьбе в Усмани был, так полного петуха съел— жирён был, дьявол!

— А сколько петухов-то было на столе? — спросил Пухов, чувствуя на вкус того петуха.

— Один и был — откуда теперь петухи?

— Что ж, тебя не выгнали со свадьбы? — допытывался Пухов, желая, чтоб его выгнали.

— Нет, я сам рано ушел. Вылез из стола, будто на двор захотел,— мужики часто ходят,— и ушел.

— А тебе, старик, не пора слезать — деревня твоя не видна еще? — спросил Пухов пассажира.— Гляди, а то разбалакаешься — проскочишь!

Старик подскочил к окну, подышал на стекло и потер его.

— Места будто знакомые пошли — будто Хамовские выселки торчат на юру.

— Раз Хамовские выселки — тебе к месту,— сказал сведущий Пухов.— Слезай, пока на подъем прем!

Старик почухался с мешком и покорно возразил:

— Машина ходко бежит, аж воздух журчит,— жутко уби-

ваться, господин машинист! Может, окоротить позволите на одну минуту — я враз.

— Обдумал! — осерчал Пухов.— Окоротить ему казенную машину в военное время! Теперь до самых Грязей остановки не будет!

Старик смолчал, а потом спросил особо покорным голосом:

— Сказывали, тормоза теперь могучие пошли — на всякую скороту окорот дают!

— Слазь, слазь, старик! — серчал Пухов.— Скороту ему окоротить! Не на каменную гору прыгаешь, а в снег! Так мягко придется, что сам полежишь — и потянешься еще!

Старик вышел на наружную площадку, осмотрел веревку на мешке — не для прочности, конечно, а для угона времени, чтобы духу набраться,— а потом пропал: должно, шлепнулся.

С Грязей снегоочистителю вручили приказ: вести за собой броневик и поезд наркома, пробивая траншею в заносах, вплоть до Лисок.

Снегоочистителю дали двойную тягу: другой паровоз уступил поезд наркома — громадную спокойную машину Путиловского завода.

Тяжелый боевой поезд наркома всегда шел на двух лучших паровозах.

Но и два паровоза теперь обессилели от снега, потому что снег хуже песка. Поэтому не паровозы были в славе в ту мятежную и снежную зиму, а снегоочистители.

И то, что белых громила артиллерия бронепоездов под Давыдовкой и Лисками, случилось потому, что бригады паровозов и снегоочистителей крушили сугробы, не спя неделями и питаясь сухой кашей.

Пухов, например, Фома Егорыч, сразу почел такое занятие обыкновенным делом и только боялся, что исчезнет махорка с вольного рынка; поэтому дома имел ее пуд, проверив вес на безмене.

Не доезжая станции Колодезной, снегоочиститель стал: два могучих паровоза, которые волокли его, как плуг, влетели в сугроб и зарылись по трубу.

Машинист-петроградец с поезда наркома, ведший головной паровоз, был выбит из сиденья и вышвырнут на тендер от удара паровоза в снег и мгновенной остановки. А паровоз его, не сдаваясь, продолжал буксовать на месте, дрожа от свирепой безысходной силы, яростно прессуя грудью горы снега впереди.

Машинист прыгнул в снег, катаясь в нем окровавленной головой и бормоча неслыханные ругательства.

К нему подошел Пухов с четырьмя собственными зубами в кулаке — он стукнулся челюстью о рычаг и вытащил изо рта ослабшие лишние зубы. В другой руке он нес мешочек со своими харчами — хлеб и пшено. Не глядя на лежащего машиниста,

он засмотрелся на его замечательный паровоз, все еще бившийся в снегу.

— Хороша машина, сволочь!

Потом крикнул помощнику:

— Закрой пар, стервец, кривошипы порвешь!

С паровоза никто не ответил.

Положив харчи на снег и зашвырнув зубы, Пухов сам полез на паровоз, чтобы закрыть регулятор и сифон.

В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с пришпиленной к штырю головой.

«И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темя, в самый материнский родничок хватило!» — обнаружил событие Пухов.

Остановив бег на месте бесившегося паровоза, Пухов оглядел все его устройство и снова подумал о помощнике:

«Жалко дурака: пар хорошо держал!»

Манометр действительно и сейчас показывал тринадцать атмосфер, почти предельное давление,— и это после десяти часов хода в глубоком плотном снегу!

Метель стихала, переходя в мокрый снегопад. Вдалеке дымили на расчищенных путях броневик и поезд наркома.

Пухов с паровоза ушел. Рабочие снегоочистителя и начальник дистанции лезли по живот в снегу к паровозу.

Со второго паровоза тоже сошла бригада, перевязав разбитые головы грязными обтирочными концами.

Пухов подошел к петроградскому машинисту. Тот сидел на снегу и прикладывал его к окровавленной голове.

— Ну что,— обратился он к Пухову,— как стоит машина? Закрыл поддувала?

— Все на месте, механик! — ответил по-служебному Пухов.— Помощник только твой убился, но я тебе Зворычного дам, парень умственный, только жрать здоров!

— Ладно,— сказал машинист.— Положи-ка мне хлебца на рану и портянкой окрути! Кровь, сатану, никак не заткну!

Из-за снегоочистителя выглянула милая усталая морда лошади, и через две минуты к паровозу подъехал казачий отряд человек пятнадцать.

Никто на них не обратил нужного внимания.

Пухов со Зворычным закусывали; Зворычный советовал Пухову непременно вставить зубы, только стальные и никелированные — в воронежских мастерских могут сделать: всю жизнь тогда не изотрешь о самую твердую пищу!

— Опять выбить могут! — возразил Пухов.

— А мы тебе их штук сто наделаем,— успокоил Зворычный.— Лишние в кисет в запас положишь.

— Это ты верно говоришь,— согласился Пухов, соображая, что сталь прочней кости и зубов можно наготовить массу на фрезерном станке.

Казачий офицер, видя спокойствие мастеровых, растерялся и охрип голосом.

— Граждане рабочие! — нарочито сказал офицер, ворочая полубезумными глазами.— Именем Великой Народной России приказываю вам доставить паровозы и снегочистку на станцию Подгорное. За отказ — расстрел на месте!

Паровозы тихо сипели. Снег падать перестал. Дул ветер оттепели и далекой весны.

У машиниста кровь на голове свернулась и больше не текла. Он почесал сухую корку сукровицы и трудным, ослабевшим шагом пошел на паровоз.

— Пойти воды покачать и дров подложить — машину морозить неохота!

Казаки вынули револьверы и окружили мастеровых. Тогда Пухов рассерчал:

— Вот сволочи, в механике не понимают, а командуют!

— Што-о? — захрипел офицер.— Марш на паровоз, иначе пулю в затылок получишь!

— Что ты, чертова кукла, пулей пугаешь! — закричал, забываясь, Пухов.— Я сам тебя гайкой смажу! Не видишь, что в перевал сели и люди побились! Фулюган, черт!

Офицер услышал короткий глухой гудок броневого поезда и обернулся, подождав стрелять в Пухова.

Начальник дистанции лежал на шинели, постеленной на снег, и о чем-то мрачно размышлял, рассматривая хилое, потеплевшее небо.

Вдруг на паровозе по-плохому закричал человек. То, наверное, машинист снимал со штыря своего разбитого помощника.

Казаки сошли с коней и бродили вокруг паровоза, как бы ища потерянное.

— По коням! — крикнул казакам офицер, заметя вывернувшийся из закругления бронепоезд.— Пускай паровозы, стрелять начну! — и выстрелил в голову начальника дистанции — тот и не вздрогнул, а только засучил усталыми ногами и отвернулся вниз лицом ото всех.

Пухов вскочил на паровоз и заревел во всю сирену прерывистой тревогой. Догадливый машинист открыл паровой кран инжектора, и весь паровоз укутался паром.

Казачий отряд начал напропалую расстреливать рабочих, но те забились под паровозы, проваливались, убегая, в сугробы,— и все уцелели.

С бронепоезда, подошедшего к снегоочистителю почти вплотную, ударили из трехдюймовки и прострочили из пулемета.

Отскакав саженей на двадцать, казачий отряд начал тонуть в снегах и был начисто расстрелян с бронепоезда.

Только одна лошадь ушла и понеслась по степи, жалобно крича и напрягая худое быстрое тело.

Пухов долго глядел на нее и осунулся от сочувствия.

С бронепоезда отцепили паровоз и подвели его сзади к снегоочистителю толкачом.

Через час, подняв пар, три паровоза продавили снежный перевал на путях и вырвались на чистое место.

2

В Лисках отдыхали три дня.

Пухов обменял на олеонафт десять фунтов махорки и был доволен. На вокзале он исчитал все плакаты и тащил газеты из агитпункта для своего осведомления.

На стенах вокзала висела мануфактура с агитационными словами:

В рабочие руки мы книги возьмем,
Учись, пролетарий, ты будешь умен!

— Тоже нескладно! — закричал Пухов.— Надо так написать, чтоб все дураки заочно поумнели!

Каждый прожитый нами день — гвоздь в голову буржуазии.— Будем же вечно жить — пускай терпит ее голова!

— Вот это сурьезно! — расценивал Пухов.— Это твердые слова!

Подходит раз к Лискам поезд — хорошие пассажирские вагоны, красноармейцы у дверей, и ни одного мешочника не видно.

Пухов стоял в тот час на платформе у дверей и кое-что обдумывал.

Поезд останавливается. Из вагонов никто не выходит.

— Кто это прибыл с этим эшелоном? — спрашивает Пухов одного смазчика.

— А кто его знает? Сказывают, главный командир — один в целом поезде!

Из переднего вагона вышли музыканты, подошли к середине поезда, построились и заиграли встречу.

Немного погодя выходит из среднего мягкого вагона толстый военный человек и машет музыкантам рукой: будет, дескать, доволен!

Музыканты разошлись. Военный начальник не спеша сходит по ступенькам и идет в вокзал. За ним идут прочие военные люди — кто с бомбой, кто с револьвером, кто за саблю держится, кто так ругается,— полная охрана.

Пухов прошел вслед и очутился около агитпункта. Там уже

стояла красноармейская масса, разные железнодорожники и жадные до образования мужики.

Приехавший военный начальник взошел на трибуну — и тут ему все захлопали, не зная его фамилии. Но начальник оказался строгим человеком и сразу отрубил:

— Товарищи и граждане! На первый раз я прощаю, но заявляю, чтобы впредь подобных демонстраций не повторялось! Здесь не цирк, и я не клоун — хлопать в ладоши тут не по существу!

Народ сразу примолк и умильно уставился на оратора — особенно мешочники: может, дескать, лицо запомнит и посадит на поезд.

Но начальник, разъяснив, что буржуазия целиком и полностью — сволочь, уехал, не запомнив ни одного умильного лица.

Ни один мешочник в порожний длинный поезд так и не попал: охрана сказала, что вольным нельзя ехать на военном поезде особого назначения.

— А он же порожняком,— все едино — лупить будет! — спорили худые мужики.

— Командарму пустой поезд полагается по приказу!— объяснили красноармейцы из охраны.

— Раз по приказу — мы не спорим! — покорялись мешочники.— Только мы не в поезде сядем, а на сцепках!

— Нигде нельзя! — отвечали охранники.— Только на спице колеса можно!

Наконец поезд уехал, постреливая в воздух — для испуга жадных до транспорта мешочников.

— Дела! — сказал Пухов одному деповскому слесарю.— Маленькое тело на сорока осях везут!

— Нагрузка маленькая — на канате вошь тащут! — на глаз измерил деповский слесарь.

— Дрезину бы ему дать — и ладно! — сообразил Пухов.— Тратят зря американский паровоз!

Идя в барак за порцией пищи, Пухов разглядывал по дороге всякие надписи и объявления — он был любитель до чтения и ценил всякий человеческий помысел. На бараке висело объявление, которое Пухов прочитал беспрерывно трижды:

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ!

Штабом IX Рабоче-Крестьянской Красной Армии формируются добровольные отряды технических сил для обслуживания фронтовых нужд Красных армий, действующих на Северном Кавказе, Кубани и Черноморском побережье.

Разрушенные железнодорожные мосты, береговые оборонительные сооружения, служба связи, орудийные ремонтные мастерские, подвижные механические базы — все это, взятое в целом, требует умелых пролетарских рук, которых не хватает в действующих Красных армиях юга.

С другой стороны, без технических средств не может быть обеспечена победа над врагами рабочих и крестьян, сильных своей техникой, полученной задаром от антантовского империализма.

Товарищи рабочие! Призываем вас записываться в отряды технических сил у уполномоченных Реввоенсовета — IX на всех ж.-д. узловых станциях. Условия службы узнайте от товарищей уполномоченных. Да здравствует Красная Армия!

Да здравствует рабоче-крестьянский класс!

Пухов сорвал листок, приклеенный мукой, и понес его к Зворычному.

— Тронемся, Петр! — сказал Пухов Зворычному.— Какого шута тут коптить! По крайности, южную страну увидим и в море покупаемся!

Зворычный молчал, думал о своем семействе.

А у Пухова баба умерла, и его тянуло на край света.

— Думай, Петруха! На самом-то деле: какая армия без слесарей! А на снегоочистке делать нечего — весна уж в ширинку дует!

Зворычный опять молчал, жалея жену Анисью и мальчишку, тоже Петра, которого мать звала выпороточком.

— Едем, Петруш! — увещевал Пухов.— Горные горизонты увидим; да и честней как-то станет! А то видал — тифозных эшелонами прут, а мы сидим — пайки получаем!.. Революция-то пройдет, а нам ничего не останется! Ты, скажут, што делал? А ты што скажешь?..

— Я скажу, что рельсы от снегов чистил! — ответил Зворычный.— Без транспорта тоже воевать нельзя!

— Это што! — сказал Пухов.— Ты, скажут, хлеб за то получал, то работа нормальная! А чем ты бесплатно пожертвовал, спросят, чему ты душевно сочувствовал? Вот где загвоздка! В Воронеже вон бывшие генералы снег сгребают — и за то фунт в день получают! Так же и мы с тобой!

— А я думаю,— не поддавался Зворычный,— мы тут с тобой нужней!

— То никому не известно, где мы с тобой полезней! — нажимал Пухов.— Если только думать, тоже далеко не уедешь, надо и чувство иметь!

— Да будет тебе ерунду лить! — задосадовал Зворычный.— Кто это считать будет — кто что делал, чем занимался? И так покою нет от жизни такой! Тебе теперь все равно — один на свете,— вот тебя и тянет, дурака! Небось думаешь бабу там покрасивше отыскать,— чувство-то понимаешь! Мужик ты не старый — без бабы раздуешься скоро! Ну и вали туда рысью!..

— Дурак ты, Петр! — оставил надежду Пухов.— В механике ты понимаешь, а сам по себе предрассудочный человек!

С горя Пухов и обедать не стал, а пошел к уполномоченному записываться, чтобы сразу управиться с делами. Но когда пришел — съел два обеда: повар к нему благоволил за полудку кастрюли и за умные разговоры.

— После гражданской войны я красным дворянином буду! — говорил Пухов всем друзьям в Лисках.

— Это почему ж такое?—спрашивали его мастеровые люди.— Значит, как в старину будет, и землю тебе дадут?

— Зачем мне земля? — отвечал счастливый Пухов.— Гайки, что ль, сеять я буду? То будет честь и звание, а не угнетение.

— А мы, значит, красными вахлаками останемся? — узнавали мастеровые.

— А вы на фронт ползите, а не чухайтесь по собственным домам! — выражался Пухов и уходил дожидаться отправки на юг.

Через неделю Пухов и еще пятеро слесарей, принятых уполномоченным, поехали на Новороссийск — в порт.

Ехали долго и трудно, но еще труднее бывают дела, и Пухов впоследствии забыл это путешествие. На дорогу им дали по пять фунтов воблы и по ковриге хлеба, поэтому слесаря были сыты, только пили воду на всех станциях.

В Екатеринодаре Пухов сидел неделю — шел где-то бой, и на Новороссийск никого не пропускали. Но в этом зеленом отпетом городке давно притерпелись к войне и старались жить весело.

«Сволочи! — думал обо всех Пухов.— Времен не чувствуют!»

В Новороссийске Пухов пошел на комиссию, которая якобы проверяла знания специалистов.

Его спросили, из чего делается пар.

— Какой пар? — схитрил Пухов.— Простой или перегретый?

— Вообще... пар! — сказал экзаменующий начальник.

— Из воды и огня! — отрубил Пухов.

— Так! — подтвердил экзаменатор.— Что такое комета?

— Бродящая звезда! — объяснил Пухов.

— Верно! А скажите, когда и зачем было восемнадцатое брюмера? — перешел на политграмоту экзаменатор.

— По календарю Брюса тысяча девятьсот двадцать восьмого года восемнадцатого октября — за неделю до Великой Октябрьской революции, освободившей пролетариат всего мира и все разукрашенные народы! — не растерялся Пухов, читавший что попало, когда жена была жива.

— Приблизительно верно! — сказал председатель проверочной комиссии.— Ну, а что вы знаете про судоходство?

— Судоходство бывает тяжельше воды и легче воды! — твердо ответил Пухов.

— Какие вы знаете двигатели?

— Компаунд, Отто-Дейц, мельницы, пошвенные колеса и всякое вечное движение!

— Что такое лошадиная сила?

— Лошадь, которая действует вместо машины.

— А почему она действует вместо машины?

— Потому, что у нас страна с отсталой техникой — корягой пашут, ногтем жнут!
— Что такое религия? — не унимался экзаменатор.
— Предрассудок Карла Маркса и народный самогон.
— Для чего была нужна религия буржуазии?
— Для того, чтобы народ не скорбел.
— Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в целом и согласны за него жизнь положить?
— Люблю, товарищ комиссар,— ответил Пухов, чтобы выдержать экзамен,— и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком!
— Это ясно! — сказал экзаменатор и назначил его в порт монтером для ремонта какого-то судна.
Судно то оказалось катером, под названием «Марс». В нем керосиновый мотор не хотел вертеться — его и дали Пухову в починку.

Новороссийск оказался ветреным городом. И ветер-то как-то тут дул без толку: зарядит, дует и дует, даже посторонние вещи от него нагревались, а ветер был холодный.
В Крыму тогда сидел Врангель, а с ремонтом «Марса» большевики спешили — говорили, что Врангель морской набег думает сделать, так чтоб было чем защититься.
— Так у него ж английские крейсера,— объяснял Пухов,— а наш «Марс»— морская лодка, ее кирпичом можно потопить!
— Красная Армия все может!— отвечали Пухову матросы.— Мы в Царицын на щепках приплыли, кулаками город шуровали!
— Так то ж драка, а не война! — сомневался Пухов.— А ядро не классовая вещь — живо ко дну пустит!
Керосиновый мотор на «Марсе» никак не хотел вертеться.
— Был бы ты паровой машиной,— рассуждал Пухов, сидя одиноко в трюме судна,— я б тебя сразу замордовал! А то подлецом каким-то выдумана: ишь провода какие-то, медяшки... путаная вещь!
Море не удивляло Пухова — качается и мешает работать.
— Наши степи еще попросторней будут, и ветер еще почище там, только не такой бестолковый; подует днем, а ночью тишина. А тут — дует, дует и дует,— что ты с ним делать будешь?
Бормоча и покуривая, Пухов сидел над двигателем, который не шел. Три раза он его разбирал и вновь собирал, потом закручивал для пуска — мотор сипел, а крутиться упорствовал.
Ночью Пухов тоже думал о двигателе и убедительно переругивался с ним, лежа в пустой каютке.
Пришел раз к Пухову на «Марс» морской комиссар и говорит:

— Если ты завтра не пустишь машину, я тебя в море без корабля пущу, копуша, черт!

— Ладно, я пущу эту сволочь, только в море остановлю, когда ты на корабле будешь! Копайся сам тогда, фулюган! — ответил как следует Пухов.

Хотел тогда комиссар пристрелить Пухова, но сообразил, что без механика — плохая война.

Всю ночь бился Пухов. Передумал заново всю затею этой машины, переделал ее по своему пониманию на какую-то новую машину, удалил зазорные части и поставил простые — и к утру мотор бешено запыхал. Пухов тогда включил винт — мотор винт потянул, но тяжело задышал.

— Ишь,— сказал Пухов,— как черт на Афон взбирается!

Днем пришел опять морской комиссар.

— Ну что, пустил машину? — спрашивает.

— А ты думал, не пущу? — ответил Пухов.— Это только вы из-под Екатеринодара удрали, а я ни от чего не отступлю, раз надо!

— Ну, ладно, ладно,— сказал довольный комиссар.— Знай, что керосину у нас мало — береги!

— Мне его не пить — сколько есть, столько будет! — положительно заявил Пухов.

— Ведь мотор с водой идет? — спросил комиссар.

— Ну да, керосин топит, вода охлаждает!

— А ты норови керосину поменьше, а воды побольше,— сделал открытие комиссар.

Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым голосом.

— Что ты, дурак, радуешься? — спросил в досаде комиссар.

Пухов не мог остановиться и радостно закатывался.

— Тебе бы не советскую власть, а всю природу учреждать надо,— ты б ее ловко обдумал! Эх, ты, мехоноша!

Услышав это, комиссар удалился, потеряв некую внутреннюю честь.

А в Новороссийске шли аресты и разгром зажиточных людей.

«Чего они людей шуруют? — думал Пухов.— Какая такая гроза от этих шутов? Они и так дальше завалинки выйти боятся».

Кроме арестов, по городу были расклеены бумаги: «Вследствие тяжелой медицинской усталости ораторов, никаких митингов на этой неделе не будет».

«Теперь нам скучно будет»,— скорбел, читая, Пухов.

Меж тем в порту появился маленький истребитель «Звезда». Там пробоину заклепывали и якорную лебедку чинили. Пухов туда ходил смотреть, но его не пустили.

— Чего это такое? — обиделся Пухов.— Я ж вижу, там холуи работают. Я помочь хотел, а то случится в море неполадка!

— Не велено никого пускать! — ответил часовой-красноармеец.

— Ну, шут с вами, мучайтесь! — сказал Пухов и ушел, озабоченный.

К вечеру того же дня пришло в порт турецкое транспортное судно «Шаня». В клубе говорили, что это подарок Кемаля-паши, турецкого вождя, но Пухов сомневался.

— Я же видел, — говорил он красноармейцам, — что судно исправное! Станет вам турецкий султан в военное время такие подарки делать — у него самого нехватка!

— Так он друг наш, Кемаль-паша! — разъясняли красноармейцы. — Ты, Пухов, в политике — плетень!

— А ты снял онучи — думаешь, гвоздем стал? — обижался Пухов и уходил в угол глядеть плакаты, которым он, однако, особо не доверял.

Ночью Пухова разбудил вестовой из штаба армии. Пухов немного испугался.

— Должно быть, морской комиссар гадит!

На дворе штаба стоял большой отряд красноармейцев в полном походном снаряжении. Тут же стояли трое мастеровых, но тоже в военных шинелях и с чайниками.

— Товарищ Пухов, — обратился командир отряда, — вы почему не в военной форме?

— Я и так хорош, чего мне чайник цеплять! — ответил Пухов и стал к сторонке.

Стояла ночь — огромная тьма, — и в горах шуршали ветер и вода.

Красноармейцы стояли молча, одетые в новые шинели, и ни о чем не говорили. Не то они боялись чего-то, не то соблюдали тайну друг от друга.

В горах и далеких окрестностях изредка кто-то стрелял, уничтожая неизвестную жизнь.

Один красноармеец загремел винтовкой, — его враз угомонили, и он почуял свой срам, до самого сердца.

Пухов тоже что-то заволновался, но не выражал этого чувства, чтобы не шуметь.

Фонарь над конюшней освещал дворовую нечистоту и дрожал неясным светом на бледных лицах красноармейцев. Ветер, нечаянно зашедший с гор, говорил о смелости, с которой он воюет над беззащитными пространствами. Свое дело он и людям советовал — и те слышали.

В городе бесчинствовали собаки, а люди, наверно, тихо размножались. А тут, на глухом дворе, другие люди были охвачены тревогой и особым сладострастием мужества — оттого, что их хотят уменьшить в количестве.

Вышел на середину военный комиссар полка и негромко начал говорить, будто имел перед собой одного человека:

— Дорогие товарищи! Сейчас у нас не митинг, и я скажу немного... Высшее командование Республики приказало Реввоенсовету нашей армии ударить в тыл Врангелю, который сейчас догорает в Крыму. Наша задача как раз в том, чтобы переплыть на тех судах, которые у нас есть, Керченский пролив и высадиться на Крымском берегу. Там мы должны соединиться с действующими в тылу Врангеля красно-зелеными партизанскими отрядами и отрезать Врангеля от судов, куда он бросится, когда северная Красная Армия прорвется через Перекоп. Мы должны разрушить мосты и дороги у Врангеля, растерзать его тыл и загородить ему море, чтобы выжечь сразу всю эту заразу!

Красноармейцы! Добраться до Крыма нам будет тяжело, и это рискованная вещь. Там плавают дозорные крейсера, которые нас потопят, если заметят. Это я должен вам открыто сказать. А если и доплывем, то нам предстоит опасная, смертельная борьба среди озверелого противника. Не много нас уцелеет, а может, никого, когда Крым станет советским,— вот что я хочу вам сказать, дорогие товарищи красноармейцы!

И далее того: я хочу спросить у Вас, товарищи, согласны ли вы на это дело идти добровольно?

Чувствуете ли вы мужественную отвагу в себе, дабы пожертвовать достоинством жизни на благо революции и Советской Республики? Если кто боится или колеблется, у кого семья осталась и ему ее жалко — пускай выйдет и скажет, чтобы ясно было, и мы освободим такого товарища!

Центральное наше правительство возлагает великую надежду на нашу операцию, чтобы поскорей покончить с войной и приступить к мирному строительству на фронте труда!

Я жду вашего ответа, товарищи красноармейцы! Я должен сейчас же передать его Реввоенсовету армии!

Военный комиссар кончил речь и стоял насупившись,— ему было хорошо и неловко. Красноармейцы тоже молчали. А у Пухова все дрожало внутри.

«Вот это дело,— думал он,— вот она, большевистская война,— нечего тут яйца высиживать!»

Никто уже не слышал ветра и не видел ночных гор. Мир затмился во всех глазах, как дальнее событие, каждый был занят общей жизнью. Фонарь на дворе тоже потух, израсходовав свой керосин, и никто этого не заметил.

Вдруг из рядов выступает один красноармеец и определенно говорит:

— Товарищ комиссар! Передайте Реввоенсовету армии и всему командованию, что мы ждем приказа о выступлении! Мы того не ждали, чтобы нам оказали такую высокую честь и поручили прикончить Врангеля! Я в том убежден, что говорю от чистого сердца всех красноармейцев, если скажу, что, стало быть, мы благодарим и также клянемся отдать свою кровную

силу и жизнь, раз то надо советской власти,— вот и все! Чего там волынку тянуть и чего ждать, раз люди в Советской России с голоду умирают, а тут сволочь в Крыму сидит и мешается!

Красноармейцы заволновались и радостно загудели, хотя, по здравому смыслу, радоваться было нечему. Вышел еще один красноармеец и заявил:

— Правильно штаб сделал, что десант назначил. С Перекопа пусть Врангеля трахнут в морду, а мы разом в зад,— вот тогда он с корнем ляжет, и английские корабли ему спасенья не дадут!

Тут опять выходит комиссар:

— Товарищи красноармейцы! Мы в штабе так и знали! Мы ждали от вас той высокой сознательности и беззаветности революции, которую вы сейчас здесь проявили! От имени Реввоенсовета и командования армии выражаю вам благодарность и прошу считать те слова, которые я сказал, военной тайной. Вы знаете, что Новороссийск полон белогвардейскими шпионами, и мы будем обречены на гибель, если кто что узнает! Приказ о выступлении будет дан особо. Спасибо, товарищи!

Комиссар спешно ушел, а красноармейцы еще стояли. Пухов подошел к ним и начал слушать. В первый раз в жизни ему стало так стыдно за что-то, что кожа покраснела под щетиной.

Оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя.

Холодная ночь наливалась бурей, и одинокие люди чувствовали тоску и ожесточение. Но никто в ту ночь не показывался на улицах, и одинокие тоже сидели дома, слушая, как хлопают от ветра ворота. Если же кто шел к другу, спеша там растратить беспокойное время, то обратно домой не возвращался, а ночевал в гостях. Каждый знал, что его ждет на улице арест, ночной допрос, просмотр документов и долгое сидение в тухлом подвале, пока не установится, что сей человек всю жизнь побирался, или пока не будет одержана большевиками окончательная победа.

А меж тем крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми,— без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооруженные люди готовы дважды быть растерзанными, лишь бы и враг с ними погиб, и жизнь ему не досталась.

Ночью Пухов играл с красноармейцами в шашки и рассказывал им о командире, которого никогда не видел.

Пухов, не видя удовольствия в жизни, привык украшать ее геройскими рассказами, и всем становилось от того веселей.

В отряде, назначенном в десант, было пятьсот человек,— и случилось, что все они из разных мест.

Поэтому на другой день пошло пятьсот писем в пятьсот русских деревень.

Целых полдня красноармейцы малевали и карякали бумагу, прощаясь с матерями, женами, отцами и более дальними родственниками.

Пухов тоже помогал, кто особо слаб был в буквах, и выдумывал такие письма, что красноармейцы одобряли:

— Складно ты пишешь, Фома Егорыч,— мои плакать будут!

— А то как же? — говорил Пухов,— хохотать тут нечего: дело не шуточное! Чудак ты человек!

После обеда Пухов пошел к комиссару:

— Товарищ комиссар, меня в десант возьмете?

— Возьмем, товарищ Пухов, затем тебя и звали вчера на собрание! — ответил комиссар.

— Только я прошу, товарищ комиссар, назначить меня механиком на «Шаню»,— там, я слыхал, паровая машина, а на «Марсе» керосиновый мотор, он мне не сподручен: дюже мал!

— На «Шане» там есть свой механик — турок! — сказал комиссар.— Ну, ладно: мы тебя в помощники назначим, а на «Марс» возьмем шофера! А ты что, не сладишь с керосиновым мотором, что ли?

— Мотор — ерундовая вещь, паровая машина крепче берет. Неохота мне, товарищ комиссар, в геройском походе с таким дерьмом возиться! Это примус, а не машина,— сами видите!

— Ну, ладно,— согласился комиссар,— поедешь на «Шане»,— раз так. В десанте люди едут добровольно и делают, что им способней! А уж в походе, брат, не мудри!..

Пухов взял пропуск и пошел на «Шаню»— машину поглядеть. Ему лишь бы машина была, там он считал себя дома.

С турецким машинистом он сошелся скоро, сказав, что главное дело — смазка, тогда никакой работой машину не погубишь.

— Это справедливо,— хорошо по-русски сказал турок,— масло — доброта, оно машину бережет! Кто масла много дает, тот любит машину, тот есть механик!

— Ну, понятно,— обрадовался Пухов,— машина любит конюха, а не наездника: она живое существо!

На том они и подружили.

Ночью, против окрепшего ветра, отряд шел в порт на посадку. Пухов не знал, к кому ему притулиться, и шел сбоку, гремя полученным казенным чайником. Но красноармейцы сразу его одернули:

— Сказано — иди тайком, чего ты громыхаешь?

— А чего мне таиться-то: не на грабеж идем! — сказал Пухов.

— Приказано не шуметь,— тихо ответил красноармеец Баронов,— затем и людей в городе в губчок попрятали, чтобы шпионов не было!

Шли долго и бесшумно, еле хрустя влажным песком. Огромные порожние склады стояли в темноте, и в них бурчал ветер. Голодные крысы метались всюду, питаясь неизвестно чем.

Ночь была непроглядна, как могильная глубина, но люди шли возбужденно, с тревожным восторгом в сердце, похожие на древних потаенных охотников.

Глубокие времена дышали над этими горами — свидетели мужества природы, посредством которого она только и существовала. Эти вооруженные путники также были полны мужества и последней смелости, какие имела природа, вздымая горы и роя водоемы.

Только потому красноармейцам, вооруженным иногда одними кулаками, и удавалось ловить в степях броневые автомобили врага и разоружать, окорачивая, воинские эшелоны белогвардейцев.

Молодые, они строили себе новую страну для долгой будущей жизни, в неистовстве истребляя все, что не ладилось с их мечтой о счастье бедных людей, которому они были научены политруком.

Они еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость — жалость потерять свое тело. Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они находились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей,— и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности.

В мрачной темноте засияли перемежающимся светом огни судовых сигналов. Отряд вступил на помост пристани. Сейчас же началась посадка.

На «Шаню» посадили весь отряд, на катер «Марс» — двадцать человек разведки, а на истребитель — военморов.

Пухов влез в машинное отделение «Шани» и почувствовал себе очень хорошо. Близ машины он всегда был добродушен. Он закурил и прохаркнулся громким голосом, устав молчать и выдувая из легких спертые, застоявшиеся газы.

Часа два еще гремели красноармейские башмаки по палубе и по трапам.

Чувствуя достаточное удовольствие от этих беспокойных событий, Пухов не усидел внизу и выскочил на палубу.

Черные тела людей, трепещущие в неярком свете фонарей, тихо ползли по трапам, крепко прижав к себе винтовки и все походные принадлежности, чтобы ничто не стукнуло.

Ночь от фонарей стала еще огромней и темней,— не верилось, что существует живой мир. В глубинах тьмы тонул небольшой ветер, шевеля какие-то вещи на пристани.

Кратко и предостерегающе гудели пароходы, что-то говоря друг другу, а на берегу лежала наблюдающая тьма и влекущая пустыня. Никакого звука не доходило до города, только с гор сквозило рокотание далекой быстрой реки.

Неиспытанное чувство полного удовольствия, крепости и необходимости своей жизни охватило Пухова. Он стоял, упершись спиной в лебедку, и радовался этой таинственной ночной картине — как люди молча и тайком собирались на гибель.

В давнем детстве он удивлялся пасхальной заутрене, ощущая в детском сердце неизвестное и опасное чудо. Теперь Пухов снова пережил эту простую радость, как будто он стал нужен и дорог всем,— и за это всех хотел незаметно поцеловать. Похоже было на то, что всю жизнь Пухов злился и оскорблял людей, а потом увидел, какие они хорошие, и от этого стало стыдно, но чести своей уже не воротишь.

Море покойно шуршало за бортом, храня неизвестные предметы в своих недрах. Но Пухов не глядел на море,— он в первый раз увидел настоящих людей. Вся прочая природа также от него отдалилась и стала скучной.

К часу ночи посадка окончилась. С берега раздалось последнее приветствие от Реввоенсовета армии. Комиссар что-то рассеянно туда ответил, он был занят другим.

Раздалась морская резкая команда,— и сушь начала отдаляться.

Десантные суда отчалили в Крым.

Через десять минут последняя видимость берега растаяла. Пароходы шли в воде и в холодном мраке. Огни были потушены, людей разместили в трюме,— все сидели в темноте и духоте, но никто не засыпал.

Приказано было не курить, чтобы случайно не зажечь судна. Разговаривать тоже запретили, так как командир и комиссар старались придать «Шане» безлюдный вид мирного торгового парохода.

Судно шло тайком, глухо отсекая пар. Где-то недалеко, затерянные в ночной гуще, ползли «Марс» и истребитель. Время от времени они давали о себе знать матросским длинным свистом. «Шаня» им отвечала коротким густым гудком.

Суда продирались в сплошной каше тьмы, напрягая свои небольшие машины.

Ночь проходила тихо. Красноармейцам она казалась долгой, как будущая жизнь. Возбуждение понемногу проходило, а длительная темнота постепенно напрягала душу тайной тревогой и ожиданием внезапных смертельных событий.

Море насторожилось и совсем примолкло. Винт греб невидимо что, какую-то тягучую влагу, и влага негромко мялась за бортом. Не спеша истекало томительное время. Горы бледно и застенчиво светились близким утром, но море уже было не то.

Спокойное зеркало его, созданное для загляденья неба, в тихом исступлении смешало отраженные видения. Мелкие злобные волны изуродовали тишину моря и терлись от своего множества в тесноте, раскачивая водяные недра.

А вдали — в открытом море — уже шевелились грузные медленные горы, рыли пучины и сами в них рушились. И оттуда неслась по мелким гребням известковая пена, шипя, как ядовитое вещество.

Ветер твердел и громил огромное пространство, погасая где-то за сотни верст. Капли воды, выдернутые из моря, неслись в трясущемся воздухе и били в лицо, как камешки.

На горах, наверно, уже гоготала буря, и море свирепело ей навстречу.

«Шаня» начала метаться по расшевелившемуся морю, как сухой листик, и все ее некрепкое тело уныло поскрипывало.

Каменный, тяжелый норд-ост так раскачивал море, что «Шаня» то ползла в пропасти, окруженная валами воды, то взлетала на гору — и оттуда видны были на миг чьи-то далекие страны, где, казалось, стояла синяя тишина.

В воздухе чувствовалось тягостное раздражение, какое бывает перед грозой.

День давно наступил, но от норд-оста захолодало, и красноармейцы студились.

Родом из сухих степей, они почти все лежали в желудочном кошмаре; некоторые вылезли на палубу и, свесившись, блевали густой желчью. Отблевавшись, они на минуту успокаивались, но их снова раскачивало, соки в теле перемешивались и бурлили как попало, и красноармейцев опять тянуло на рвоту. Даже комиссар забеспокоился и неугомонно ходил по палубе, схватываясь при качке за трубу или за стойку. Блевать его не тянуло,— он был из моряков.

«Шаня» приближалась к самому опасному месту — Керченскому проливу, а буря никак не укрощалась, силясь выхватить море из его глубокой обители.

«Марс» и истребитель давно пропали в пучинах урагана и на сигналы «Шани» перестали отвечать.

Командир «Шани» судном уже не управлял,— кораблем правила трепещущая стихия.

Пухов от качки не страдал. Он объяснял машинисту, что это изжога ему помогает, которой он давно болеет.

С машиной тоже справиться было трудно: все время менялась нагрузка — винт то зарывался в воду, то выскакивал на воздух. От этого машина то визжала от скорости, трясясь всеми болтами, то затихала от перегрузки.

— Мажь, мажь ее, Фома, уснащивай ее погуще, а то враз запорешь на таких оборотах! — говорил машинист.

И Пухов обильно питал машину маслом, что он уважал делать, и приговаривал:

— А-а, стервозия, я ж тебя упокою! Я ж тебя угромощу!

Часа через полтора «Шаня» проскочила Керченский пролив.

Комиссар спустился на минуту в машинное отделение прикурить, так как у него взмокли спички.

— Ну, как она? — спросил его Пухов.

— Она-то ничего, да он-то плох! — пошутил комиссар, улыбаясь усталым, изработавшимся лицом.

— А что так? — не понял Пухов.

— А ничего — все хорошо,— сказал комиссар.— Спасибо норд-осту, а то бы нас давно белые угомонили!

— Это как же так?

— А так,— объяснил комиссар.— Керченский пролив охраняется у белых военными крейсерами. А от бури они все укрылись в Керченскую гавань и поэтому нас не заметили! Понял?

— Ну, а прожекторами отчего нас не нащупывали? — допытывался Пухов.

— Ого! Вся атмосфера тряслась, какие тут прожектора!

В полдень «Шаня» шла уже в крымских водах, но море попрежнему изнемогало в буре и устало билось в борт парохода.

Скоро на горизонте показался неизвестный дымок. Капитан судна, командир отряда и комиссар долго наблюдали за тем дымком. Потом «Шаня» взяла курс в открытое море — и дымок пропал.

Норд-ост не прекращался. Это несчастье радовало капитана и комиссара. Сторожевые белогвардейские суда считали бдительность в такой шторм излишней и сидели в береговых щелях.

Комиссар тем и объяснял, что «Шаня» цела, и надеялся на высадку десанта на берег, как только стихнет буря и наступит ночь.

Пухов не вылезал из машинного, обливаясь пóтом у бесившейся машины и стращая ее всякими словами.

В четвертом часу дня на горизонте сразу объявились четыре дымка. Они стали ходко приближаться, как бы отхватывая «Шаню». Одно судно совсем разглядело «Шаню» и стало давать сигналы об остановке.

Красноармейцы хоть и не догадывались — как и что, а тоже высыпали на палубу и заметались от любопытства.

Капитан «Шани» по дыму догадался, что одно из судов наверняка военный крейсер.

Выходило, что десанту пришло время добровольно пускать себя ко дну.

Капитан и комиссар не сходили с рубки, стараясь найти какой-нибудь исход для спасения. Всем красноармейцам приказано было уйти в трюм, чтобы судно противника не обнаружило военного значения «Шани».

Норд-ост ревел с неизбывной силой и сметал «Шаню» с ее курса. Четыре неизвестных корабля тоже с трудом удерживали курс и не могли принять направления на «Шаню».

Скоро три дымка исчезли из зрения,— их куда-то отшиб зверский норд-ост. Зато четвертое судно неотступно подбиралось к «Шане». Иногда уже явственно обнажался его корпус. Капитан разглядел, что это быстроходный и хорошо вооруженный торговый пароход и что он нагоняет «Шаню». Только шторм никак не допускает то судно подойти к «Шане» вплотную. Затем пароход стал допрашивать «Шаню», куда она идет. «Шаня», войдя в крымские воды, шла под врангелевским флагом. На вопрос белогвардейского парохода «Шаня» ответила, что идет из Керчи в Феодосию и везет рыбу.

На палубе оставалось только четверо турок в костюмах своей родины, а все военные люди вместе с комиссаром и командиром десанта сидели в трюме. Поэтому, когда белые купцы подошли к «Шане», то только поглядели в бинокли и пошли прочь. Буксировать «Шаню» они не захотели,— наверное, из-за опасного шторма.

Остальной день прошел спокойно. Иногда показывались какие-то пароходы, но сейчас же исчезали: они боялись «Шани» еще больше, чем она их.

Красноармейцы, замученные тошнотой и сырым холодом, старались нарочно быть веселыми и стыдились отчего-то морской болезни. Им надоело тоскливое плавание, и они даже обрадовались, когда узнали, что подходит белогвардейский пароход, вооруженный четырьмя пушками.

Красноармейцам море было незнакомо, и они не верили, что та стихия, от которой только тошнит, таит в себе смерть кораблей.

— Пускай подходит! — сказал красноармеец-тамбовец.— Мы его смажем!

— Как же ты его смажешь? — спросил комиссар.— У него пушки на борту!

— А вот увидишь,— заявил тамбовец,— из винтовок так и смажем!

Привыкшие брать броневые автомобили на ходу, с одними винтовками в руках, красноармейцы и на море думали побеждать посредством винтовки.

Иногда мимо «Шани» проносились целые водяные столбы, объятые вихрем норд-оста. Вслед за собой они обнажили глубокие бездны, почти показывая дно моря.

Внезапно после такого морского столба показался пропавший ночью катер «Марс». Его совсем затрепало. Глыбы воды громили и рушили его оснастку и норовили совсем перекувырнуть. Но «Марс» упорно отфыркивался и метался по волнам, еле живой от своего упрямства. Он хотел пристать к «Шане», но волна откидывала его прочь в пучину.

Вся команда «Марса» и двадцать человек разведки, которую он вез, стояла на палубе, держась за снасти.

Люди что-то бешено кричали на «Шаню», но гром бури рвал

их голоса и ничего не было слышно. Лица людей затмились бессмысленностью, глаза выцвели от злобного отчаяния, и смертельная бледность на них лежала, как белая намазанная краска.

Казнь наступающей смерти терзала их еще больше от близости «Шани». Люди на «Марсе» рвали на себе последнюю казенную одежду и рычали по-звериному, показывая даже кулаки. Они вопили сильнее бури, а один толстый красноармеец сидел верхом на рее и ел хлеб, чтобы зря не пропал паек.

Глаза гибнущих людей торчали от выпученной ненависти, и ноги их неистово колотили в палубу, обращая на себя внимание.

Пухов стоял наверху и глядел на «Марс».

— Чего они там бесятся? — спросил он у комиссара.— Тонут, что ли, или испугались чего?

— Должно быть, течь у них,— ответил комиссар,— надо как-нибудь помочь!

Красноармейцев в трюме было не удержать. Они стояли на палубе и тоже что-то кричали на «Марс», позоря испуг несчастных.

Вся «Шаня» терзалась за отряд и команду «Марса»; командир в бешенстве кричал на капитана, комиссар тоже ему помогал, а капитан никак не мог подойти к «Марсу».

Когда «Шаню» подшвырнуло к «Марсу», то оттуда закричали, что вода уже в машинном отделении.

Еще послышалась с «Марса» гармоника — кто-то там наигрывал перед смертью, пугая все законы человеческого естества.

Пухов это как раз явственно услышал и чему-то обрадовался в такой неурочный час.

В затихшую секунду, когда «Марс» подскочил к «Шане», чистый голос, поверх криков, вторил чьей-то тамошней гармонике:

Мое яблочко
Несоленое,
В море Черное
Уроненное...

— Вот сволочь! — с удовольствием сказал Пухов про веселого человека на «Марсе» и плюнул от бессильного сочувствия.

— Спускай лодку! — крикнул капитан, потому что «Марс» торчал одной палубой, а корпус его уже утонул.

Лодка, еле опущенная на воду, сейчас же трижды перевернулась, и два матроса на ней исчезли невидимо куда.

Вдруг крутой взмах шквала схватил «Марс» и швырнул его так, что он очутился над «Шаней».

— Сигай вниз! — заорал усердней всех Пухов.

Люди на «Марсе» вздрогнули, помертвели до черноты лица и бросились как попало вниз — на палубу «Шани». Падая на «Шаню», они валились, как дохлые тела, и ломали руки ловившим их, а Пухова совсем сшибли с ног. Это ему не понравилось.

— Легче! — шумел он.— На Врангеля шли, черти, а чистой воды боятся!

Через несколько секунд весь «Марс» сгрузился на «Шаню», только двое пролетели мимо, промахнувшись в морскую прорву.

На «Марсе» что-то гулко заныло, и он разлетелся от внутреннего взрыва в щепки и железки.

Пухов ходил среди спасенных людей и каждого спрашивал:

— Это не ты пел там?

— Нет, куды там петь! — отвечал красноармеец или матрос с «Марса».

— Да ты и не похож на того! — говорил недовольно Пухов и шел дальше.

Так ни одного и не нашлось,— никто, оказывается, не пел и на гармонике не играл. А ведь слышался звук — и даже слова песни Пухов запомнил.

Вечерело уже, а шторм лютовал и не собирался отдыхать.

— И откуда он, дьявол, выходит,— посмотрел бы я то место! — говорил себе Пухов, качаясь вместе с машиной в трюме.

Вечером начальство на «Шане» долго совещалось. «Шаня» имела большую перегрузку и к крымскому берегу близко подойти не могла. К тому же норд-ост все время отжимал судно в открытое море, и десант высадить все равно нельзя. А долго задерживаться в море очень опасно — первый сторожевой крейсер белых пустит «Шаню» на дно.

Совещались долго. Матросы не сдавались и советовали переждать шторм, а там видно будет.

— Ну, вернемся в Новороссийск,— говорил командир разведки матрос Шариков,— а там что? Во-первых, жары нагонят, что самовольно вернулись, а во-вторых, что же,— все по-дурному пойдет: ведь Врангель цел останется!

— Ты, Шариков, забыл,— сказал ему военный комиссар,— что от «Марса» твоего одни щепки плавают, истребитель пропал,— тоже, должно, купается,— а «Шаня» кирпичом ворочается от нагрузки!.. Что ж, по-твоему, обязательно ему и «Шаню» на дно пустить?..

— Ну, как хочешь! — сказал Шариков.— Только и ворочаться дюже срамно!

Однако к ночи порешили, что надо уходить обратно на Новороссийск.

К полуночи норд-ост начал слабеть, но море носилось попрежнему. «Шаня» кое-как влекла себя домой.

В Керченском проливе ее нащупали береговые прожектора, но стрельбы из крепостных орудий белые не открыли. Может быть, потому, что на «Шане» еще болтался обрывок врангелевского флага.

Под утро «Шаня» выгружалась в Новороссийске.

— Срамота чертова! — обижались красноармейцы, собирая вещи.

— Чего ж срамота-то? — урезонивал их Пухов.— Природа, брат, погуще человека! Крейсера и то в береговых загогулинах стояли!

— Ничего,— говорил недовольный матрос Шариков,— вот Перекоп прошибут, тогда без нас, без сопливых, обойдутся!

Так оно и случилось: Шариков как в озеро глядел.

В тот же вечер Реввоенсовет приказал повторить десант.

Отряд в ночь снова погрузился, и «Шаня» подняла пары.

Шариков радостно метался по судну и каждому что-нибудь говорил. А военный комиссар чувствовал свою дурость, хотя в Реввоенсовете ему ничего плохого не сказали.

— Ты — рабочий? — спрашивал Шариков у Пухова.

— Был рабочий, а буду водолаз! — отвечал Пухов.

— Тогда почему ж ты не в авангарде революции?— совестил его Шариков.— Почему ж ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?..

— Да не верилось как-то, товарищ Шариков,— объяснил Пухов,— да и партком у нас в дореволюционном доме губернатора помещался!

— Чего там дореволюционный дом! — еще пуще убеждал Шариков.— Я вот родился до революции,— и то терплю!

Перед самым отходом комиссар десанта отлучился: пошел депешу дать о благополучном отплытии.

Через полчаса он вернулся, но на судно не пошел, а остался на пристани, смеялся и кричал:

— Слазь!

— Что ты, голова, очумел, что ли? Чего — слазь? — допрашивал его с борта Шариков.

— Слазь, говорю! — шумел комиссар.— Перекоп взят, Врангель бежит! Вот приказ — десант отменяется!

Шариков и прочие поникли.

— Вот тебе раз! — сказал один красноармеец.— Тут бы Врангеля и крыть в зад,— ведь он на корабли бежит, а тут — отменяется!..

— Я ж говорил, что в Крыму без сопливых обойдутся!..— начал Шариков, а кончил по-своему.

— Будя тебе ерепениться! — увещал Шарикова Пухов.— Пускай Врангель плывет, другого кого-нибудь избузуешь!

— Эх!..— крикнул Шариков и треснул кулаком по стойке, добавив кой-какой словесный материал.

— Дуй вплавь через пролив! — посоветовал ему Пухов.— Ты вещь маленькая, тебя прожектор не ухватит! Высадишь себя — десант получится!

— И то,— сказал было Шариков, но потом одумался: — Вода только холодна, да и волна большая — сразу захлебнешься!

— А ты обожди погодку! — рассказывал Пухов.— А воздух в подштанники надуешь, станешь захлебываться, пробей дырочку и вздохнешь!

— Нет, то чушь, то не морское дело! — отказывался Шариков.

Через два дня стало известным, что пропавший истребитель добрался до крымских берегов и высадил сто человек матросов.

— Я ж так и знал! — горевал Шариков.— На истребителе Кныш командовал, а я связался с сухопутной курицей!

3

— Пухов! Война кончается! — сказал однажды комиссар.

— Давно пора,— одними идеями одеваемся, а порток нету!

— Врангель ликвидируется! Красная Армия Симферополь взяла! — говорил комиссар.

— Чего не брать? — не удивлялся Пухов.— Там воздух хороший, солнцепек крутой, а советскую власть в спину вошь жжет, она и прет на белых!

— При чем тут вошь? — сердечно обижался комиссар.— Там сознательное геройство! Ты, Пухов, полный контр!

— А ты теории-практики не знаешь, товарищ комиссар! — сердито отвечал Пухов.— Привык лупить из винтовки, а по науке-технике контргайка необходима, иначе болт слетит на полном ходу! Понимаешь эту чушь?

— А ты знаешь приказ о трудовых армиях? — спросил комиссар.

— Это чтобы жлобы слесарями сразу стали и заводы пустили? Знаю! А давно ты их ноги вкрутую ставить научил?

— В Реввоенсовете не дураки сидят! — серьезно выразился комиссар.— Там взвесили «за» и «против»!

— Это я понимаю,— согласился Пухов.— Там — задумчивые люди, только жлоб механики враз не поймет!

— Ну, а кто ж тогда все чудеса науки и ценности международного империализма произвел? — заспорил комиссар.

— А ты думал, паровоз жлоб сгондобил?

— А то кто ж?

— Машина — строгая вещь. Для нее ум и ученье нужны, а чернорабочий — одна сырая сила!

— Но ведь воевать-то мы научились? — сбивал Пухова комиссар.

— Шуровать мы горазды! — не сдавался Пухов.— А мастерство — нежное свойство!

По улице шла в баню рота красноармейцев и пела для бодрости:

Как родная меня мать
Провожа-ала,
На дорогу сухих корок
Собира-ала!..

— Вот дьяволы! — заявил Пухов.— В приличном городе нищету проповедуют! Пели бы, что с пирогами провожала!

Время шло без тормозов. Пушки работали с постоянно уменьшающимся напряжением. Красноармейские резервы изучали от безделья природу и общество, готовясь прочно и долго жить.

Пухов посвежел лицом и лодырничал, называя отдых свойством рабочего человека.

— Пухов, ты бы хоть в кружок записался, ведь тебе скучно! — говорил ему кто-нибудь.

— Ученье мозги пачкает, а я хочу свежим жить!— иносказательно отговаривался Пухов, не то в самом деле, не то шутя.

— Оковалок ты, Пухов, а еще рабочий! — совестил его тот.

— Да что ты мне тень на плетень наводишь: я сам — квалифицированный человек! — заводил ссору Пухов, и она продолжалась вплоть до оскорбления революции и всех героев и угодников ее. Конечно, оскорблял Пухов, а собеседник, разыгранный вдрызг, в удручении оставлял Пухова.

В глупом городе, с неровным, порочным климатом, каким тогда был Новороссийск, Пухов прожил четыре месяца, считая с ночного десанта.

Числился он старшим монтером береговой базы Азово-Черноморского пароходства. Пароходство это учредила новороссийская власть, чтобы Северный Кавказ поскорей на мирную страну походил. Но пароходы не могли тронуться, по случаю разлаженных машин,— и Северный Кавказ совершенно напрасно считал себя мирной морской державой.

Одна аульская стенная газета даже назвала Северный Кавказ «восточной советской Англией», вследствие наличия одного морского берега и четырех пароходов, которые пока не плавали.

Пухов ежедневно осматривал пароходные машины и писал рапорты об их болезни: «Ввиду сломатия штока и дезорганизованности арматуры, ведущую машину парохода «Нежность» пустить невозможно, и думать даже нечего. Пароход же по названию «Всемирный Совет» болен взрывом котла и общим отсутствием топки, которая куда делась — нельзя теперь дознаться. Пароходы «Шаня» и «Красный Всадник» пустить в ход можно сразу, если сменить им размозженные цилиндры и сирены приделать, а цилиндры расточить теперь немыслимое дело, так как чугуна готового земля не рождает, а к руде никто от революции руками не касается. Что же до расточки цилиндров, то трудовые армии точить ничего не могут, потому что они скрытые хлебопашцы».

Иногда Пухова вызывал на личный доклад политком береговой базы. Пухов ему все рассказывал, как и что делается на базе.

— Чего ж твои монтеры делают? — спрашивал политком.

— Как что? Следят непрерывно за судовыми механизмами!

— Но ведь они не работают! — говорил политком.

— Что ж, что не работают! — сообщал Пухов.— А вредности атмосферы вы не учитываете: всякое железо — не говоря про медь — враз скиснет и опаршивеет, если за ним не последить!

— А ты бы там подумал и попробовал, может, сумеешь поправить пароходы! — советовал политком.

— Думать теперь нельзя, товарищ политком! — возражал Пухов.

— Это почему нельзя?

— Для силы мысли пищи не хватает: паек мал! — разъяснял Пухов.

— Ты, Пухов, настоящий очковтиратель! — кончал беседу комиссар и опускал глаза в текущие дела.

— Это вы очковтиратели, товарищ комиссар!

— Почему? — уже занятый делом, рассеянно спрашивал комиссар.

— Потому что вы делаете не вещь, а отношение! — говорил Пухов, смутно припоминая плакаты, где говорилось, что капитал не вещь, а отношение; отношение же Пухов понимал как ничто.

В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял в окрестностях города и думал — сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка.

Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совокупляясь с ней при каждом шаге. Это даровое удовольствие, знакомое всем странникам, Пухов тоже ощущал не в первый раз. Поэтому движение по земле всегда доставляло ему телесную прелесть — он шагал почти со сладострастием и воображал, что от каждого нажатия ноги в почве образуется тесная дырка, и поэтому оглядывался: целы ли они?

Ветер тормошил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее, и Пухов шумел своей кровью от такого счастья.

Эта супружеская любовь цельной непорченой земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу.

Садясь в бурьян, Пухов отдавался отчету о самом себе и растекался в отвлеченных мыслях, не имеющих никакого отношения к его квалификации и социальному происхождению.

Вспоминая усопшую жену, Пухов горевал о ней. Об этом он никогда никому не сообщал, поэтому все действительно думали, что Пухов корявый человек и вареную колбасу на гробе резал. Так оно и было, но Пухов делал это не из похабства, а

от голода. Зато потом чувствительность начинала мучить его, хотя горестное событие уже кончилось. Конечно, Пухов принимал во внимание силу мировых законов вещества и даже в смерти жены увидел их справедливость и примерную искренность. Его вполне радовала такая слаженность и гордая откровенность природы — и доставляла сознанию большое удивление. Но сердце его иногда тревожилось и трепетало от гибели родственного человека и хотело жаловаться всей круговой поруке людей на общую беззащитность. В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал, уткнувшись лицом в нагретую своим дыханьем землю, смачивая ее редкими неохотными каплями слез.

Все это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся.

В такие сосредоточенные часы даже далекий Зворычный был мил и дорог Пухову, и он думал — как бы хорошо встретиться с ним и побеседовать по душам.

Пухову казалось странным, что никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу.

Красноармейцы понемногу отпускались из армии по домам и навсегда пропадали в дальних, глухих деревнях, унося свежесть и тайну революции. Город без них оставался дореволюционной сиротой, надевал полежалый сюртук скуки и надлежаще копался по своему хозяйству.

— Ну, ладно — ухожу и я! — решил Пухов и со злобой степного человека поглядел на дикие горы, очертенело загромоздившие пешеходную землю.

О своем уходе Пухов начальству не сказал, чтобы никого не удручать и себя не обременять.

Тронулся Пухов одиноким, как и прибыл сюда. Тоска по родному месту взяла его за живое, и он не понимал, как можно среди людей учредить Интернационал, раз родина — сердечное дело и не вся земля.

Со станции Тихорецкой поезда на Ростов не шли, а ходили в обратную сторону — на Баку.

Из Баку Пухов собирался дойти до родины — вкось по берегу Каспийского моря и по Волге, не особенно разбираясь в географии. Он думал, что на этом маршруте пшеницы больше растет, а сытно питаться любил.

В дороге, на пустой нефтяной цистерне, Пухов устал и опал туловищем. Ел он один пайковый хлеб, что получил еще в Новороссийске,— и то не в полную досталь.

На дороге встречались худые деревья, горькая горелая трава и всякий другой живой и мертвый инвентарь природы, ветхий от климатического износа и топота походов войны.

Историческое время и злые силы свирепого мирового вещества совместно трепали и морили людей, а они, поев и отоспавшись, снова жили, розовели и верили в свое особое дело. Погибшие, посредством скорбной памяти, тоже подгоняли живых, чтобы оправдать свою гибель и зря не преть прахом.

Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность.

Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость.

Когда умерла его жена — преждевременно, от голода, запущенных болезней и в безвестности,— Пухова сразу прожгла эта мрачная неправда и противозаконность события. Он тогда же почуял — куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили:

— У тебя дюже масштаб велик, Пухов; наше дело мельче, но серьезней.

— Я вас не виню,— отвечал Пухов,— в шагу человека один аршин, больше не шагнешь; но если шагать долго подряд, можно далеко зайти,— я так понимаю; а, конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте, иначе бы шаг не получился.

— Ну, вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели,— разъяснили коммунисты, и Пухов думал, что они ничего ребята, хотя напрасно бога травят,— не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли.

— А ты люби свой класс,— советовали коммунисты.

— К этому привыкнуть еще надо,— рассуждал Пухов,— а народу в пустоте трудно будет: он вам дров наворочает от своего неуместного сердца.

В Баку Пухова приняли хорошо, потому что Пухов встретился с матросом Шариковым.

— Ты зачем приехал? — спросил Шариков, ворочая большие бумаги на дорогом столе и разыскивая в них толк.

— Укреплять революцию! — сразу заявил Пухов.

— А я, брат, Каспийское пароходство налаживаю,— только ни хрена не выходит! — спроста объяснил Шариков.

— А ты чего писцом стал: бери молоток и латай корабли лично! — разрешил Пухов мучение Шарикова.

— Чудак ты, я ж всеобщий руководитель Каспийского моря! Кто ж тогда будет заправлять тут всей красной флотилией?

— А чего ей заправлять, раз люди сами работать будут?— разъяснял Пухов, ничего не думая.

Шариков, однако, скучал по корабельной жизни и тяжко вздыхал за писчим делом. Резолюции он клал лишь в двух смыслах: «пускай» и «не надо».

Ночевать и харчиться Пухов пошел к Шарикову. Шариков жил у одной вдовы по улице Шварца. В свободные вечера, когда не было собраний или еще чего необходимого, Шариков делал вдове табуретки, а читать ничего не мог. Говорил, что от чтения он с ума начинает сходить и сны по ночам видит.

— У тебя грузный корпус — кровей много! — открыл ему Пухов. — А для умственной работы ряжка толста. Тебе обязательно надо кровь слить!

— Куда ж ее слить? — искал спасения Шариков.

— Лей в ведро! — советовал Пухов.— Давай я тебя ножом полосну — паровоз тоже лишний пар спущает!

— Брось ты скрипеть! — отставлял Шариков.— Я теперь сам похудею — от одного покоя. Ты знаешь, я от боев и классовой солидарности всегда становлюсь гуще и комплектней телом, а как все пройдет — я сам усохну!

Пожил у Шарикова Пухов с неделю, поел весь запас пищи у вдовы и оправился собой.

— Что ты, едрена мать, как хворостина мотаешься, дай я тебя к делу пришью! — сказал однажды Шариков Пухову. Но Пухов не дался, хотя Шариков предлагал ему стать командиром нефтеналивной флотилии.

Баку Пухову не нравился. В другое время его бы не вытащить оттуда, а сейчас все машины стояли молча, и буровые вышки прели на солнце.

Песок несся ветром так, что жужжал и влеплялся во все скважины открытого лица, отчего Пухова разбирала тяжкая злоба. Жара тоже донимала, несмотря на неурочное время — октябрь.

Решил Пухов скрыться отсюда и сказал о том Шарикову, когда он пришел со своего служебного поста.

— Катись! — разрешил Шариков.— Я тебе путевку дам в любое место республики, хотя ты кустарь советской власти!

На третьи сутки Пухов тронулся. Шариков дал ему командировку в Царицын — для привлечения квалифицированного пролетариата в Баку и заказа заводам подводных лодок, на случай войны с английскими интервентами, засевшими в Персии.

— Устроишь? — спросил Шариков, вручая командировку.

— Ну вот еще,— обиделся Пухов.— Что там, подводных лодок, что ль, не видели? Там, брат, целая металлургия!

— Тогда — сыпь! — успокоился Шариков.

— Ладно! — сказал Пухов, скрываясь.— Зря ты мне особых полномочий не дал и поезд на сорока осях! Я б напугал весь Царицын и сразу все устроил!

— Катись в общем порядке — и так примут коллективно!—

ответил на прощанье Шариков и написал на хлопчатобумажном отношении: «пускай». А в отношении рапортовалось о поглощении морской пучиной сторожевого катера.

4

Начался у Пухова звон в душе от смуты дорожных впечатлений. Как сквозь дым, пробивался Пухов в потоке несчастных людей на Царицын. С ним всегда так бывало — почти бессознательно он гнался жизнью по всяким ущельям земли, иногда в забвении самого себя.

Люди шумели, рельсы стонали под ударами насильно вращаемых колес, пустота круглого мира колебалась в смрадном кошмаре, облегая поезд верещащим воздухом, а Пухов внизывался в ветер вместе со всеми, влекомый и беспомощный, как косное тело.

Впечатления так густо затемняли сознание Пухова, что там не оставалось силы для собственного разумного размышления. Пухов ехал с открытым ртом — до того удивительны были разные люди.

Какие-то бабы Тверской губернии теперь ехали из турецкой Анатолии, носимые по свету не любопытством, а нуждой. Их не интересовали ни горы, ни народы, ни созвездия,— и они ничего ниоткуда не помнили, а о государствах рассказывали, как про волостное село в базарные дни. Знали только цены на все продукты Анатолийского побережья, а мануфактурой не интересовались.

— Почем там веревка? — спросил одну такую бабу Пухов, замышляя что-то про себя.

— Там, милый, веревки и не увидишь — весь базар исходили! Там почки бараньи дешевы, что правда, то правда, врать тебе не хочу! — рассказывала тверская баба.

— А ты не видела там созвездия Креста? Матросы говорили, что видели,— допытывался Пухов, как будто ему нужно было непременно знать.

— Нет, милый, креста не видела, его и нету,— там дюже звезды падучие! Подымешь голову, а звезды так и летят, так и летят. Таково страховито, а прелестно! — расписывала баба, чего не видела.

— Что ж ты сменяла там? — спросил Пухов.

— Пуд кукурузы везу, за кусок холстины дали! — жалостно ответила баба и высморкалась, швырнув носовую очистку прямо на пол.

— Как же ты иноземную границу проходила? — допытывался Пухов.— Ведь для документов у тебя карманов нету!

— Да мы, милый, ученые, ай мы не знаем как! — кратко объяснила тверячка.

Один калека, у которого Пухов английским табаком уго-

щался, ехал из Аргентины в Иваново-Вознесенск, везя пять пудов твердой чистосортной пшеницы.

Из дома он выехал полтора года назад здоровым человеком. Думал сменять ножики на муку и через две недели дома быть. А оказывается, вышло и обернулось так, что ближе Аргентины он хлеба не нашел,— может, жадность его взяла, думал, что в Аргентине ножиков нет. В Месопотамии его искалечило крушением в тоннеле — ногу отмяло. Ногу ему отрезали в багдадской больнице, и он вез ее тоже с собой, обернув в тряпки и закопав в пшеницу, чтобы она не воняла.

— Ну, как, не пахнет? — спрашивал этот мешочник из Аргентины у Пухова, почувствовав в нем хорошего человека.

— Маленько! — говорил Пухов.— Да тут не дознаешься: от таких харчей каждое тело дымит.

Хромой тоже нигде не заметил земной красоты. Наоборот, он беседовал с Пуховым о какой-то речке Курсавке, где ловил рыбу, и о траве доннике, посыпаемой для вкуса в махорку. Курсавку он помнил, донник знал, а про Великий или Тихий океан забыл и ни в одну пальму не вгляделся задумчивыми глазами.

Так весь мир и пронесся мимо него, не задев никакого чувства.

— Что ж ты так? — спросил у хромого Пухов про это, любивший картинки с видами таинственной природы.

— В голове от забот кляп сидел! — отвечал хромой.— Плывешь по морю, глядишь на разные чучелы и богатые державы,— а скучно!

Голод до того заострил разум у простого народа, что он полз по всему миру, ища пропитания и перехитрив законы всех государств. Как по своему уезду, путешествовали тогда безыменные люди по земному шару и нигде не обнаружили ничего поразительного.

Кто странствовал только по России, тому не оказывали почтения и особо не расспрашивали. Это было так же легко, как пьяному ходить в своей хате. Силы были тогда могучие в любом человеке, никакой рожон не считался обидой. Никто не жаловался на власть или на свое мучение — каждый ко всему притерпелся и вполне обжился.

На больших станциях поезд стоял по суткам, а на маленьких — по трое. Мужики-мешочники уходили в степь, косили чужую траву, чтобы мастерство не потерять, возвращались на станцию, а поезд стоял и стоял, как приклеенный. Паровоз долго не мог скипятить воду, а скипятивши, дрова пожигал и снова ждал топлива. Но тогда вода в котле остывала.

Пухов загорюнился. В такие остановки он ходил по траве, ложился на живот в канаву и сосал какую-нибудь желчную траву, из которой не теплый сок, а яд источался. От этого яда

или еще от чего-то Пухов весь запаршивел, оброс шерстью и забыл, откуда и куда ехал и кто он такой.

Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад смутного отчаяния и терпеливой грусти.

Хорошо, что люди ничего тогда не чуяли, а жили всему напротив.

В Царицыне Пухов не слез — там дождь шел и вьюжило какой-то гололедицей. Кроме того, над Волгой шелестели дикие ветры, и все пространство над домами угнеталось злобой и скукой.

Вышел на привокзальный рынок Пухов — воблы сменять на запасные кальсоны, и плохо ему стало. Где-то пели петухи — в четыре часа пополудни,— один мастеровой спорил с торговкой о точности безмена, а другой тянул волынку на ливенской гармонии, сидя на брошенной шпале. В глубине города кто-то стрелял, и неизвестные люди ехали на телегах.

— Где тут заводы подводные лодки делают? — спросил Пухов гармониста-мастерового.

— А ты кто такой? — поглядел на него мастеровой и спустил воздух из музыки.

— Охотник из Беловежской пущи! — нечаянно заявил Пухов, вспомнив какое-то старинное чтение.

— Знаю! — сказал мастеровой и заиграл унылую, но нахальную песню.— Вали прямо, потом вкось, выйдешь на буераки, свернешь на кузницу — там и спроси французский завод!

— Ладно! Дальше я без тебя знаю! — поблагодарил Пухов и побрел без всякого усердия.

Шел он часа три, на город не смотрел и чувствовал свою усталую, сырую кровь.

Какие-то люди ездили и ходили,— вероятно, по важному революционному делу. Пухов не сосредоточивался на них, а шел молча, изредка соображая, что Шариков — это сволочь: заставил трудиться по ненужному делу.

Около конторы французского завода Пухов остановил какого-то механика, евшего на ходу белую булку.

— Вот — видишь! — подал ему Пухов мандат Шарикова.

Тот взял документ и вник в него. Читал он его долго, вдумчиво и ни слова не говоря. Пухов начал зябнуть, трепеща на воздухе оскуделым телом. А механик все читал и читал — не то он был неграмотный, не то очень интересующийся человек.

На заводе, за высоким старым забором, стояло заунывное молчание — там жило давно остывшее железо, съедаемое ленивой ржавчиной.

День скрывался в серой ветреной ночи. Город мерцал редкими огнями, мешавшимися со звездами на высоком берегу.

Густой ветер шумел, как вода, и Пухов почувствовал себя безродным... заблудившимся человеком.

Механик или тот, кто он был, прочитал весь мандат и даже осмотрел его с тыльной стороны, но там была голая чистота.

— Ну, как? — спросил Пухов и поглядел на небо.— Когда цеха управятся с заказом?

Механик помазал языком мандат и приложил его к забору, а сам пошел вдоль местоположения завода к себе на квартиру.

Пухов посмотрел на бумажку на заборе и, чтобы не сорвал ее ветер, надел на шляпку высунувшегося гвоздя.

Обратно на вокзал Пухов дошел скоро. Ночной ветер и какая-то дождливая мелюзга доконали его самочувствие, и он обрадовался дыму паровоза, как домашнему очагу, а вокзальный зал показался ему милой родиной.

В полночь тронулся поездной состав неизвестного маршрута и назначения.

Осенний холодный дождь порол землю, и страшно было за пути сообщения.

— Куда он едет? — спросил Пухов людей, когда уже влез в вагон.

— А мы знаем — куда? — сомнительно произнес кроткий голос невидного человека.— Едет, и мы с ним.

5

Всю ночь шел поезд — гремя, мучаясь и напуская кошмары в костяные головы забывшихся людей.

На глухих стоянках ветер шевелил железо на крыше вагона, и Пухов думал о тоскливой жизни этого ветра и жалел его. Он соображал еще о мельницах-ветрянках, о пустых деревенских сараях, где сейчас сквозит буря, и об общей беспризорности огромной порожней земли.

Поезд трогался куда-то дальше. От его хода Пухов успокаивался и засыпал, ощущая теплоту в ровно работающем сердце.

Паровоз подолгу гудел на полном ходу, пугая темноту и прося о безопасности. Выпущенный звук долго метался по равнинам, водоразделам и ущельям и ломался оврагами на другой страшный голос.

— Пухов! — тихо и гулко послышалось Пухову во сне.

Он сразу проснулся и сказал:

— А?

Весь вагон сопел в глубоком сне, а под полом бушевали колеса на большой скорости.

— Ты чего? — вновь спросил Пухов тихим голосом, но знал, что нет никого.

Давно забытое горе невнятно забормотало в его сердце и в сознании — и, прижукнувшись, Пухов застонал, стараясь поскорее утихнуть и забыться, потому что не было надежды ни на чье участие. Так он томился долгие часы и не интересовался

несущимся мимо вагона пространством. Разжигая в себе отчаяние, он устал и пришел к своему утешению во сне.

Спал Пухов долго — до полного разгара дня. Солнце подсушило осенние кочки и сияло горящим золотом, ровной радостью и звенело высоким напряженным тоном.

По полю изредка и вразброд стояли худые смирные деревья. Они рассеянно помахивали ветками, бесстыдно оголенные перед смертью,— чтобы зря не пропадала их одежда.

В эти последние дни перед снегом вся живая зелень поверхности земли была поставлена под расстрел холода, заморозков и длинной ночной тьмы. Но — предварительно — скупая природа раздевала растения и разносила ветрами замерзшие, полуживые семена.

Листья утрамбовывались дождями в почву и прели там для удобрения, туда же укладывались для сохранности семена. Так жизнь скупо и прочно заготовляет впрок. От таких событий у очевидца Пухова слюни на губах показывались, что означало удовольствие.

Ездоки поездного состава неизвестного назначения проснулись на заре — от холода и потому, что прекратились сновидения. Пухов против всех опоздал и вскочил тогда, когда начала стрелять отлежанная нога.

Так как еды у него не было, то он закурил и уставился в пустую позднюю природу. Там ликовал прохладный свет низкого солнца и беззащитно трепетали придорожные кусты от плотного восточного утренника. Но дали на резком горизонте были чисты, прозрачны и привлекательны. Хотелось соскочить с поезда, прощупать ногами землю и полежать на ее верном теле.

Пухов удовлетворился своим созерцанием и крепко выразился обо всем:

— Гуманно!

— Сосна пошла! — сказал какой-то сведущий старичок, не евший три дня.— Должно, грунт тут песчаный!

— А какая это губерния? — спросил у него Пухов.

— А кто ж ее знает — какая! Так, какая-нибудь,— ответил равнодушно старичок.

— А тогда куда ж ты едешь? — рассерчал на него Пухов.

— В одно место с тобой! — сказал старичок.— Вместе вчерась сели — вместе и доедем.

— А ты не обознался — ты погляди на меня! — обратил на себя внимание Пухов.

— Зачем обознаться? Ты тут один рябой — у других кожа гладкая! — разъяснил старичок и стал расчесывать какую-то зуду на пояснице.

— А ты лаковый, что ль? — обиделся Пухов.

— Я не лаковый, мое лицо нормальное! — определил себя старичок и для поощрения погладил бурую щетину на своих щеках.

Пухов пристально оглядел старика в целом и плюнул рикошетом наружу, не обращая на него дальнейшего внимания.

Вдруг загремел мост,— и в вагон потянуло свежей проточной водой.

— Что это за река, ты не знаешь, как называется?— спросил Пухов одного черного мужика, похожего на колдуна.

— Нам неизвестно,— ответил мужик.— Как-нибудь называется!

Пухов вздохнул от голодного горя и после заметил, что это — родина. Речка называется Сухой Шошей, а деревня в сухой балке — Ясной Мечою; там жили староверы, под названием яйценосцы. От родины сразу понесло дымным запахом хлеба и нежной вонью остывающих трав.

Пухов погустел голосом и объявил от сердечной доброты:

— Это город Похаринск! Вон агрономический институт и кирпичный завод! За ночь мы верст четыреста угомонили!

— А тут — не знаешь, товарищ,— меняют аль нет? — спросил чуть дышавший старичок, хотя у него не было чего менять.

— Здесь, отец, не променяешь — у рабочих скулья жевать разучились! А рабочих тут пропасть! — сообщил Пухов и стал подтягивать ремешок на животе, как бы увязывая себя за отсутствием багажа.

Старый серый вокзал стоял таким же, как и в детстве Пухова, когда он тянул его на кругосветное путешествие. Пахло углем, жженой нефтью и тем запахом таинственного и тревожного пространства, какой всегда бывает на вокзалах.

Народ, обратившийся в нищих, лежал на асфальтовом перроне и с надеждой глядел на прибывший порожняк.

В депо сопели дремавшие паровозы, а на путях беспокойно трепалась маневровая кукушка, собирая вагоны в стада для угона в неизвестные края.

Пухов шел медленно по залам вокзала и с давним детским любопытством и каким-то грустным удовольствием читал старые объявления-рекламы, еще довоенного выпуска:

ПАРОВЫЕ МОЛОТИЛКИ «МАК-КОРМИК».
ЛОКОМОБИЛИ ВОЛЬФА С ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕМ.
КОЛБАСНАЯ ДИЦ.
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО «САМОЛЕТ».
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ «ИОХИМ И К°».
ВЕЛОСИПЕДЫ ПЕЖО.
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ БРИТВЫ ГЕЙЛЬМАН
и С — я,—

и много еще хороших объявлений.

Когда был Пухов мальчишкой, он нарочно приходил на вокзал читать объявления — и с завистью и тоской провожал поезда дальнего следования, но сам никуда не ездил. Тогда как-то чисто жилось ему, но позднее ничего не повторилось.

Сойдя со ступенек вокзала на городскую улицу, Пухов набрал светлого воздуха в свое пустое голодное тело и исчез за угóльным домом.

Прибывший поезд оставил в Похаринске много людей. И каждый тронулся в чужое место — погибать и спасаться.

6

— Зворычный! Петя! — глухо позвал слесарь Иконников.

— Ты что? — спросил Зворычный и остановился.

— Можно — я доски возьму?

— Какие доски?

— Вон те — шесть шелевок! — тихо сказал Иконников.

Дело было в колесном цехе Похаринских железнодорожных мастерских. Погребенный под пылью и железной стружкой, цех молчал. Редкие бригады возились у токарных станков и гидравлических прессов, налаживая их точить колесные бандажи и надевать оси. Старая грязь и копоть висела на балках махрами, пахло сыростью и мазутом, разреженный свет осени мертво сиял на механизмах.

Около мастерских росли купыри и лопухи, теперь одеревеневшие от старости. На всем пространстве двора лежали изувеченные неимоверной работой паровозы. Дикие горы железа, однако, не походили на природу, а говорили о погибшем техническом искусстве. Тонкая арматура, точные части ведущего механизма указывали на напряжение и энергию, трепетавшие когда-то в этих верных машинах. Эшелоны царской войны, железнодорожную гражданскую войну, степную скачку срочных продовольственных маршрутов — все видели и вынесли паровозы, а теперь залегли в смертном обмороке в деревенские травы, неуместные рядом с машиной.

— А на что тебе доски? — спросил Зворычный Иконникова.

— Гроб сделать — сын помер!.. — ответил Иконников.

— Большой сын?

— Семнадцать лет!

— Что с ним?

— От тифа!

Иконников отвернулся и худой старой рукой закрыл лицо. Этого никогда Зворычный не видел, и ему стало стыдно, жалко и неловко. Вот — человек всю жизнь мучился, работал и молчал, а теперь жалостно и беззащитно закрыл свое лицо.

— Кормил-кормил, растил-растил, питал-питал! — шептал про себя Иконников, почти не плача.

Зворычный вышел из цеха и пошел в контору.

Контора была далеко — около электрической силовой станции. Зворычный прошел всю дорогу без всякого сознания, только шевеля ногами.

— Скоро пресс наладишь? — спросил его комиссар мастерских.

— Завтра к вечеру попробуем! — равнодушно доложил Зворычный.

— Как, слесаря не волнуются? — поинтересовался комиссар.

— Ничего. Двое с обеда ушли — кровь из носа пошла от слабости. Надо какие-нибудь завтраки, что ль, наладить, а то дома у каждого детишки — им все отдает, а сам голодный падает на работе!..

— Ни черта нету, Зворычный!.. Вчера я был в ревкоме — красноармейцам паек урезали... Я сам знаю, что надо хоть что-нибудь сделать!

Комиссар мрачно и утомленно засмотрелся в мутное, загаженное окно и ничего там не увидел.

— Сегодня ячейка, Афонин! Ты знаешь? — сказал Зворычный комиссару.

— Знаю! — ответил комиссар.— Ты в электрическом цехе не был?

— Нет! А что там?

— Вчера большой генератор ребята пробовали пускать — обмотку сожгли. А два месяца, черти, латали!

— Ничего,— где-нибудь замыкание. Это оборудуют скоро! — решил Зворычный.— У нас вот ни угля, ни нефти нет, ты вот что скажи!

— Да, это хреновина бóльшая! — неопределенно высказался комиссар и не сдержался — улыбнулся: наверно, на что-то надеялся, или так просто — от своего сильного нрава.

Вошел Иконников.

— Я те шелевки заберу!

— Бери, бери! — сказал ему Зворычный.

— Зачем ты доски-то раздаешь, голова? — недовольно спросил Афонин.

— Брось ты, он на гроб взял, сын умер!

— А, ну, я не знал! — смутился Афонин.— Тогда надо бы помочь человеку еще чем-нибудь!

— А чем? — спросил Зворычный.— Ну, чем помочь? Брехать только! Хлеба ему дать — так нам самим пайки в урез дают,— даже меньше против числа едоков! Ты же сам знаешь.

После разговора Зворычный пошел прямо домой. Уже темнело, и носились по пустырям грачи, подъедая там кое-что. По старой привычке, Зворычному хотелось есть. Он знал, что дома есть горячая картошка, а про революционное беспокойство — можно подумать потом.

Вытирая об дерюжку сапоги в сенцах, Зворычный услышал, что кто-то посторонний бурчит в комнате с его женой.

Зворычный подумал, что теперь горшка картошки не хва-

тит, и вошел в комнату. Там сидел Пухов и похохатывал от своих рассказов жене Зворычного.

— Здорово, хозяин! — сказал Пухов первым.

— Здравствуй, Фома Егорыч! Ты откуда явился?

— С Каспийского моря, пришел к тебе курятины поесть! Ты любил петухов,— я тоже теперь во вкус вошел!

— У нас тут пост, Фома Егорыч,— кормимся спрохвала и не сдобно!..

— Губерния голодная! — заключил Пухов.— Почва есть, а хлеба нету, значит,— дураки живут!

— Жена, ставь ему пареную картошку! — сказал Зворычный.— А то он не утихнет!

Пухов разулся, развесил на печку сушить портянки, выгреб солому и крошки из волос и совсем водворился. Поев картошки и закусив шкурками, он воскрес духом.

— Зворычный! — заговорил Пухов.— Почему ты вооруженная сила? — и показал на винтовку у лежанки.

— Да я тут в отряде особого назначения состою,— пояснил Зворычный и вздохнул, потому что думал о другом.

— Какого значения?— спросил Пухов.— Хлеб у мужиков ходишь, что ль, отнимать?

— Особого назначения! На случай внезапных контрреволюционных выступлений противника! — внушительно пояснил Зворычный это темное дело.

— Ты кто ж такой теперь? — до всего дознавался Пухов.

— Да так,— революции помаленьку сочувствую!

— Как же ты сочувствуешь ей — хлеб, что ль, лишний получаешь или мануфактуру берешь? — догадывался Пухов.

Тут Зворычный сразу раздражился и осерчал. Пухов подумал, что теперь ему ужинать не дадут. Жена Зворычного скребла чего-то кочережкой в печке и тоже была женщина злая, скупая и до всего досужая.

Зворычный начал выпукло объяснять Пухову свое положение.

— Знаем мы эти мелкобуржуазные сплетни! Неужели ты не видишь, что революция — факт твердой воли — налицо!..

Пухов якобы слушал и почтительно глядел в рот Зворычному, но про себя думал, что он дурак.

А Зворычный перегрелся от возбуждения и подходил к цели мировой революции.

— Я сам теперь член партии и секретарь ячейки мастерских! Понял ты меня? — закончил Зворычный и пошел воду пить.

— Стало быть, ты теперь властишку имеешь? — высказался Пухов.

— Ну, при чем тут власть! — еще не напившись, обернулся Зворычный.— Как ты ничего не понимаешь? Коммунизм — не власть, а святая обязанность.

На этом Пухов смирился, чтобы не злить хозяев и не потерять пристанища.

Вечером Зворычный ушел на ячейку, а Пухов лег полежать на сундуке. Керосиновая лампа горела и тихо пищала. Пухов слушал писк и не мог догадаться — отчего это такое. Он хотел есть, а попросить боялся — и покуривал натощак.

Пухов помнил, что у Зворычного должен быть мальчишка — раньше был.

— Мальчугана-то отправили, что ль, куда, иль у родни ночует? — между прочим поинтересовался Пухов у хозяйки.

Та закачала головой и закрыла глаза фартуком — в знак своего горя.

Пухов примолк и задумался, хотя знал, что горе бабы неразумно.

«Оттого Петька и в партию залез,— сообразил Пухов.— Мальчонка умер — горе небольшое, а для родителя тоска. Деться ему некуда, баба у него — отрава, он и полез!»

Когда все забылось, хозяйка послала его дров поколоть. Пухов пошел и долго возился с суковатыми поленьями. Когда управился, он почувствовал слабость во всем корпусе и подумал — как он стал маломощен от недоедания.

На дворе дул такой же усердный ветер, что и в старое время. Никаких революционных событий для него, стервеца, не существовало. Но Пухов был уверен, что и ветер со временем укротят посредством науки и техники.

В одиннадцать часов возвратился Зворычный. Все попили тыквенного чаю без сахара, съели по две картофелины и собирались укладываться спать.

Пухов остался на ночь на сундуке, а Зворычный с женой полезли на печь. Пухов этому удивился — в былое время он не любил спать с женой: духота, теснота, клопы жрут,— а этот с осени на печь влез.

Однако дело его было постороннее, и он спросил Зворычного, когда все утихло:

— Петя! Ты не спишь?

— Нет, а что?

— Мне бы занятие надо! Что ж я у тебя нахлебником буду жить!

— Ладно, это устроим — завтра поговорим! — сказал сверху Зворычный и зевнул так, что кожа на лице полопалась.

«Зазнаваться начал, серый черт: в партию записался!»— подумал Пухов на сон грядущий и, слабея ото сна, открыл рот.

На другой день Пухова приняли слесарем на гидравлический пресс — он снова очутился за машиной, на родном месте.

Двое слесарей были старые знакомые, обоим им порознь Пухов рассказал свою историю — как раз то, что с ним не случилось, а что было — осталось неизвестным, и сам Пухов забывать начал.

— Ты бы теперь вождем стал, чего ж ты работаешь? — говорили слесаря Пухову.

— Вождей и так много, а паровозов нету! В дармоедах я состоять не буду! — сознательно ответил Пухов.

— Все равно, паровоз соберешь, а его из пушки расшибут! — сомневался в полезности труда один слесарь.

— Ну и пускай — все ж таки упор снаряду будет! — утверждал Пухов.

— Лучше в землю пусть стреляют: земля мягче и дешевле! — стоял на своем слесарь.— Зачем же зря технический продукт портить?

— А чтоб всему круговорот был! — разъяснял Пухов несведущему.— Паек берешь — паровоз даешь, паровоз в расход — бери другой паек и все сначала делай! А так бы харчам некуда деваться было!

Прожил Пухов у Зворычного еще с неделю, а потом переехал на самостоятельную квартиру.

Очутившись дома, он обрадовался, но скоро заскучал и стал ежедневно ходить в гости к Зворычному.

— Что ты? — спрашивал его Зворычный.

— Скучно там, не квартира, а полоса отчуждения! — ответил ему Пухов и что-нибудь рассказывал про Черное море, чтобы не задаром чай пить.

— Был у нас Шариков — чепуха человек, но матрос. Угля у меня не хватило, я и вернись из-под Крыма. А в Крыму тогда белые сидели, а чтоб они не убежали, их англичане сторожили на громадных боевых кораблях... Прибыл я в Новороссийск благополучно и даю сигналы, чтобы еду на лодке доставили — есть захотел. Хорошо, а только ерундово как-то. В городе стреляют день и ночь — не от опасности, а от хамства. Я все сижу, а есть охота, даже воображения в голове нету. Вдруг подплывает Шариков: ты зачем, говорит, безвременно прибыл? Я ему — проголодался, говорю, и уголь весь погорел. Он — мужик сытый! — как схватил меня, так во всем облачении и сбросил в море. «Плыви, кричит, десантом на Врангеля — после расскажешь». Я сначала испугался, а потом обтерпелся в воде и поплыл с отдышкой. К ночи я добился до Крыма. Вылез на сушь противника и лег в кусты. А потом укрылся песком и заснул. Под утро меня пробрало, и я окоченел. А днем отогрелся на солнышке и поплыл обратно — на Новороссийск. Тут я форменно спешил, потому что есть захотел хуже вчерашнего...

— Доплыл? — спросил Зворычный.

— Уцелел! — заканчивал Пухов.— По морю плыть легко, лишь бы бури не оказалось — тогда жутко...

— А Шариков тебе что? — узнавал Зворычный.

— Шариков говорит — молодец, я тебя к Красному герою представляю! Видал — спрашивает — противника? А я ему: нет

там никакого противника — в Симферополе Ревком, зря я там на песке сидел.— Не может,— говорит,— быть!— Ну вот — опять же — не может быть: плыви тогда сам на сверку! А извещения тогда шли тихо — телеграфной проволоки не хватало, матерьял ржавый. И верно, через день весь Крым советская власть взяла. Я так и знал, оказывается. Вот тогда Шариков и назначил меня начальником горных недр...

— А Красного героя ты получил? — удивился Зворычный.

— Получил, конечно. Ты слушай дальше. За самоотречение, вездесущность и предвидение — так и было отштамповано на медали. Но скоро на пшено пришлось ее сменять в Тихорецкой.

После чая Пухову никак не хотелось уходить. Но Зворычный начинал дремать, вздыхать — Пухов совестился и прощался, с порога договаривал последний рассказ.

Ночью, бредя на покой, Пухов оглядывал город свежими глазами и думал: какая масса имущества! Будто город он видел в первый раз в жизни. Каждый новый день ему казался утром небывалым, и он разглядывал его, как умное и редкое изобретение. К вечеру же он уставал на работе, сердце его дурнело и жизнь для него протухала.

Приходя от Зворычного, Пухов печку топить ленился и кутался сразу во все свои одежды. Дом был населен неплотно: жила где-то еще одна семья, а между нею и комнатой Пухова стояли пустые помещения. Если Пухову не спалось, он ставил лампу на табуретку у койки и принимался читать какую-нибудь агитпропаганду. Ею удружил его Зворычный.

Когда Пухов ничего не понимал, он думал, что писал дурак или бывший дьячок, и от отсутствия интереса сейчас же засыпал.

Снов он видеть не мог, потому что как только начинало ему что-нибудь сниться, он сейчас же догадывался об обмане и громко говорил: да ведь это же сон, дьяволы! — и просыпался. А потом долго не мог заснуть, проклиная пережитки идеализма, который Пухов знал благодаря чтению.

Раз шли они с Зворычным после гудка с работы. Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром.

Пухов чувствовал свою телесную нечистоту, думал о тоске, живущей на его квартире, и шел, препинаясь, тяжелыми ногами.

Зворычный махнул рукой на дома и смачно сказал:

— Общность! Теперь идешь по городу как по своему двору.

— Знаю,— не согласился Пухов,— твое — мое — богатство! Было у хозяина, а теперь ничье!

— Чудак ты! — посмеялся Зворычный.— Общее — значит, твое, но не хищнически, а благоразумно. Стоит дом — живи в нем и храни в целом, а не жги дверей по буржуазному самодурству. Революция, брат, забота!

— Какая там забота, когда все общее, а по-моему — чужое! Буржуй ближе крови дом свой чувствовал, а мы что?

— Буржуй потому и чувствовал, потому и жадно берег, что награбил: знал, что самому не сделать! А мы делаем и дома, и машины — кровью, можно сказать, лепим,— вот у нас-то и будет кровно бережливое отношение: мы знаем, чего это стоит! Но мы не скупимся над имуществом — другое сможем сделать. А буржуй весь трясся над своим хламом!

— Шарик у тебя работает, вижу! — непохоже на себя заявил Пухов.— Не то ты жрать разучился! Помнишь, как ты лопал на снегоочистителе?

— При чем тут жрать? — обиделся Зворычный.— Понятно, мозг любит плотную пищу, без нее тоже не задумаешься!

Здесь они расстались и скрылись друг от друга. Подходя к своему дому, Пухов вспомнил, что жилище называется очагом.

— Очаг, черт: ни бабы, ни костра!

7

На сладкой и влажной заре, когда Пухову тепла на койке не хватало, треснуло стекло в оконной раме. Гулко закатился над городом орудийный залп.

В голове Пухова это беспокойство пошло сонным воспоминанием о южной новороссийской войне. Но он сейчас же разоблачил свою фантазию: ты же сон, дьявол! — и открыл глаза. Залп повторился так, что дом заерзал на почве.

«Будет тебе бухтеть-то!»— не соглашался с действительностью Пухов и стал зажигать лампу для проверки законов природы. Лампа зажглась, но сейчас же потухла от третьего залпа — снаряд, наверно, разорвался на огороде.

Пухов одевался.

«Какой скот забрел с пушками по такой грязи?»— и не догадывался.

На улице Пухову показалось дымно и жарко. Явственно и близко рубцевал воздух пулемет. Пухов любил его: похож на машину и требует охлаждения.

В здание губпродкома ударила картечь,— и оттуда понесло гарью.

— У них нет снарядов, раз по городу картечью бьют,— сообразил Пухов: он знал, что сюда нужна граната.

Было безлюдно, тревожно и ничего не известно.

Вдруг на монастырской колокольне тихо зазвонили. Пухов вздрогнул и остановился, чутко слушая этот звон с перерывами.

Монастырь стоял на бугре и господствовал над городом и степями за речной долиной. В уличный просвет Пухов заметил раннее утро над тихим далеким лугом, заволоченным туманным газом.

От монастыря до мастерских лежала верста. Пухов покрыл

ее срочным шагом, не обращая внимания на свирепеющий бой, к которому можно скоро привыкнуть.

В мастерских он не нашел никого. На вокзальных путях стоял броневой поезд и бил в направлении утренней зари, где был мост.

В проходной стоял комиссар Афонин и еще два человека. Афонин курил, а другие пробовали затворы винтовок и устанавливали их в ряд.

— Пухов, винтовку хочешь? — спросил Афонин.

— А то нет!

— Бери любую!

Пухов взял и освидетельствовал исправность механизма.

— А масла нет? Туго затвор ходит!

— Нет, нету — какое тебе масло тут? — отказал Афонин.

— Эх вы, воители! Давай патроны!

Получив патроны, Пухов спросил ручную гранату: невозможно, говорит, без нее: это бой сухопутный — когда я на Черном море бился, и то там гранаты давали.

Ему дали гранату.

— Зачем она тебе, их и так у нас мало! — заявил Афонин.

— Без нее нельзя. Матросы всегда этого ежика пущают, когда деться некуда!

— Ну, вали, вали!

— Куда идти-то?

— К мосту, за рощу — там наша цепь.

Нагруженный Пухов побрел по путям. Проходя мимо бронепоезда, он заметил там матросов.

Пухов залез на подножку и постучал в блиндированную дверцу. Дверца туго пошла по патентованному устройству, и в скважину просунулся матрос.

— Тебе чего, сыч?

— Шарикова тут нету?

— Нету.

— Распахни-ка мне ход, я приказ тебе дам.

— Ну, сыпь скорей.

В металлическом вагоне парилась тесная духота и веял промежуточный сквозняк. Замки трехдюймовых орудий воняли салом, но кругом было технически хорошо. Сидевший в башне за пулеметом матрос постреливал короткой частотой куда-то в поле, за кирпичные сараи, и пробовал рукою хоботок пулемета: не перегревается ли?

К Пухову подошел большой главный матрос.

— Ты что, братишка? Говори чаще.

— Вдарь-ка, друг, по монастырской колокольне. Там у них наблюдатель.

— Ладно, Федька! По колокольне: прицел сто десять, трубка девяносто — на снос!

Матрос взял бинокль и стал проверять действие снаряда.

Пухов ушел успокоенный. Идя по песчаному балласту железной дороги, он разговаривал в воздух. В синей лощине, закрытой укромным кустарником, шел бой. За железнодорожным мостом спешно работала артиллерия, сокрушая шрапнелью лощину. За мостом, наверное, стоял бронепоезд противника.

Тяжелая артиллерия — шестидюймовки — издалека била по городу. Город от нее давно и покорно горел.

Растопыренные умершие травы росли по откосу насыпи, но они тоже вздрагивали, когда недалекий бронепоезд из-за моста метал снаряд.

На вокзале работал бронепоезд красных, за мостом — белых, в пяти верстах друг от друга. Снаряды журчали в воздухе над головою Пухова, и он на них поглядывал. Одни летели за мост, другие обратно. Но вплотную не встречались.

В кустарнике лощины лежали рабочие — живые и мертвые. Живых было меньше, но они стреляли на ту сторону реки сдельно: за себя и за мертвых.

Пухов тоже прилег и пригляделся. Видны были товарные вагоны, маленький дом полустанка и какой-то железный брак на путях. Мастеровых от белых отделяла речка и долина, всего полторы версты.

«В чего же мы стреляем? — соображал Пухов.— Пули из страха переводим!»

Сосед его, помощник машиниста Кваков, перестал стрелять и посмотрел на Пухова.

— Что ж ты? — спросил его Пухов и выстрелил в шевельнувшийся предмет у станционного домика.

— Живот заболел — часа два бузую с сырой земли.

— А в кого мы стреляем?

— В белых — не знаешь, что ль?

— В каких белых? А где же Красная Армия?

— Она на том конце города кавалерию сдерживает. Это генерал Любославский наскочил — у него конницы — тьма.

— А чего ж мы раньше ничего не знали?

— Как не знали? Это, брат, конница — сегодня она у нас, а завтра в Орле будет.

— Чудно! — сказал Пухов с досадой.— Лежим, стреляем, аж пузо болит, а ни в кого не попадаем. Ихний броневик давно прицел нашел — и крошит нас помаленьку.

— Что же будешь делать-то: надо отбиваться! — ответил Кваков.

— Чушь какая: смерть не защита! — окончательно выяснил Пухов и перестал стрелять.

Шрапнель визжала низко и, останавливаясь на лету, со злобой рвала себя на куски. Эти куски вонзались в головы и в тела рабочих, и они, повернувшись с живота навзничь, замирали навсегда. Смерть действовала с таким спокойствием, что вера в научное воскресение мертвых, казалось, не имела ошиб-

ки. Тогда выходило, что люди умерли не навсегда, а лишь на долгое, глухое время.

Пухову это надоело. Он не верил, что если умрешь, то жизнь возвратится с процентами. А если и чувствовал что-нибудь такое, то знал, что нынче надо победить как раз рабочим, потому что они делают паровозы и другие научные предметы, а буржуи их только изнашивают.

Стрельба рабочих глохла и редела; над рекою стоял чад сгоревших снарядов. Кваков сел, не обращая внимания на войну, и собирал махорочную пыль по карманам. Пухов выжидал, пока он ее соберет, чтобы тоже попросить на цигарку.

— Ни санитаров, ни докторов у нас нет, ни лекарства — липовое хозяйство! — сказал Кваков, глядя на одного раненого, шевелившегося в бреду.

Раненый хотел подползти к Квакову и открывал глаза, но, не осилив с тяжестью век, снова закрывал их.

Кваков погладил его голову по редким старым волосам:

— Тебе чего, друг?

Раненый тихо гудел странным отвыкшим голосом, собираясь что-то сказать.

— Ну, чего? — говорил Кваков и сам мучился.

Раненый дополз до него и поднял грузную, мокрую голову, с которой капал крупный пот. Кваков приник к нему.

— Забей мне гвоздь в ухо поскорей...— сказал раненый и свалился от напряжения.

Кваков потер ему ухо и лег близко рядом, как бы защищая его от мучения и от новых ран.

Осколки шрапнели влеплялись в землю в сажени от Пухова и бросали ему в лицо гравий и рваную почву.

Сзади неожиданно подошел Афонин и тоже прилег.

— Ты тут, Пухов? На ихнем бронепоезде снарядов нету, скоро пойдем в атаку на станцию.

— Будя дурака валять,— кто это узнавал, что снарядов у них нет? Чего наш-то бронепоезд плохо бьет; ведь знает прицел, давно бы их сшибить можно...

Афонин не успел ответить и куда-то побежал, пригибаясь на открытых местах.

Через минуту весь отряд железнодорожников менял позицию — пробежал через овраг на молочную ферму и там залег за сараями.

Пухов снова увидел Афонина. Он стоял за каменным амбаром и договаривался о чем-то с двумя слесарями, державшими по буханке хлеба.

Пухов подошел к Афонину, чтобы сказать о необходимости пищи, но по дороге он обдумал другое. Из-за амбара были видны линия, мост и броневик белых. Линия шла с крутым уклоном из Похаринска на полустанок, где стоял белый бронепоезд.

Пухов подождал, пока кончил Афонин разговаривать со слесарями, и тогда разъяснил ему, что пора подумать, пора что-нибудь умственно схитрить, раз прямой силой белых не прогнать.

— Видишь, какой уклон из города на полустанок?

— Ну, вижу! — сказал Афонин.

— Ага,— вижу! Давно бы тебе надо его увидеть! — осерчал Пухов.— А где Зворычный?

— Тут. На что он тебе?

В городе загудел ураганный артиллерийский огонь, и послышался сплошной, долгий крик большой массы людей.

— Что это? — обернулся туда Афонин.— Белые, что ль, ворвались? Должно, наших гонят.

Пухов прислушался. Голоса смолкли, а снаряды по-прежнему бурлили воздух над городом и, падая, крушили тяжелое, колкое вещество зданий.

Через пять минут Пухов и Зворычный ушли в город — на вокзал.

— А есть там груженый балласт? — спрашивал Зворычный.

— Есть — у литейного цеха десять платформ стоит! — говорил Пухов.

— Но ведь паровозов нет,— куда ж мы идем? — опять сомневался Зворычный.

— Да мы на руках их выкатим, голова! Потом заправим на главный путь, раскатим — и бросим. А за пять верст они сами разбегутся так, что от белого броневика одни шматки останутся!

— А рабочие где,— вдвоем на руках не выкатим!

— А мы матросов с нашего бронепоезда попросим. Мы по одному вагону будем выкатывать, а потом сцепим и бросим под уклон всем составом.

— Едва ли с броневика матросов дадут,— никак не соглашался Зворычный.— Броневик на два фронта бьет: и по кавалерии, и за мост...

— Дадут, там ходкие ребята! — уверял Пухов.

Афонин жалел, что согласился с Пуховым. Он думал, что Пухов просто сбежал из отряда и выдумал про балласт — никаких платформ с песком Афонин в мастерских не видал.

К обеду бой утих. Броневик белых изредка постреливал по речной долине, ища красных. Наш бронепоезд совсем молчал. «Там матросня, — думал Афонин, — наморочит им голову этот Пухов».

Однако он не отрывался глазами от линии и сказал мастеровым о замысле Пухова.

— Ну как, десять груженых платформ сшибут белый броневик или нет? — спрашивал Афонин.

— Если скорости наберут, то сшибут — ясно! — говорил машинист Варежкин, водивший когда-то царский поезд.

Он же первый в половине второго расслышал бег колес на линии и крикнул Афонину:

— Гляди туда!

Афонин выбежал за амбар и присел на корточки, озирая весь путь. Из выемки с ветром и лихою игрою колес вылетел состав без паровоза и в момент вскочил на затрепетавший под такою скоростью мост.

Афонин забыл дышать и от какого-то восторга нечаянно взмок глазами. Состав скрылся на мгновенье в гуще вагонов полустанка, и сейчас же там поднялось облако песчаной пыли. Потом раздался резкий, краткий разлом стали, закончившийся раздраженным треском.

— Есть! — сказал сразу успокоившийся Афонин и побежал впереди всего отряда на полустанок.

По песку и раскопанным грядкам картошек бежать было очень тяжело. Надо иметь большое очарование в сердце, чтобы так трудиться.

По мосту отряд пошел своим шагом — каждый считал белый бронепоезд разбитым и бессильным.

Отряд обошел пакгауз и тихо выбрался на чистую середину путей. На четвертом пути стоял чистый целый бронепоезд, а на главном — крошево фуража, песка и дребедень размятых, порванных вагонов.

Отряд бросился на бронепоезд, зачумленный последним страхом, превратившимся в безысходное геройство. Но железнодорожников начал резать пулемет, заработавший с молчка. И каждый лег на рельсы, на путевой балласт или на ржавый болт, некогда оторвавшийся с поезда на ходу. Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы.

У Афонина три пули защемились сердцем, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем. За каждой пулей он мог следить отдельно — с такой остротой и бдительностью он подразумевал совершающееся.

«Ведь я умираю — мои все умерли давно!» — подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания.

Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз Афонина: отнялось небо, исчез бронепоезд, потух светлый воздух, остался только рельс у головы. Сознание все больше средоточилось в точке, но точка сияла спрессованной ясностью. Чем больше сжималось сознание, тем ослепительней оно проницало в последние мгновенные явления. Наконец, сознание начало видеть только свои тающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность.

В побелевших открытых глазах Афонина ходили тени текущего грязного воздуха — глаза, как куски прозрачной горной породы, отражали осиротевший одним человеком мир.

Рядом с Афониным успокоился Кваков, взмокнув кровью, как заржавленный.

На это место с бронепоезда сошел белый офицер, Леонид Маевский. Он был молод и умен, до войны писал стихи и изучал историю религий.

Он остановился у тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком.

Маевскому надоела война, он не верил в человеческое общество — и его тянуло к библиотекам.

«Неужели они правы? — спросил он себя и мертвых.— Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиночество. Века мы мучаем друг друга,— значит, надо разойтись и кончить историю».

До конца своего последнего дня Маевский не понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю.

Поздно вечером бронепоезд матросов вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупами — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела. Его последняя неверующая скорбь равнялась равнодушию пришедшего потом матроса, обменявшего свою обмундировку на его.

Ночью два поезда стояли рядом, наполненные спящими и мертвыми людьми. Усталость живых была больше чувства опасности — и ни один часовой не стоял на затихшем полустанке.

Утром два броневых поезда пошли в город и помогли сбить и расстрелять белую кавалерию, двое суток рвавшуюся на город и еле сдерживаемую слабыми отрядами молодых красноармейцев.

8

Пухов прошелся по городу. Пожары потухли, кое-какое недвижимое имущество погибло, но люди остались полностью.

Оглядев по-хозяйски город, вечером он сказал Зворычному:

— Война нам убыточна — пора ее кончить!

Зворычный чувствовал себя помощником убийцы и молча держал свой характер против Пухова. А Пухов знал себя за умного человека и говорил, что бронепоезд никогда не ставят на четвертый путь, а всегда на главный — это белые правил движения не знали.

— Все ж таки мы им дров наломали и жуть нагнали!

— Иди ты к черту! — ценил Пухова Зворычный.— У тебя

всегда голова свербит без учета фактов — тебя бы к стенке надо!

— Опять же — к стенке! Тебе говорят, что война — это ум, а не драка. Я Врангеля шпокал, англичан не боялся, а вы от конных наездников целый город перепугали.

— Каких наездников? — спрашивал злой и непокойный Зворычный.— Кавалерия — то тебе наездники?

— Никакой кавалерии и не было! А просто — верховые бандиты! Выдумали какого-то генерала Любославского,— а это атаман из Тамбовской губернии. А броневой поезд они захватили в Балашове — вот и вся музыка. Их и было-то человек пятьсот...

— А откуда же белые офицеры у них?

— Вот тебе раз — отчубучил! Так они ж теперь везде шляются — новую войну ищут! Что я их, не знаю, что ль? Это — люди идейные, вроде коммунистов.

— Значит, по-твоему, на нас налетела банда?

— Ну да, банда! А ты думал — целая армия? Армию на юге прочно угомонили.

— А артиллерия у них откуда? — не верил Пухову Зворычный.

— Чудак человек! Давай мне мандат с печатью — я тебе по деревням в неделю сто пушек наберу.

Дома Пухов не ел и не пил — нечего было — и томился одним размышлением. Природу хватал мороз, и она сдавалась на зиму.

Когда начали работать мастерские, Пухова не хотели брать на работу: ты — сукин сын, говорят, иди куда-нибудь в другое место! Пухов доказывал, что его несчастный десант против белых — дело ума, а не подлости, и пользовался пока что горячим завтраком в мастерских.

Потом ячейка решила, что Пухов — не предатель, а просто придурковатый мужик, и поставила его на прежнее место. Но с Пухова взяли подписку — пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячейке: человек — сволочь, ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!

— Ты своего добьешься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут!— серьезно сказал ему секретарь ячейки.

— Ничего не шпокнут! — ответил Пухов.— Я всю тактику жизни чувствую.

Зимовал он один — и много горя хлебнул: не столько от работы, сколько от домоводства. К Зворычному Пухов ходить совсем перестал: глупый человек, схватился за революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А вся революция — простота: перекрошил белых — делай разнообразные вещи.

А Зворычный мудрит: паровозное колесо согласовывал с Кар-

лом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства — и забыл, как делается это колесо. Но Пухов втайне подумывал, что нельзя жить зря и бестолково, как было раньше. Теперь наступила умственная жизнь, чтобы ничто ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта — выпишут в издержки революции, как путевой балласт.

Но, ворочаясь головой на подушке, Пухов чувствовал свое бушующее сердце и не знал, где этому сердцу место в уме.

Сквозь зиму Пухов жил медленно, как лез в скважину. Работа в цехе отягощала его не тяжестью, а унынием.

Материалов не хватало, электрическая станция работала с перебоями — и были длинные мертвые простои.

Нашел Пухов одного друга себе — Афанасия Перевощикова, бригадира из сборочного цеха, но тот женился, занялся брачным делом, и Пухов остался опять один. Тогда он и понял, что женатый человек, то есть состоящий в браке, для друга и для общества — человек бракованный.

— Афанас, ты теперь не цельный человек, а бракованный! — говорил Пухов с сожалением.

— Э, Фома, и ты со щербиной: торец стоит и то не один, а рядышком с другим!

Но Пухов уже привык к своей комнате, ему казалось, что стены и вещи тоскуют по нем, когда он на работе.

Когда зима начала подогреваться, Пухов вспомнил про Шарикова: душевный парень — не то сделал он подводные лодки, не то нет?

Два вечера Пухов писал ему письмо. Написал про все: про песчаный десант, разбивший белый бронепоезд с одного удара, про Коммунистический Собор, назло всему народу построенный летом на Базарной площади, про свою скуку вдали от морской жизни и про все другое. Написал он также, что подводные лодки в Царицыне делать не взялись, мастера забыли, с чего их начинать, и не было кровельного железа. Теперь же Пухов решил выехать в Баку, как только получит от Шарикова мандат по почте. В Баку много стоячих машин по нефтяному делу, которые должны двинуться, так как в России есть дизеля, а на море моторы, зря пропадающие без работы. Сверх того, морское занятие серьезней сухопутного, а морские десанты искуснее песчаных.

У Пухова три раза стреляла рука, пока он карякал буквы: с самого новороссийского десанта ничего писаного не видал — отвык от чистописания.

«До чего ж письмо — тонкое дело!» — думал Пухов на передышке и писал, что в мозг попадало.

На конверте он обозначил:

«Адресату морскому матросу Шарикову.
В Баку — на Каспийскую флотилию».

Целую ночь он отдыхал от творчества, а утром пошел на почту сдавать письмо.

— Брось в ящик! — сказал ему чиновник.— У тебя простое письмо!

— Из ящиков писем не вынимают, я никогда не видел! Отправь из рук! — попросил Пухов.

— Как так не вынимают? — обиделся чиновник.— Ты по улице ходишь не вовремя, вот и не видишь!

Тогда Пухов просунул письмо в ящик и осмотрел его устройство.

— Не вынают, дьяволы,— ржавь кругом!

На политграмоту Пухов не ходил, хотя и подписал ячейкину бумажку.

— Что ж ты не ходишь, товарищ? Приглашать тебя надо? — строго спросил его однажды Мокров, новый секретарь ячейки. (Зворычного сменили за помощь Пухову в песчаных платформах.)

— Чего мне ходить,— я и из книг все узнаю! — разъяснял Пухов и думал о далеком Баку.

Через месяц пришел ответ от Шарикова.

«Ехай скорее,— писал Шариков,— на нефтяных приисках делов много, а мозговитых людей мало. Сволочь живет всюду, а не хватает прилежности убрать ее внутрь Советской России. Все ждут англичан,— что они нам шкворень выдернут. Пускай дергают, мы тогда на передке поедем. А мандата тебе выслать не могу — их секретарь составляет, у него и печать, а я его арестовал. Но ты ехай — харчи будут».

Прочитав текст письма, Пухов изучил штемпеля: действительно Баку, и лег спать, осчастливенный другом.

Уволили Пухова охотно и быстро, тем более что он для рабочих смутный человек. Не враг, но какой-то ветер, дующий мимо паруса революции.

9

Не все так хорошо доезжают до Баку, но Пухов доехал: он попал на порожнюю цистерну, гонимую из Москвы прямым и скорым сообщением в Баку.

Виды природы Пухова не удивили: каждый год случается одно и то же, а чувство уже деревенеет от усталой старости и не видит остроты разнообразия. Как почтовый чиновник, он не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвением сердца, который редко отворяют. А раньше вся природа была для него срочным известием.

За Ростовом летали ласточки — любимые птицы молодого Пухова, а теперь он думал: видел я вас, чертей, если бы иное что летало, а то старые птицы!

Так он и доехал до самого конца.

— Явился? — поднял глаза от служебных бумаг Шариков.

— Вот он! — обозначил себя Пухов и начал разговаривать по существу.

В тот год советский нефтяной промысел собирал к себе старых мастеровых, заблудившихся в темноте далеких родин и на проселках революции.

Каждый день приезжали буровые мастера, тартальщики, машинисты и прочий похожий друг на друга народ.

Несмотря на долгий голод, народ был свежий и окрепший, будто насыщенный прочной пищей.

Шариков теперь ведал нефтью — комиссар по вербовке рабочей силы. Вербовал он эту силу разумно и доверчиво. Приходил в канцелярию простой, сильный человек и обращался:

— Десять лет в Сураханах тартали, теперь опять на свою работу хочу!

— А где ты был в революционное время? — допрашивал Шариков.

— Как где? Здесь делать нечего было!..

— А где ты ряжку налопал? Дезертиром в пещере жил, а баба тебе творог носила.

— Что ты, товарищ! Я — красный партизан, здоровье на воздухе нажил!

Шариков в него всматривался. Тот стоял и смущался.

— Ну, нá тебе талон на вторую буровую, там спросишь Подшивалова, он все знает.

Пухов обсиживался в канцелярии и наблюдал. Его удивляло, отчего так много забот с этой нефтью, раз ее люди сами не делают, а берут готовой из грунта.

— Где насос, где черпак — вот и все дело! — рассказывал он Шарикову.— А ты тут целую подоплеку придумал!

— А как же иначе, чудак? Промысел — это, брат, надлежащее мероприятие,— ответил Шариков не своей речью.

«И этот, должно, на курсах обтесался,— подумал Пухов.— Не своим умом живет: скоро все на свете организовать начнет. Беда».

Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель — перекачивать нефть из скважины в нефтехранилище. Для Пухова это было самое милое дело: день и ночь вращается машина — умная, как живая, неустанная и верная, как сердце. Среди работы Пухов выходил иногда из помещения и созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли.

— Вари так и дальше! — сообщал вверх Пухов и слушал танцующую музыку своей напряженной машины.

Квартиры Пухов не имел, а спал на инструментальном ящике в машинном сарае. Шум машины ему совсем не мешал, когда ночью работал сменный машинист. Все равно на душе было тепло — от удобств душевного покоя не приобретешь; хорошие

же мысли приходят не в уюте, а от пересечки с людьми и событиями — и так дальше. Поэтому Пухов не нуждался в услугах для своей личности.

— Я — человек облегченного типа! — объяснял он тем, которые хотели его женить и водворить в брачную усадьбу.

А такие были: тогда социальная идеология была не развита и рабочий человек угощал себя выдумкой.

Иногда приезжал на автомобиле Шариков и глядел на буровые вышки, как на корабли. Кто из рабочих чего просил, он сейчас же давал.

— Товарищ Шариков, выпиши клок мануфактуры — баба приехала, оборвалась в деревне!

— На́, черт! Если спекульнешь — на волю пущу! Пролетариат — честный предмет! — И выписывал бумажку, стараясь так знаменито и фигурно расписаться, чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков — это интеллигентный человек!

Шли недели, пищи давали достаточно, и Пухов отъедался. Жалел он об одном, что немного постарел, нет чего-то нечаянного в душе, что бывало раньше.

Кругом шла, в сущности, хорошая, легкая жизнь, поэтому Пухов ее не замечал и не беспокоился. Кто такой Шариков?— Свой же друг. Чья нефть в земле и скважины?— Наши, мы их сделали. Что такое природа? — Добро для бедных людей. И так дальше. Больше не было тревоги и удручения от имущества и начальства.

Как-то приехал Шариков и говорил сразу Пухову, как будто всю дорогу думал об этом:

— Пухов, хочешь коммунистом сделаться?

— А что такое коммунист?

— Сволочь ты! Коммунист — это умный, научный человек, а буржуй — исторический дурак!

— Тогда не хочу.

— Почему не хочешь?

— Я — природный дурак! — объявил Пухов, потому что он знал особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления.

— Вот гад! — засмеялся Шариков и поехал начальствовать дальше.

Со дня прибытия в Баку Пухову стало навсегда хорошо. Вставал он рано, осматривал зарю, вышки, слушал гудок парохода и думал кое о чем. Иногда он вспоминал свою умершую от преждевременного износа жену и немного грустил, но напрасно.

Однажды он шел из Баку на промысел. Он заночевал у Шарикова. К тому брат из плена вернулся, и было угощение. Ночь

только что кончилась. Несмотря на бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ранний чистый час, и Пухов шагал, наливаясь какой-то прелестью. Гулко и долго гудел дальний нефтеперегонный завод, распуская ночную смену.

Весь свет переживал утро, и каждый человек знал про это происшествие: кто явно торжествуя, кто бурча от смутного сновидения.

Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция — как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как нарождение.

Во второй раз — после молодости — Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии.

Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза,— нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.

Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко превозмогая опустевшее счастливое тело.

Пухов сам не знал — не то он таял, не то рождался.

Свет и теплота утра напрягались над миром и постепенно превращались в силу человека.

В машинном сарае Пухова встретил машинист, ожидавший смены. Он слегка подремывал и каждую минуту терял себя в дебрях сна и возвращался оттуда.

Газ двигателя Пухов вобрал в себя, как благоухание, чувствуя свою жизнь во всю глубину — до сокровенного пульса.

— Хорошее утро! — сказал он машинисту.

Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:

— Революционное вполне.

ДЖАН *

1

Во двор Московского экономического института вышел молодой нерусский человек Назар Чагатаев. Он с удивлением осмотрелся кругом и опомнился от минувшего долгого времени. Здесь, по этому двору, он ходил несколько лет, и здесь прошла его юность, но он не жалеет о ней — он взошел теперь высоко, на гору своего ума, откуда виднее весь этот летний мир, нагретый вечерним отшумевшим солнцем.

По двору росла случайная трава, в углу стоял рундук для мусора, затем находился ветхий деревянный сарай, и около него жила одинокая старая яблоня без всякого участья человека. Вскоре после этого дерева лежал самородный камень весом пудов, наверно, в сто,— неизвестно откуда, и еще далее впилось в землю железное колесо от локомобиля девятнадцатого века.

Двор был пуст. Молодой человек сел на порог сарая и сосредоточился. Он получил в канцелярии института справку о защите дипломной работы, а самый диплом ему вышлют после по почте. Больше он сюда не вернется. Он втайне прощался со всеми здешними, мертвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми — сами по себе или посредством человека. Он обошел все ненужные дворовые вещи и потрогал их рукою; он хотел почему-то, чтобы предметы запомнили его и полюбили. Но сам в это не верил. По детскому воспоминанию он знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты с ним еще связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную счастливую жизнь, а ты был им чужой, одинок в своем чувстве и теперь стоишь перед ними жалким неизвестным существом.

За сараем рос старый сад. Там сейчас ставили столы, проводили временный свет и делали разное убранство. Директор института назначал сегодня вечернее торжество для второго выпуска советских экономистов и инженеров. Со двора своего училища Назар Чагатаев пошел в общежитие, чтобы отдохнуть и переодеться для вечера. Он лег на свою кровать и нечаянно уснул — с тем ощущением внезапного телесного счастья, которое бывает лишь в молодости.

---

* Д ж а н — душа, которая ищет счастье (туркменское народное поверье) *(примеч. автора)*.

Позже, во время темного вечера, Чагатаев снова пришел в сад экономического института. Он надел свой хороший серый костюм, сбереженный в долгие студенческие годы, и побрился перед ручным девичьим зеркалом. Все его имущество лежало под подушкой и в тумбочке около кровати. Чагатаев, уходя на вечер, с сожалением поглядел во внутреннюю тьму своего шкафа; скоро он забудет его, и запах одежды и тела Чагатаева навсегда исчезнет из этого деревянного ящика.

В общежитии жили студенты других вузов, поэтому Чагатаев отправился один. В саду играл оркестр, приглашенный из кинотеатра, столы были составлены в одну длинную очередь, и над ними горели прожекторные лампы, подвешенные электриками на времянках между деревьями. Пустая летняя ночь стояла над головами собравшихся на свое торжество, на свое последнее свидание, и вся прелесть той ночи была в открытом и теплом пространстве, в тишине неба и растений.

Музыка играла. Молодые люди сидели за столами, готовые разойтись отсюда по окружающей земле, чтобы устроить себе там счастье. Скрипка музыканта иногда замирала, как удаленный, слабеющий голос.

Чагатаеву казалось, что это плачет человек за горизонтом,— может быть, в той, никому не знакомой стране, где он когда-то родился, где теперь живет или умерла его мать.

— Гюльчатай! — сказал он вслух.

— Что такое? — спросила его соседка, технолог.

— Ничего не значит,— объяснил Чагатаев.— Гюльчатай — моя мать, горный цветок. Людей называют, когда они маленькие и похожи на все хорошее...

Скрипка играла снова, ее голос не только жаловался, но и звал — уйти и не вернуться, потому что музыка всегда играет ради победы, даже когда она печальная.

Вскоре начались танцы, игры, обычное торжество молодости. Чагатаев глядел на людей и в ночную природу; ему еще долго предстояло здесь находиться, может быть, вечно, бороться с мученьем, работать и быть счастливым.

Против Чагатаева сидела неизвестная ему юная женщина, с глазами, блестевшими черным светом, в синем платье, надетом высоко, до подбородка, как на старухе, что ей придавало неудобный и милый вид. Она не танцевала, стесняясь или не умея, и с увлечением глядела на Чагатаева. Ей нравилось его смуглое лицо с узкими чистыми глазами, направленными на нее в упор с добром и угрюмостью, его широкая грудь, скрывающая сердце с тайными чувствами, и мягкий, немощный рот, способный плакать и смеяться. Она не скрывала своей симпатии и улыбнулась Чагатаеву; он ей ничем не ответил. Общее веселье все более увеличивалось. Студенты — экономисты, плановики и инженеры — брали со столов цветы, рвали траву в саду и делали из них своим подругам подарки или прямо посыпали им рас-

тения на их густые волосы. Затем появилось конфетти, и оно тоже пошло в дело удовольствия. Женщина, сидевшая против Чагатаева, исчезла — она танцевала теперь на садовой тропинке, обсыпанная разноцветными бумажками, и была довольна.

Другие женщины, оставшиеся за столом, тоже были счастливы от внимания своих друзей, от окружавшей их природы и от предчувствия своего будущего, равного по долготе и надеждам бессмертию. Лишь одна между ними была без цветов и конфетти на голове; к ней никто не склонялся с шутливыми словами; и она жалко улыбалась, чтобы показать, что принимает участие в общем празднике и ей здесь приятно и весело. Глаза же ее были грустны и терпеливы, как у большого [рабочего животного]*. Иногда она чутко глядела по сторонам и, убедившись, что никому не нужна, быстро собирала со стульев соседей упавшие цветы и красочные бумажки и прятала их незаметно. Чагатаев изредка видел ее действия, но понять не мог; ему уже стало скучно от долгого одинакового торжества, и он собирался уйти отсюда. Женщина, собиравшая цветы, павшие с других людей, тоже ушла куда-то — время вечера вышло, звезды стали большими, начиналась ночь. Чагатаев встал с места и поклонился ближним товарищам — он не скоро с ними увидится.

Чагатаев пошел мимо деревьев и заметил ту женщину с [лошадиным] лицом, спрятавшуюся в тени; она его не видела, она сейчас накладывала себе на волосы цветы и ленты, потом она вышла из-за деревьев опять к освещенному столу. Чагатаев сейчас же возвратился туда: он хотел немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы, но женщина была теперь счастливая, смеющаяся, с розой в темных волосах, хотя глаза ее были заплаканы. Чагатаев остался в саду; он подошел к ней и познакомился; она оказалась студенткой-дипломницей химического института. Он ее пригласил танцевать, хотя сам не умел, но она танцевала отлично и вела его в такт музыке, как нужно. Глаза ее быстро высохли, лицо похорошело, и тело, привыкшее к дикой робости, теперь с доверием прижималось к нему, полное поздней девственности, пахнущее добрым теплом, как хлеб. Чагатаев забылся около нее, сон и счастье исходили от этой чужой женщины, с которой он, вероятно, не встретится более; так часто живет рядом с нами незаметное блаженство.

Свидание и веселье продолжалось до света на небе; затем сад опустел, осталась мертвая утварь, все разошлись, Чагатаев и его новая подруга Вера пошли по Москве, освещенной зарею. Чужеземец Чагатаев любил этот город, как родину, и был благодарен, что он здесь долго жил, узнал науку и съел много хле-

* Здесь и далее в квадратных скобках отмечены места, где правка автором не завершена.— *Ред.*

ба без попрека. Он посмотрел на свою спутницу — ее лицо стало красивым от встающего вдалеке солнца.

Прошло время, небо стало высоким и чистым, напряженное солнце беспрерывно посылало свое добро земле — свет. Вера шла молча. Чагатаев изредка всматривался в нее и удивлялся, почему она кажется всем нехорошей, когда даже скромное молчание ее напоминает безмолвие травы, верность привычного друга. Ведь это только издали можно ненавидеть ее, отрицать или быть вообще равнодушным к человеку. Но когда Чагатаев видел теперь вблизи морщины утомления на ее щеках, выражение лица, прячущего ее желания, глаза, хранимые веками, опухшие губы — все таинственное воодушевление этой женщины, скрытое в ее живом веществе, все доброе и сильное создание ее тела, то он робел от нежности к ней и не мог бы ничего сделать против нее, и ему даже стыдно было думать о том, красива она или нет.

— Я уморилась, мы ведь не спали,— сказала Вера,— давайте прощаться.

— Ничего,— ответил Чагатаев.— Я скоро уезжаю, давайте немного побудем.

Они еще пошли вперед, миновали долгие улицы и где-то остановились.

— Здесь я живу,— указала Вера на новое большое жилище.

— Пойдемте к вам. Вы ляжете отдыхать, а я посижу около вас и потом уйду.

Вера стояла в смущении.

— Ну, хорошо,— сказала она и повела гостя.

У нее была большая комната с обычной мебелью девушки, но эта комната была какой-то грустной, занавешенной шторами, скучной и почти пустой.

Вера сняла летний плащ, и Чагатаев заметил, что она полнее, чем кажется. Затем Вера стала рыться в своих хозяйственных закоулках, чтобы покормить гостя, а Чагатаев засмотрелся на старинную двойную картину, висевшую над кроватью этой девушки. Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо — близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет — по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз,— голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли.

Но Чагатаеву, как больному, ничто теперь стало немило и неинтересно. С оробевшим сердцем он обнял Веру, склонившуюся близ него по своему хозяйскому делу, и прижал ее к себе с силой и осторожностью, будто желая как можно ближе приникнуть к ней, чтобы согреться и успокоиться. Вера сразу поняла его и не оттолкнула. Она выпрямилась, склонила его голову ниже своей и стала ласкать его черные жесткие волосы, а сама глядела в сторону, отстраняя лицо, но все же слезы ее изредка падали на голову Чагатаева и там высыхали. Вера плакала бесшумно, одними слезами, бегущими из глаз, стараясь не менять выражения лица, чтобы не всхлипывать. Чагатаев услышал ее, однако ему было все равно, что сейчас случается, и он бы не мог теперь никому помочь.

— Я ведь беременная,— сказала Вера.

— Пусть! — ответил Чагатаев, прощая ей все, храбрый в сердце, как обреченный на смерть.

— Нет! — печально говорила Вера, закрываясь концом рукава, чтобы высушить слезы и скрыть свое некрасивое лицо, о котором она помнила даже во сне.— Нет. Я ничего не могу.

Чагатаев оставил ее. Ему ненужно было обязательно утешать себя яростным наслаждением с Верой, чтобы иметь счастье. Достаточно быть с нею вблизи, держать ее руку и спросить, почему она плачет — от горя или оскорбления.

— У меня недавно умер мой муж,— сказала Вера.— А мертвого, вы знаете, как трудно забыть. И ребенок, когда родится, он не увидит отца, а одной матери ему мало будет... Ведь правда, мало?

— Мало,— согласился Чагатаев.— Теперь я буду его отцом.

Он обнял ее, и они уснули в светлое время дня, и шум строящейся Москвы, бурение недр, ссоры населения на уличном транспорте — все умолкло в их ушах; они лишь друг друга держали руками, и каждый из них слушал сквозь сон глухое, кроткое дыхание другого.

Под вечер, незадолго до окончания занятий в учреждениях, они зарегистрировались в ближнем загсе. Они стояли между двумя букетами цветов; заведующий загсом поздравил их краткой речью, предложил поцеловаться в знак пожизненной верности и посоветовал иметь много детей, чтобы революционное поколение распространилось на вечные времена. Чагатаев дважды поцеловал Веру и дружески попрощался с заведующим, думая о том, что хорошо было бы, если бы и он поцеловал Веру, а не ограничился служебной необходимостью.

С тех пор Чагатаев каждый день приходил по вечерам в гости к Вере, когда она уже ждала его и радовалась его приходу. Они сразу же обнимались, причем Чагатаев обращался с Верой крайне осторожно, храня в ней ребенка от погибшего отца. Затем они шли гулять, как все люди обычно, под руку по улице, осматривали внимательно витрины, точно готовясь многое

приобрести, следили за небом, где были свои происшествия, и не забывали ничего из окружающих их, беспрерывно текучих событий, как будто сердце во время любви настолько тяжело, что его надо все время развлекать пустяками, чтоб оно не чувствовало своей работы.

Но Чагатаев еще не был настоящим мужем Веры, она все время отклоняла его сожительство — с нежностью и страхом, чтобы не обидеть его и не отдаться ему. Она словно боялась погубить в страсти свое бедное утешение, которое явилось внезапно и странно; или она просто хитрила, расчетливо и разумно, желая иметь в своем муже неостывающую теплоту, чтобы самой согреваться в ней долго и надежно. Однако Чагатаев не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной и бесчеловечной привязанности, и он вскоре заплакал над нею, когда она лежала на кровати, по виду беспомощная, но улыбающаяся и непобедимая.

Чагатаев не умел терпеть силу своей жизни, он знал ее невинность и доброту, поэтому его оскорбляла чужая недоступность, и он терял память и соображение. Еще в детстве он также топал босыми ногами в землю, обливался слезами от безутешного неистовства и грозился прохожим, когда видел еду за толстым стеклом и не мог ее немедленно съесть.

2

Лето продолжалось. От жары тлели торфяные болота вокруг Москвы, и по вечерам в воздухе стояла гарь, смешанная с теплым парующим духом удаленных колхозов и полей, точно всюду в природе готовили пищу на ужин. Чагатаев проводил с Верой последние дни: он получил назначение на работу; ему нужно было уезжать на родину, в середину азиатской пустыни, где жила или уже давно умерла его мать. Чагатаев пропал оттуда мальчиком пятнадцать лет тому назад. Старая мать его, туркменка Гюльчатай, надела ему шапку-папаху, положила в сумку кусок старого чурека и еще добавила лепешку, испеченную из растертых корней камыша, катрана и ярмалыка, затем дала тростинку в руку, чтобы вместо старшего друга шло растение рядом, и велела идти.

— Ступай, Назар,— сказала она, не желая видеть его мертвым рядом с собой.— Если узнаешь отца своего, ты к нему не подходи. Увидишь базары и богатство, в Куня-Ургенче, в Ташаузе, Хиве — ты туда не иди, ступай мимо всех, иди далеко к чужим. Пусть отец твой будет незнакомым человеком.

Маленький Назар не хотел уходить от матери. Он ей говорил, что привык умирать и больше не боится, что он мало будет есть. Но мать прогоняла его.

— Нет,— говорила она.— Я уже так слаба, что любить тебя не могу, живи теперь один. Я забуду тебя.

Назар заплакал около матери. Он обнял одну ее худую холодную ногу и долго стоял, впившись в ослабевшее привычное тело; небольшое сердце его стало тогда больным, оно сразу вдруг утомилось и билось тяжело, как намокшее. Мальчик сел в пыль земли и сказал матери:

— Я тоже тебя забуду, я тоже тебя не люблю. Вы маленького человека кормить не можете, а когда умрете, то никого у вас не будет.

Он лег лицом вниз и заснул в сырости слез и своего дыхания. Проснулся Назар в пустом месте. Мать ушла, с пустыни шел ничтожный чужой ветер — без всякого запаха и без живого звука. Некоторое время мальчик сидел смирно, он ел материнский чурек, оглядывался и думал ту мысль, которую теперь с возрастом забыл. Перед ним была земля, где он родился и захотел жить. Та детская страна находилась в черной тени, где кончается пустыня; там пустыня опускает свою землю в глубокую впадину, будто готовя себе погребение, и плоские горы, изглоданные сухим ветром, загораживают то низкое место от небесного света, покрывая родину Чагатаева тьмою и тишиной. Лишь поздний свет доходит туда и освещает грустным сумраком редкие травы на бледной засоленной земле, будто на ней высохли слезы, но горе ее не прошло.

Назар стоял на краю темной земли, павшей вниз; далее начиналась песчаная пустыня, более счастливая и светлая, и среди песчаных покойных бугров даже в тихое время, в тот исчезнувший детский день, ютился мелкий ветер, бредущий и плачущий, изгнанный издалека. Мальчик прислушался к этому ветру и повел глазами за ним, чтобы увидеть его и быть с ним вдвоем, но не увидел ничего, и тогда он закричал. Ветер пропал от него, никто не отозвался. Вдалеке наступала ночь; на темную низкую землю, откуда вывела его мать, уже легла тень, и лишь курился белый дым из кибиток и землянок, где прежде жил ребенок. Назар в недоумении попробовал свои ноги и тело: есть ли он на свете, раз его никто теперь не помнит и не любит; ему нечего стало думать, будто он жил от силы и желания других близких людей, а сейчас их нет, и они прогнали его... Шершавый куст — бродяга, по-русски — перекати-поле, без ветра склонялся и перекатывался по песку, уходя отсюда мимо. Куст был пыльный, усталый, еле живой от труда своей жизни и движения; он не имел никого — ни родных, ни близких, и всегда удалялся прочь. Назар потрогал его ладонью и сказал ему: «Я пойду с тобою, одному мне скучно,— ты думай про меня что-нибудь, а я буду про тебя. А с ними я жить не хочу, они мне не велели, пускай сами умрут!» И он погрозил тростниковой палкой на родину и забывшей его матери.

Назар пошел за кустом перекати-поля и шел до самой тьмы. Во тьме он лег и уснул от слабости, трогая куст рукой, чтоб он остался с ним. Наутро он проснулся и сразу испугался, что

нет с ним куста: он укатился один ночью. Назар хотел заплакать, но увидел, что куст шевелился сейчас на верху ближнего песчаного холма, и мальчик догнал его.

Родина и мать давно скрылись — пусть их забудет его сердце, пока оно растет. В тот день бредущий куст довел Назара до овечьего пастуха, и пастух напоил мальчика и накормил, а куст его привязал к палке, чтобы он тоже отдохнул. Долгое время Назар ходил с пастухом и жил у него, пока не выпал снег, тогда хозяин отпустил пастуха по делам в Чарджуй, потому что пастух стал слепнуть, и пастух отправился с мальчиком, а в городе отдал его советской власти, как не нужного никому. Советская власть всегда собирает всех ненужных и забытых, подобно многодетной вдовице, которой ничего не сделает один лишний рот.

Теперь прошли многие годы, но ничто не было забыто, и потерянная мать была такой же любимой, и для воспоминания о ней всегда будет одинокая сила в сердце, точно детство не прекратилось. Отца своего Чагатаев никогда не знал. Русский солдат Хивинских экспедиционных войск Иван Чагатаев пропал прежде, чем родила Гюльчатай, бывшая тогда молодой женой Кочмата, от которого она уже имела двоих маленьких детей; но дети от Кочмата умерли, когда Назар был в младенчестве, о них только говорила ему мать впоследствии, что они жили когда-то. Кочмат же был беден и гораздо старше своей жены; он жил тем, что ходил на байские земли в Куня-Ургенч и в Ташауз — работать на хошарах, чтобы хоть в летнее время питать семейство хлебом. А в зимнее время он почти беспрерывно спал в землянке, вырытой у подножья Усть-Урта. Он берег свою неимущую силу, и Гюльчатай лежала с ним под одною кошмой; она тоже грелась и дремала в долгие зимы, чтобы меньше есть, а между ними лежали их дети, когда они были живы. Изредка Гюльчатай выходила, добывала траву на пищу или шла наниматься батрачкой в Хиву... Однажды в Хиве она не нашла работы; была в то время зима, богатые пили чай и ели баранину, а бедные ждали тепла и роста растений. Гюльчатай ютилась на базаре, ела кое-что, что оставалось на земле от торговцев, но побираться стыдилась людей. На том хивинском базаре ее заметил солдат Иван Чагатаев и стал приносить ей каждый день казенную пищу в котелке. Гюльчатай ела солдатский суп с говядиной на вечернем пустом базаре, а солдат понемногу касался ее и затем обнимал. Но женщине совестно было в ответ на угощение отвергать человека: она молчала и не сопротивлялась. Она думала, чем отблагодарить русского, и не было у нее ничего, кроме того, что выросло от природы.

— Отчего у тебя слезы на глазах? — спросила Вера у Чагатаева в день его отъезда на родину.

— Я вспомнил свою мать, как она улыбалась мне, когда я был маленьким.

— Но как же?

Чагатаев затруднился.

— Не помню... Она мне радовалась и оплакивала меня,— теперь люди так не улыбаются. У ней слезы лились по счастливому лицу.

Мать говорила Назару, что муж ее, Кочмат, когда узнал, что Назар — сын русского солдата, а не его, то он не ударил ее и не сделался яростным, а только стал скучным и чуждым для всех. Он ушел отдельно вдаль и там один отдышался от своей печали; потом он вернулся и любил Гюльчатай по-прежнему.

Назар Чагатаев пошел гулять с Верой в последний раз. Вечером его поезд уйдет в Азию. Вера уже собрала его в дальнюю дорогу: заштопала чулки, пришила нужные пуговицы, сама выгладила белье и несколько раз перепробовала и проверила все вещи, лаская их и завидуя им, что они поедут вместе с ее мужем.

На улице Вера попросила Чагатаева зайти с нею к знакомым. Может быть, через полчаса он навсегда перестанет любить ее.

Они вошли в большую квартиру. Вера познакомила мужа с пожилой женщиной и спросила:

— Что Ксеня — дома или еще где-нибудь?

— Дома, дома, она только что пришла,— сказала хозяйка.

В просторной неубранной комнате сидела черноволосая девочка лет тринадцати или пятнадцати. Она читала книжку и вертела конец своей косы в руке.

— Мама! — И девочка обрадовалась пришедшей матери.

— Здравствуй, Ксеня! — сказала Вера.— Это моя дочь,— познакомила она девочку с Чагатаевым.

Чагатаев пожал странную руку, детскую и женскую; рука была липкая и нечистая, потому что дети не сразу приучаются к чистоте.

Ксеня улыбалась. Она не походила на мать — у нее было правильное лицо юноши, немного грустное от стыда и непривычки жить и бледное от усталости роста. Глаза ее имели разный цвет — один черный, другой голубой, что придавало всему выражению лица кроткое, беспомощное значение, точно Чагатаев видел жалкое и нежное уродство. Лишь рот портил Ксеню — он уже разрастался, губы полнели, словно постоянно жаждали пить, и было похоже, что сквозь невинное безмолвие кожи пробивалось наружу сильное разрушительное растение.

Все молчали от неопределенного положения, хотя Ксеня уже догадывалась про все.

— Вы здесь живете? — спросил пустяковое дело Чагатаев.

— Да, у матери моего папы,— сказала Ксеня.

— А где папа, он умер?

Вера была в стороне, она глядела в окно, на Москву.

Ксеня засмеялась.

— Нет, что вы! Мой папа молодой, он живет на Дальнем Востоке и строит мосты. Два уже построил!

— Большие мосты? — спросил Чагатаев.

— Большие: один висячий, другой с двумя опорными быками и потерянными кессонами. Они скрылись навсегда, они потерялись! — радостно сказала Ксеня.— У меня фотографии из газеты есть!

— Папа вас любит?

— Нет, он любит незнакомых, он нас с мамой любить не хочет.

Они говорили еще, в сердце Чагатаева было неясное сожаление — он сидел с легким, грустным чувством, как во сне и путешествии. Забывая обыкновенную жизнь, он взял руку Ксени к себе и стал держать ее, не разлучаясь.

Ксеня сидела со страхом и удивлением, разноцветные глаза ее смотрели мучительно, как двое близких и незнакомых между собой людей. Ее мать, Вера, стояла в отдалении, молча улыбаясь дочери и мужу.

— Тебе не пора собираться на вокзал? — спросила она.

— Нет, я не поеду сегодня,— сказал Чагатаев. Он скреб башмаками по полу, борясь с нетерпением своей души перед этой девочкой. Ему было, кроме того, стыдно, что его состояние Вера и Ксеня могут принять за жестокую мужскую любовь; он же чувствовал перед Ксеней лишь привязанность, полную смутного наслаждения, человеческого родства и заботы о ее лучшей судьбе. Он хотел бы быть для нее берегущей силой, отцом и вечной памятью в ее душе.

Извинившись, Чагатаев вышел на полчаса, купил в Мосторге различных вещей на триста рублей и принес их в подарок Ксении, если бы он не сделал этого, то сожалел бы многие дни.

Ксеня обрадовалась подаркам, а мать ее нет.

— У Ксени всего два платья, и последняя обувь развалилась,— сказала Вера.— Отец ведь ничего не присылает, а я работаю недавно... Зачем ты накупил этих пустяков, на что девочке дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало?..

— Ну, мама, пускай, ничего! — говорила Ксеня.— Платье мне бесплатно в детском театре дадут, я там активистка, а в отряде скоро горные башмаки начнут распределять, мне обуви не надо. Пусть будет сумка и покрывало.

— Все-таки напрасно,— сетовала Вера.— И ему самому нужны деньги, он едет далеко.

— Мне хватит,— сказал Чагатаев. Он вынул еще четыреста рублей и оставил их на пропитание Ксени.

Девочка подошла к нему. Она поблагодарила Чагатаева, протянув ему руку, и сказала:

— Я вам тоже скоро буду давать подарки. Скоро наступит богатство!

Чагатаев поцеловал ее и попрощался.

— Назар, ты больше не любишь меня? — спросила Вера на улице.— Пойдем разведемся, пока ты не уехал... Ты видел — Ксеня моя дочь, ты ведь у меня третий, и мне тридцать четыре года.

Вера умолкла. Назар Чагатаев удивился:

— Почему я тебя не люблю? А ты любила других мужей?

— Я любила. Второй умер, и я по нем и теперь плачу одна. А первый оставил меня с девочкой сам, я его тоже любила и была верна... И мне пришлось долго жить без человека, ходить по веселым вечерам и бумажные цветы самой класть себе на голову...

— Но почему я тебя не люблю?

— Ты любишь Ксеню, я знаю... Ей будет восемнадцать лет, а тебе тридцать, может, немного больше. Вы поженитесь, а я вас посватаю. Ты только не лги мне и не волнуйся, я привыкла терять людей.

Чагатаев остановился перед этой женщиной, как непонимающий. Ему было странно не ее горе, а то, что она верила в свое обреченное одиночество, хотя он женился на ней и разделил ее участь. Она берегла свое горе и не спешила его растратить. Значит, в глубине рассудка среди самого сердца человека находится его враждебная сила, от которой могут померкнуть живые сияющие глаза среди лета жизни, в объятиях преданных рук, даже под поцелуями своих детей.

— Поэтому ты со мной и не жила? — спросил Чагатаев.

— Да, поэтому. Ты ведь не знал, что у меня есть такая дочь, ты думал — я моложе и чище...

— Ну и что ж! Мне это безразлично...

— Нет, скажи: ты сейчас влюбился в Ксеню? Я заметила.

— Влюбился,— ответил Чагатаев,— я не вытерпел.

Они молча дошли до комнаты Веры. Она стала среди своего жилища, не снимая плаща, равнодушная и чужая для собственных окружающих предметов. Если бы был сейчас внезапный случай, она подарила бы всю свою утварь соседке; это доброе дело немного утешило бы ее и вместе с уменьшением имущества уменьшило бы размер ее страдающей души.

Но затем ей пришлось бы раздать свое тело до последнего остатка; однако и этот последний остаток мучился бы с тою же силой, как все тело вместе с одеждой, инвентарем и удобствами, и его также нужно было бы отдать, чтоб уничтожить и забыть.

Отчаяние, тоска и нужда могут сжиматься в человеке вплоть до его последней щели: лишь предсмертное дыхание выносит их вон.

— Ну, как же мне быть теперь? — спросила Вера, произнося эти слова для себя.

Чагатаев понимал Веру. Он обнял ее и долго держал близ груди, чтобы успокоить ее хотя бы своим теплом, потому что мнимое страданье наиболее безутешно и слову не поддается.

Вера начала отходить от горя.

— Ксеня тебя тоже полюбит... Я воспитаю ее, внушу ей память о тебе, сделаю из тебя героя. Ты надейся, Назар,— годы пройдут быстро, а я привыкну к разлуке.

— Зачем привыкать к худому? — сказал Чагатаев; он не мог понять, почему счастье кажется всем невероятным и люди стремятся прельщать друг друга лишь грустью.

Чагатаеву горе надоело с детства, а теперь, когда он стал образованным, ему оно представлялось пошлостью, и он решил устроить на родине счастливый мир блаженства, а больше неизвестно, что делать в жизни.

— Ничего,— сказал Чагатаев и погладил Вере ее большой живот, где лежал ребенок, житель будущего счастья.— Рожай его скорее, он будет рад.

— А может, нет,— сомневалась Вера.— Может, он будет вечный страдалец.

— Мы больше не допустим несчастья,— ответил Чагатаев.

— Кто такие вы?

— Мы,— тихо и неопределенно подтвердил Чагатаев. Он почему-то стыдился говорить ясно и слегка покраснел, словно тайная мысль его была нехороша.

Вера обняла его на прощанье — она следила за часами, разлука подходила близко.

— Я знаю, ты будешь счастлив, у тебя чистое сердце. Возьми тогда к себе мою Ксеню.

Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем; ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид, точно Вера глядела издалека чужими глазами.

3

Поезд давно покинул Москву; прошло уже несколько суток езды. Чагатаев стоял у окна, он узнавал те места, где он ходил в детстве, или они были другие, но похожие в точности. Такая же земля, пустынная и старческая, дует тот же детский ветер, шевеля скулящие былинки, и пространство просторно и скучно, как унылая чуждая душа; Чагатаеву хотелось иногда выйти из поезда и пойти пешком, подобно оставленному всеми ребенку. Но детство и старое время давно прошло. Он видел на степных маленьких станциях портреты вождей; часто эти портреты были самодельными и приклеены где-нибудь к забору. Портреты, вероятно, мало походили на тех, кого они изображали, но их рисовала, может быть, детская пионерская рука и верное чувство:

один походил на старика, на доброго отца всех безродных людей на земле; однако художник, не думая, старался сделать лицо похожим и на себя, чтобы видно было, что он теперь живет не один на свете и у него есть отцовство и родство,— поэтому искусство становилось сильнее неумелости. И сейчас же за такой станцией можно видеть, как разные люди рыли землю, сажали что-то или строили, чтобы приготовить место жизни и приют для бесприютных. Порожних, нелюдимых станций, где можно жить лишь в изгнании, Чагатаев не видел; везде человек работал, отходя сердцем от векового отчаяния, от безотцовщины и всеобщего злобного беспамятства.

Чагатаев вспомнил материнские слова: «Иди далеко, к чужим, пусть отец твой будет незнакомым человеком». Он ходил далеко и теперь возвращается, он нашел отца в чужом человеке, который вырастил его, расширил в нем сердце и теперь посылает снова домой, чтобы найти и спасти мать, если она жива, похоронить ее, если она лежит брошенной и мертвой на лице земли.

В одну ночь поезд остановился по неожиданному случаю в темной степи. Чагатаев вышел к двери в тамбур вагона. Было тихо, вдали сопел паровоз, пассажиры спали в покое. Вдруг в степной темноте вскрикнула одна птичка, ее что-то напугало. Чагатаев вспомнил этот голос через многие годы, как будто его детство жалобно прокричало из безмолвной тьмы. Он прислушался; еще какая-то птица что-то быстро проговорила и умолкла, он тоже помнил ее голос, но сейчас забыл ее имя: может быть, пустынная славка, может быть, пустельга. Чагатаев вышел из вагона. Невдалеке он заметил кустарник и, дойдя до него, взял его за ветвь и сказал ему: «Здравствуй, куян-суюк!» Куян-суюк слегка пошевелился от прикосновения человека и опять остался как был — равнодушный и спящий.

Чагатаев отошел еще дальше. В степи что-то шевелилось и покрикивало, она казалась бесшумной лишь для отвыкших ушей. Земля стала опускаться в низину, началась синяя высокая трава. Чагатаев, с интересом воспоминания, вошел в траву; растения дрожали вокруг него, колеблемые снизу, разные невидимые существа бежали от него прочь — кто на животе, кто на ножках, кто низким полетом — что у кого имелось. Они, наверно, сидели до того неслышно, но спали из них лишь некоторые, далеко не все. У всякого было столько заботы, что дня, видимо, им не хватало, или им жалко было тратить краткую жизнь на сон, и они только чуть дремали, опустив пленку на полглаза, чтобы видеть хоть полжизни, слышать тьму и не помнить дневной нужды.

Забыв свое дело, Чагатаев почувствовал запах влаги; где-то вблизи было озеро или колодезь. Он направился туда и вскоре вошел в какую-то небольшую, влажно растущую траву, похожую на маленькую русскую рощу. Глаза Чагатаева притерпе-

лись ко мраку, он видел теперь ясно. Затем начался камыш; когда Чагатаев вошел в него, то сразу закричали, полетели и заерзали на месте все здешние жители. В камышах было тепло. Животные и птицы не все исчезли от страха перед человеком, некоторые, судя по звукам и голосам, остались, где были. Они испугались настолько, что, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться. Чагатаев знал эти звуки издавна и теперь слушая томительные, слабые голоса из теплой травы, сочувствовал всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости.

Поезд неслышно поехал. Чагатаев мог бы его догнать, но не поторопился; уехал лишь чемодан с бельем, и то его можно получить обратно в Ташкенте. Но Чагатаев решил его не получать, чтобы спешить по своему делу и не отвлекаться. Он уснул в траве, среди спокойствия, прижавшись к земле, как прежде.

Через семь дней Чагатаев дошел до Ташкента ближней пешей дорогой. Он явился в Центральный комитет партии, где его уже давно ожидали. Секретарь комитета сказал Чагатаеву, что где-то в районе Сары-Камыша, Усть-Урта и дельты Амударьи блуждает и бедствует небольшой кочевой народ из разных национальностей. В нем есть туркмены, каракалпаки, немного узбеков, казахи, персы, курды, белуджи и позабывшие, кто они. Раньше этот народ почти постоянно жил во впадине Сары-Камыша, откуда он ходил работать на хошары и на чигири в Хивинский оазис, в Ташауз, в Ходжейли, Куня-Ургенч и другие дальние места. Бедность и отчаяние того народа были настолько велики, что он о земляной хошарной работе, которая продолжалась лишь несколько недель в году, думал как о благе, потому что ему давали в эти дни есть хлебные лепешки и даже рис. На чигирях тот народ работал вместо ослов, двигая своим телом деревянное водило, чтобы подымалась в арык вода. Осла надо кормить круглый год, а рабочий народ из Сары-Камыша ел лишь немного времени, а потом уходил вон. И целиком не умирал и на другой год снова возвращался, протомившись где-то на дне пустыни.

— Я знаю этот народ, я там родился,— сказал Чагатаев.

— Поэтому тебя и посылают туда,— объяснил секретарь.— Как назывался этот народ, ты не помнишь?

— Он не назывался,— ответил Чагатаев.— Но сам себе он дал маленькое имя.

— Какое его имя?

— Джан. Это означает душу или милую жизнь. У народа ничего не было, кроме души и милой жизни, которую ему дали женщины-матери, потому что они его родили.

Секретарь нахмурился и сделался опечаленным.

— Значит, все его имущество — одно сердце в груди, и то когда оно бьется...

— Одно сердце,— согласился Чагатаев,— одна только жизнь;

за краем тела ничего ему не принадлежит. Но и жизнь была не его, ему она только казалась.

— Тебе мать говорила, что такое джан?

— Говорила. Беглецы и сироты отовсюду и старые, изнемогшие рабы, которых прогнали. Потом были женщины, изменившие мужьям и попавшие туда от страха, приходили навсегда девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они не захотели никого другого в мужья. И еще там жили люди, не знающие бога, насмешники над миром, преступники... Но я не помню всех — я был маленький.

— Езжай туда теперь. Найди этот потерянный народ — Сары-Камышская впадина пуста.

— Я поеду,— согласился Чагатаев.— Что мне там делать? Социализм?

— Чего же больше? — произнес секретарь.— В аду твой народ уже был, пусть поживет в раю, а мы ему поможем всей нашей силой... Ты будешь нашим уполномоченным. Туда послали кого-то из района, но едва ли он что сделает там: кажется, не наш человек...

Затем секретарь дал Чагатаеву подробные, тщательные инструкции, командировочную бумагу, и Чагатаев попрощался.

Он задумал плыть на родину вниз по Амударье, сев около Чарджуя в каюк.

На ташкентской почте он получил письмо от Веры. Она писала, что ребенок ее приближается на свет, он уже думает что-то внутри ее тела, потому что часто шевелится и бывает недоволен.

«Но я ласкаю его, я глажу свой живот и, согнувшись лицом ближе к нему,— писала Вера,— говорю: «Чего ты хочешь? Тебе там тепло и тихо, я стараюсь мало двигаться, чтобы ты не раздражался,— зачем ты хочешь уйти из меня?..» Я привыкла к нему, все время живу с ним как с другом, как хотела жить с тобой, и рождения его я боюсь — не потому, что мне будет больно, а потому, что это будет начало разлуки с ним навек, и его ножки, которыми он сейчас стучит, спешат уйти от матери, и они будут уходить все дальше и дальше — по мере его жизни, пока мой сын не скроется совсем от меня, от моих заплаканных глаз... Ксеня тебя помнит, но скучает, что ты далеко, не скоро приедешь, даже ничего не известно. Не умер ли ты уже где-то?»

Чагатаев послал Вере открытку, что он целует ее и Ксеню — в ее разноцветные глаза, и пройдет недолго, как он приедет, когда он сделает счастье среди одной земли.

4

Из Чарджуя в Нукус собирались идти с кооперативными товарами четыре каюка. Чагатаев не стал пользоваться своим правом командированного человека, потому что это право слабо признавалось, а нанялся быть помощником речного матроса.

Он условился идти до Хивинского оазиса, а там сойдет на берег.

Наступили долгие дни плавания. Утром и вечером река превращалась в золотой поток благодаря косому свету солнца, проницающему воду сквозь ее живой, несущийся ил. Эта желтая земля, путешествующая в реке, заранее была похожа на хлеб, цветы и хлопок и даже на тело человека. Иногда на камышовой вершине сидела разноцветная незнакомая птичка, она вертелась от внутреннего волнения, блестела перьями под живым солнцем и пела что-то сияющим тонким голосом, будто уже наступило блаженство для всех существ. Птица напоминала Чагатаеву про Ксеню, маленькую женщину с цветными глазами, думающую что-нибудь сейчас про него.

Через четырнадцать суток Чагатаев сошел на берег Хивинского оазиса, получив расчет и благодарность от старшего матроса.

Побыв несколько дней в Хиве, Чагатаев пошел на родину, в Сары-Камыш, дорогой детства. Он помнил эту дорогу по слабевшим признакам: песчаные холмы теперь казались ниже, канал более мелким, путь до ближайшего колодца короче. Солнце светило такое же, но менее высоко, чем в то время, когда Чагатаев был маленьким. Курганчи, кибитки, встречные ослы и верблюды, деревья по арыкам, летающие насекомые — все было прежнее и неизменное, но равнодушное к Чагатаеву, точно ослепшее без него. Он шел обиженный, как по чужому миру, вглядываясь во все окружающее и узнавая забытое, но сам оставался неузнанным. Каждое мелкое существо, предмет и растение, оказывается, было более гордым и независимым от прежней привязанности, чем человек.

Дойдя до сухой реки Кунядарьи, Назар Чагатаев увидел верблюда, который сидел, подобно человеку, опершись передними ногами, в песчаном наносе. Верблюд был худ, горбы его опали, и он робко глядел черными глазами, как умный грустный человек. Когда Чагатаев подошел к нему, верблюд не обратил на подошедшего внимания: он следил за движением мертвых трав, гонимых течением ветра,— приблизятся они к нему или минуют мимо. Одна былинка подвинулась близко по песку к самому его рту, и тогда верблюд сжевал ее губами и проглотил. Вдали влачилось круглое перекати-поле, верблюд следил за этой большой живой травой глазами, добрыми от надежды, но перекати-поле уходило стороною; тогда верблюд закрыл глаза, потому что не знал, как нужно плакать.

Чагатаев осмотрел верблюда кругом; животное давно стало худым от голодной нужды и болезни, шерсть его выпала почти вся, остались лишь некоторые клочья, поэтому верблюд дрожал от непривычки и озноба. Он, наверно, был разгружен и оставлен здесь каким-либо прохожим караваном вследствие слабости своих сил — либо его хозяин сам погиб, а животное начало ожидать его, пока не истратило в себе жизненного запаса. Потеряв

способность движения, верблюд уперся остатком силы в передних ногах и привстал, чтобы видеть былинки трав, нагоняемые на него ветром, и поедать их. Когда ветра не было, он закрывал глаза, не желая тратить напрасно зрения, и был в дремоте; опуститься и лечь он не хотел, тогда бы он снова приподняться уже не смог, и так оставался сидячим постоянно — то бдительным, то дремлющим, пока смерть не склонила бы его вниз или пока любой ничтожный зверь пустыни не кончил бы его одним ударом маленькой лапы.

Чагатаев долго сидел около этого верблюда, наблюдая и понимая его. Затем он принес издали несколько охапок перекати-поля и дал верблюду их съесть. Напоить он его не мог; у него самого было только две фляги воды, но он знал, что дальше по руслу Кунядарьи есть пресные озера и мелкие колодцы. Однако трудно нести на себе верблюда по песку.

Наступил вечер. Чагатаев кормил верблюда, доставая ему траву из ближних окрестностей, пока тот не положил своей головы на землю; он уснул кротким сном новой жизни. Благодаря ночи, стало холодать. Чагатаев поел лепешек из своего мешка, потом прижался к туловищу верблюда, чтобы согреться, и задремал. Он улыбался; все было странно для него в этом существующем мире, сделанном как будто для краткой насмешливой игры. Но эта нарочная игра затянулась надолго, на вечность, и смеяться никто уже не хочет, не может. Пустая земля пустыни, верблюд, даже бродячая жалкая трава — ведь это все должно быть серьезным, великим и торжествующим; внутри бедных существ есть чувство их другого, счастливого назначения, необходимого и непременного,— зачем же они так тяготятся и ждут чего-то? Чагатаев свернулся калачом около живота верблюда и уснул, удивляясь необыкновенной действительности.

5

Через шесть дней пути по Кунядарье Чагатаев увидел Сары-Камыш. Все это время он вел за собою ожившего верблюда, который мог уже идти своей силой. Но еще не мог везти на себе человека.

Чагатаев сел на краю песков, там, где они кончаются, где земля идет на снижение в котловину, к дальнему Усть-Урту. Там было темно, низко, Чагатаев нигде не разглядел ни дыма, ни кибитки,— лишь в отдалении блестело небольшое озеро. Чагатаев перебрал руками песок, он не изменился: ветер все прошедшие годы сдувал его то вперед, то назад, и песок стал старым от пребывания в вечном месте.

Сюда его мать когда-то вывела за руку и отправила жить одного, а теперь он вернулся. Он пошел дальше с верблюдом, в середину родины. Как маленькие старики, стояли дикие кустарники; они не выросли с тех пор, когда Чагатаев был ребен-

ком, и они, кажется, одни из всех местных существ не забыли Чагатаева, потому что были настолько привлекательны, что это походило на кротость, и в равнодушие или в беспамятство их поверить было нельзя. Такие безобразные бедняки должны жить лишь воспоминанием или чужой жизнью, больше им нечем.

Несколько дней Чагатаев потратил на блуждание по этой своей детской стране, чтобы найти людей. Верблюд самостоятельно ходил за ним следом, боясь остаться один и заскучать; иногда он долго глядел на человека, напряженный и внимательный, готовый заплакать или улыбнуться и мучаясь от неуменья.

Ночуя в пустых местах, доедая свою последнюю пищу, Чагатаев, однако, не думал о своем благополучии. Он направлялся в глубь безлюдной впадины, по дну древнего моря, спеша и беспокоясь. Лишь однажды он лег среди дневного пути и прижался к земле. Сердце его сразу заболело, и он потерял терпение и силу бороться с ним; он заплакал по Ксене, стыдясь своего чувства и отрекаясь от него. Он видел ее сейчас близкой в уме и в воспоминании; она улыбалась ему жалкой улыбкой маленькой женщины, которая может любить только в душе, но обниматься не хочет и боится поцелуев, как увечья. Вера сидела вдали и шила детское белье, сокращая разлуку с мужем и уже почти равнодушная к нему, потому что внутри ее шевелился и мучился другой, еще более любимый и беспомощный человек. Она ждала его, желала увидеть его лицо и боялась расстаться с ним. Но ее утешало, что еще долгие годы она будет целовать и обнимать его, когда захочет, пока он не вырастет и не скажет ей: «Будет тебе, мама, приставать ко мне, ты мне надоела!»

Чагатаев поднял голову. Верблюд жевал какую-то худую, костлявую траву, маленькая черепаха томительно глядела черными нежными глазами на лежавшего человека. Что было сейчас в ее сознании? Может быть, волшебная мысль любопытства к таинственному громадному человеку, может быть, печаль дремлющего разума.

— Мы тебя одну не оставим! — сказал Чагатаев черепахе.

Он заботился о существующем, как о священном, и был слишком скуп сердцем, чтобы не замечать того, что может служить утешением.

Они пошли с верблюдом далее, к Усть-Урту, где в самом подножье возвышенности жил один забытый старик. Он ночевал в землянке, вырытой в сухом спуске холма, и питался мелкими животными и корнями растений, находившимися в расщелинах плоскогорья. Древняя старость и убожество сделали его мало похожим на человека. Он прожил давно человеческий век, все чувства его удовлетворились, а ум изучил и запомнил местную природу с точностью исчерпанной истины. Даже звезды, многие тысячи их, он знал наизусть по привычке, и они ему надоели.

Его звали Суфьян; одет он был в старинную шинель русско-

го солдата времен хивинской войны и в картуз, а обувался в обмотки из тряпок.

Когда он заметил Чагатаева, он вышел к нему из своего земляного жилища и уставился в пространство безлюдными глазами.

К нему шел человек с верблюдом. Суфьян сразу узнал прохожего и огорчился втайне, что нет для него ничего неизвестного.

— Я тебя знаю,— сказал он Чагатаеву.— Ты был мальчик Назар.

— А я тебя не знаю,— ответил Чагатаев.

— Ты не знаешь, ты живешь, как ешь: что в тебя входит, то потом выходит. А во мне все задерживается.

Старик сморщился, вспоминая улыбку привета, но его лицо, даже спокойное, было похоже на пустую кожу высохшей умершей змеи. Удивившись, Чагатаев потрогал руку и лоб Суфьяна. О жизни и живых никто не заботится, но теперь наступила пора...

Чагатаев сказал старику, что он пришел издалека, ради своей матери и своего народа, но есть ли он на свете или уже давно кончился?

Старик молчал.

— Ты встретил где-нибудь своего отца? — спросил он.

— Нет. А ты знаешь Ленина?

— Не знаю,— ответил Суфьян.— Я слышал один раз это слово от прохожего, он говорил, что оно хорошо. Но я думаю — нет. Если хорошо — пусть оно явится в Сары-Камыш, здесь был ад всего мира, и я здесь живу хуже всякого человека.

— Я вот пришел к себе,— сказал Чагатаев.

Старик опять сморщился в недоверчивой улыбке.

— Ты скоро уйдешь от меня, я умру здесь один. Ты молод, твое сердце бьется тяжело, ты соскучишься.

Чагатаев приблизился к старику и поцеловал его, как раньше целовал Веру, крепко и неутомимо. Странно, что уста старика имели тот же человеческий вкус, как губы далекой молодой женщины.

— Здесь ты умрешь от сожаления, от воспоминаний. Здесь, персы говорили, был ад для всей земли...

Они вошли в землянку, где жил на камышовой подстилке Суфьян. Он дал лепешку гостю, испеченную из корней трав плоскогорья. В отверстии входа видна была вечерняя тень, бегущая в яму Сары-Камыша, где в древности находился всемирный ад. Чагатаев слышал в детстве это устное предание и теперь понимал его полное значение. В далеком отсюда Хорасане, за горами Копет-Дага, среди садов и пашен, жил чистый бог счастья, плодов и женщин — Ормузд, защитник земледелия и размножения людей, любитель тишины в Иране. А на север от Ирана, за спуском гор, лежали пустые пески; они уходили в

направлении, где была середина ночи, где томилась лишь редкая трава, и та срывалась ветром и угонялась прочь, в те черные места Турана, среди которых беспрерывно болит душа человека. Оттуда, не перенося отчаяния и голодной смерти, бежали темные люди в Иран. Они врывались в гущи садов, в женские помещения, в древние города и спешили поесть, наглядеться, забыть самих себя, пока их не уничтожали, а уцелевших преследовали до глубины песков. Тогда они скрывались в конце пустыни, в провале Сары-Камыша, и там долго томились, пока нужда и воспоминание о прозрачных садах Ирана не поднимало их на ноги... И снова всадники черного Турана появлялись в Хорасане, за Атреком, в Астрабаде, среди достояния ненавистного, оседлого тучного человека, истребляя и наслаждаясь... Может быть, одного из старых жителей Сары-Камыша звали Ариманом, что равнозначно черту, и этот бедняк пришел от печали в ярость. Он был не самый злой, но самый несчастный, и всю свою жизнь стучался через горы в Иран, в рай Ормузда, желая есть и наслаждаться, пока не склонился плачущим лицом на бесплодную землю Сары-Камыша и не скончался.

Суфьян оставил Чагатаева ночевать. Экономист томился во сне: уходят дни и ночи напрасно, нужно торопиться и делать счастье на адовом дне Сары-Камыша; от нетерпения сердца он долго не мог уснуть, считая течение времени. Как свет совести, горели звезды на небе, верблюд сопел снаружи, и по песку осторожно скреблась сорванная дневным ветром обессиленная трава, точно стремясь идти самостоятельно на своих ножках-былинках.

На следующий день Чагатаев и Суфьян вышли с места, чтобы найти пропавших людей. Верблюд тоже пошел за ними, боясь одиночества, как боится его любящий человек, живущий в разлуке со своими.

На краю Сары-Камыша Чагатаев вспомнил знакомое место. Здесь росла седая трава, не выросшая больше с тех пор, как было в детстве Назара. Здесь мать сказала ему когда-то: «Ты, мальчик, не бойся, мы идем умирать»— и взяла его за руку ближе к себе. Вокруг собрались все бывшие тогда люди, так что получилась толпа, может быть, в тысячу человек, вместе с матерями и детьми. Народ шумел и радовался: он решил идти в Хиву, чтобы его убили там сразу весь, полностью, и больше не жить. Хивинский хан давно уже томил этот рабский, ничтожный народ своей властью. Он сначала редко, потом все более часто присылал в Сары-Камыш всадников из своего дворца, и те забирали из народа каждый раз по нескольку человек, а затем их либо казнили в Хиве, либо сажали в темницу без возврата. Хан искал воров, преступников и безбожников, но их трудно было отыскать. Тогда он велел брать всех тайных и безвестных людей, чтобы жители Хивы, видя их казнь и муку, име-

ли страх и содрогание. Сперва народ джан боялся Хивы, и многие люди заранее чувствовали изнеможение от страха; они переставали заботиться о себе и семействе и только лежали навзничь в беспрерывной слабости. Затем стали бояться все люди,— они глядели в чистую пустыню, ожидая оттуда конных врагов, они замирали от всякого ветра, метущего песок по вершине бархана, думая, что это мчатся верховые. Когда же третья часть народа или более была забрана без вести в Хиву, народ уже привык ожидать своей гибели; он понял, что жизнь не так дорога, как она кажется, в сердце и в надежде, и каждому, кто остался цел, было даже скучно, что его не взяли в Хиву. Но молодой Якубджанов и его друг Ораз Бабаджан не хотели зря ходить в Хиву, если можно умереть на свободе. Они бросились с ножами на четверых ханских стражников и оставили их на месте лежачими, сразу лишив их славы и жизни. А маленький Назар, увидев чужих вооруженных людей, побежал к матери за одной острой железкой, которую он спрятал себе для игры, но обратно он прибежал уже поздно: стражники умерли без его железки. Ораз и Якубджанов исчезли после того, сев на лошадей убитых солдат, а остальной народ пошел толпой в Хиву, счастливый и мирный; люди были одинаково готовы тогда разгромить ханство или без сожаления расстаться там с жизнью, поскольку быть живым никому не казалось радостью и преимуществом и быть мертвым не больно. Впереди пошел бахши, бормоча свою песню, а рядом с ним был Суфьян, и тогда уже старый человек. Назар смотрел на мать; он удивлялся, что она теперь веселая, хотя шла помирать, и все прочие люди шли также охотно. Дней через десять или пятнадцать сарыкамышский народ увидел хивинскую башню. Дорога до Хивы была тяжелая и медленная, но трудность и нужда неподвижной жизни тоже требовали привычного сердца, поэтому люди не чувствовали раздражения от излишней усталости. Около самой Хивы пришедший народ окружило небольшое ханское конное войско, но тогда народ, видя это, запел и развеселился. Пели все, даже самые молчаливые и неумелые; узбеки и казахи танцевали впереди всех, один русский несчастный старик играл на губной гармонии, мать Назара подняла руки, точно готовясь к тайному танцу, а сам Назар с интересом ждал, как их всех и его самого сейчас убьют солдаты. Около ханского дворца стояли толстые смелые стражники, берегущие хана от всех. Они с удивлением глядели на прохожий народ, который шел мимо них с гордостью и не боялся силы пуль и железа, будто он был достойный и счастливый. Эти дворцовые стражники вместе с прежними всадниками должны постепенно окружить сары-камышский народ и загнать его в тюремное подземелье; но веселых трудно наказывать, потому что они не понимают зла.

Один помощник хана подошел близко к старым людям из Сары-Камыша и спросил их:

— Чего им надо и отчего они чувствуют радость?

Ему ответил кто-то, может быть, Суфьян или прочий старик:

— Ты долго приучал нас помирать, теперь мы привыкли и пришли сразу все,— давай нам смерть скорее, пока мы не отучились от нее, пока народ веселится!

Помощник хана ушел назад и больше не вернулся. Конные и пешие солдаты остались около дворца, не касаясь народа: они могли убивать лишь тех, для кого смерть страшна, а раз целый народ идет на смерть весело мимо них, то хан и его главные солдаты не знали, что им надо понимать и делать. Они не сделали ничего, а все люди, явившиеся из впадины, прошли дальше и вскоре увидели базар. Там торговали купцы, еда лежала наружи около них, и вечернее солнце, блестевшее на небе, освещало зеленый лук, дыни, арбузы, виноград в корзинах, желтое хлебное зерно, седых ишаков, дремлющих от усталости и равнодушия.

Назар спрашивал тогда мать:

— А когда же будет смерть? Я хочу!

Но мать сама не знала, что будет сейчас, она видела, что все еще живы, и боялась опять возвращаться в Сары-Камыш и снова там вечно жить. На хивинском базаре народ стал брать разные плоды и наедаться без денег, а купцы стояли молча и не били этих хищных людей. Назар ел медленно, он глядел кругом, ожидая убийства, и успел съесть только одну дыню. Наевшись, народ стал скучным, потому что веселье его прошло и смерти не было. Гюльчатай повела Назара в пустыню, все люди также ушли прочь, в старое место своей жизни.

Назар с матерью вернулись назад в Сары-Камыш. На этой жесткой седой траве, где Чагатаев сейчас стоял с Суфьяном, они тогда отдыхали, и мать сказала сыну:

— Давай опять жить, мы не умерли!

— Мы с тобою целы,— согласился Назар.— Знаешь что, мама, мы будем жить — ничего не думать, нарочно нас нет.

— Хорошо тем, кто умер внутри своей матери,— сказала Гюльчатай.

— У тебя в животе? — спросил Назар.— А почему ты меня там не оставила? Я бы умер, и меня сейчас не было, а ты ела и жила и думала про меня: нарочно я живой.

Гюльчатай посмотрела тогда на сына: счастье и жалость прошли по ее лицу.

Теперь Чагатаев лишь погладил ту давнюю траву, живущую поныне без изменения, потому что она умерла еще до рождения Назара, но все еще держалась, как живая, глубокими мертвыми корнями. Суфьян понимал, что в Чагатаеве происходит сейчас какое-то волнение жизни, но не интересовался этим: он знал, что чем-нибудь надо человеку наполнять свою душу, и если нет ничего, то сердце алчно жует собственную кровь.

Через четыре дня Суфьян и Чагатаев настолько захотели

есть, что стали видеть сновидения, в то время как ноги их шли и глаза видели обыкновенный день. Верблюд не покидал людей, но двигался в отдалении от них, где была ему попутная пища из травы. Суфьян глядел в свои плывущие сны без надежды, а Чагатаев то улыбался от них, то мучился. Дойдя до протока Дарьялык у Мангырчардара, два пешехода стали на обычный ночлег, и Суфьян размешал воду у берега, чтоб она была мутнее, гуще и питательней, а потом, напившись, оба человека легли в пещерку, дабы тело забыло, что оно живет, и скорее миновала ночь. Проснувшись наутро, Чагатаев увидел мертвого верблюда; он лежал вблизи с окаменевшими глазами, на его шее замерла кровь разреза, и Суфьян рылся в его внутренностях, как в мешке с добром, выбирая оттуда сырые части с чистой кровью и насыщаясь ими. Чагатаев тоже подполз к верблюду; из открытого тела его пахло теплом и сытостью, кровь еще капала и текла по скважинам в дальних ущельях его туловища, жизнь умирала долго. Наевшись, Чагатаев и Суфьян в блаженстве уснули опять и проснулись не скоро.

Затем они пошли далее — в разливы, в устье Амударьи. Они взяли с собой в запас верблюжьего мяса, но Чагатаев ел его без аппетита: ему было трудно питаться печальным животным; оно тоже казалось ему членом человечества.

6

Жители Сары-Камышской впадины разбрелись в камышах и кустарниках по устью Амударьи. Прошло уже около десяти лет, как народ джан пришел сюда и рассеялся среди влажных растений. Комары вначале разъедали людей так, что они раздирали себе кожу до костей, но спустя время кровь их привыкла к комариному яду и стала вырабатывать из себя противоядие, от которого комары делались беспомощными и падали на землю. Поэтому комары теперь боялись людей и не приближались к ним вовсе.

Некоторые люди народа расселились отдельно, по одному человеку, чтобы не мучиться за другого, когда нечего есть, и чтобы не надо было плакать, когда умирают близкие. Но изредка люди жили семьями; в таком случае они не имели ничего, кроме любви друг к другу, потому что у них не было ни хорошей пищи, ни надежды на будущее, ни прочего счастья, развлекающего людей, и их сердце ослабело настолько, что могло содержать в себе лишь любовь и привязанность к мужу или жене,— самое беспомощное, бедное и вечное чувство.

Суфьян и Чагатаев сперва блуждали двое суток в сумрачных камышах по сырой земле, прежде чем увидели один травяной шалаш. В нем жил слепец Молла Черкезов, его берегла и кормила дочь Айдым, девочка лет десяти. Молла узнал Суфьяна по голосу, но говорить им было не о чем. Они посидели один против другого на камышовой подстилке, попили чая, приготов-

ленного из растертых и высушенных корней того же камыша, и попрощались.

— Есть у вас новости? — спросил Суфьян, прощаясь.

— Нет, жизнь идет одинаково,— ответил Черкезов.— Жена моя, милая Гюн, утонула в воде и умерла.

— Отчего утонула твоя достойная Гюн?

— Не стала жить. Возьми у меня девочку Айдым и приведи мне молодую ослицу, буду с ней жить по ночам, чтоб не было мыслей и бессонницы.

— Я беден,— сказал Суфьян,— ослицы у меня нету. Ты обменяй дочь на старуху. Живи со старухой: тебе все равно.

— Все равно,— согласился Молла Черкезов.— Но старухи скоро помирают, их не хватает человеку.

— Ты слыхал, к нам приехал Назар из Москвы; ему велели помочь нам прожить нашу жизнь хорошо.

— Четыре человека приезжали раньше Назара,— сообщил Черкезов.— Их искусали комары, и они уехали. Я слепой человек, мое дело — тьма, мне хорошо не будет.

— Тебе хорошо даже от ослицы и от старухи,— сказал здесь Чагатаев.— Твое счастье похоже на горе.

— С женой время идет незаметно,— ответил Молла Черкезов.

Девочка Айдым сидела на земле и, раздвинув ноги, растирала маленьким камнем на большом корневище камыша; она была здесь хозяйкой и приготовляла пищу. Кроме камыша, около девочки лежало несколько пучков болотной и пустынной травы и одна чистая кость осла или верблюда, выкопанная где-нибудь в дальних песках,— для приварка. Вымытый котел стоял между ног Айдым, она бросала в него время от времени то, что готовили ее руки, она собирала суп на обед. Девочка не интересовалась гостями; глаза ее были заняты своею мыслью,— вероятно, она жила тайной, самостоятельной мечтой и делала домашнюю работу почти без сознания, отвлеченная от всего окружающего своим сосредоточенным сердцем.

— Отпусти со мною твою дочь! — попросил Чагатаев у хозяина.

— Она еще не выросла, что ты будешь делать с ней? — сказал Молла Черкезов.

— Я приведу тебе старую, другую.

— Приводи скорее,— согласился Черкезов.

Чагатаев взял за руку Айдым, она глядела на него черными, ослепительно блестящими, как бы невидящими глазами, пугаясь и не понимая.

— Пойдем со мною,— сказал ей Чагатаев.

Айдым потерла руки о землю, чтобы они очистились, встала и пошла, оставив все свои дела на месте недоделанными, не оглянувшись ни на что, словно она прожила здесь одну минуту и не покидала сейчас живого отца.

— Суфьян, тебе ведь одинаково — идти со мной или нет? — обратился Чагатаев к старику.

— Одинаково,— ответил Суфьян.

Чагатаев велел ему остаться у слепого, чтобы помогать Черкезову кормиться и жить, пока он не вернется.

Назар пошел с девочкой по узкому следу людей в камышовом лесу. Он хотел увидеть всех жителей этой заросшей страны, весь спрятавшийся сюда от бедствия народ. Про свою мать Гюльчатай он ни разу не спросил у Суфьяна, он надеялся неожиданно встретить ее живой и помнящей его, а про то, где остались лежать ее кости, он всегда успеет узнать.

Айдым шла покорно за Чагатаевым всю долгую дорогу. Камыши иногда кончались. Тогда Назар и девочка выходили на пустые песчаные и илистые наносы, на мелкие озера, обходили жесткие старческие кустарники и опять входили в камышовую гущу, где была тропинка. Айдым молчала; когда она уморилась, Чагатаев взял ее себе на плечи и понес, держа ее за колени, а она обхватила ему голову. Потом они отдыхали и пили воду из чистого песчаного водоема. Девочка смотрела на Чагатаева странным и обыкновенным человеческим взглядом, который он старался понять. Может быть, это означало: возьми меня к себе; может быть: не обмани и не замучай меня, я тебя люблю и боюсь. Или эта детская мысль в темных, сияющих глазах была недоумением: отчего здесь плохо, когда мне надо хорошо!..

Чагатаев посадил Айдым к себе на руки и перебрал ее волосы на голове. Она вскоре уснула у него на руках, доверчивая и жалкая, рожденная лишь для счастья и заботы.

Наступил вечер. Идти дальше было темно. Чагатаев нарвал травы, сделал из нее теплую постель для защиты от ночного холода, переложил девочку в эту травяную мякоть и сам лег рядом, укрывая и согревая небольшого человека. Жизнь всегда возможна и счастье доступно немедленно.

Чагатаев лежал без сна; если бы он уснул, Айдым раскрылась бы голым телом и окоченела. Большая черная ночь заполнила небо и землю — от подножья травы до конца мира. Ушло одно лишь солнце, но зато открылись все звезды и стал виден вскопанный, беспокойный Млечный Путь, как будто по нему недавно совершился чей-то безвозвратный поход.

7

Свет зари осветил спящих на траве. Одна рука Чагатаева находилась под головой Айдым, чтобы ей не жестко и не влажно было спать, другой он закрыл свои глаза, укрываясь от утра. Неизвестная старуха сидела около спящих и смотрела на них без памяти. Она трогала, еле касаясь, волосы, рот и руки Чагатаева, нюхала его одежду, оглядывалась вокруг и боялась, что ей помешают. Потом она осторожно вынула руку Назара

из-под головы девочки, чтобы он никого сейчас не чувствовал и не любил, а был с нею одной. Спина ее давно уже и навсегда согнулась, и когда старуха разглядывала что-либо, лицо ее почти ползало по земле, точно она была невидящая и искала потерянное. Она осмотрела все, во что был одет Назар, перепробовала руками ремешки и тесемки его штанов и обуви, помяла в руках материю его куртки и провела пальцем, смоченным во рту, по черным запыленным бровям Чагатаева. Затем она успокоилась и легла головой к ногам Назара, счастливая и усталая, как будто она дожила до конца жизни и больше ей ничего не осталось делать, как будто у этих башмаков, гниющих изнутри от пота, покрытых пылью пустыни и грязью болот, она нашла свое последнее утешение. Старуха задремала или уснула, но вскоре поднялась опять. Чагатаев и Айдым спали по-прежнему: дети спят долго, и даже солнце, бабочки и птицы их не будят.

— Проснись скорее! — сказала старуха, обняв руками спящего Чагатаева.

Он открыл глаза. Старуха стала целовать его шею, грудь через одежду, руку, ползя лицом по человеку, и проверяла, и рассматривала вблизи все его тело: целы или нет его части, не отболело и не потеряно ли что-нибудь в разлуке.

— Не надо: ведь ты моя мать,— сказал Чагатаев.

Он встал на ноги перед ней, но мать была сгорблена настолько, что не могла теперь видеть его лица, она тянула его за руки вниз, к себе, и Чагатаев согнулся и сел перед ней. Гюльчатай тряслась от старости или от любви к сыну, но не могла ничего сказать ему. Она только водила по его телу руками, испуганно ощущая свое счастье, и не верила в него, боясь, что оно пройдет.

Чагатаев смотрел в глаза матери, они теперь стали бледные, отвыкшие от него, прежняя блестящая темная сила не светила в них; худое, маленькое лицо ее стало хищным и злобным от постоянной печали или от напряжения удержать себя живой, когда жить не нужно и нечем, когда про самое сердце свое надо помнить, чтоб оно билось, и заставлять его работать. Иначе можно ежеминутно умереть, позабыв или не заметив, что живешь, что необходимо стараться чего-то хотеть и не упускать из виду самое себя.

Назар обнял мать. Она была сейчас легкой, воздушной, как маленькая девочка,— ей нужно начинать жить с начала, подобно ребенку, потому что все силы у нее взяло терпение борьбы с постоянным мученьем, и она не имела никогда свободного от горя остатка сердца, чтобы чувствовать добро своего существования; она не успела еще понять себя и освоиться, как наступила пора быть старухой и кончаться.

— Где ты живешь? — спросил ее Назар.

— Там,— показала Гюльчатай рукой.

Она повела его через мелкие травы, через редкий камыш, и вскоре они дошли до небольшой деревни, расположенной на поляне среди камышового леса. Чагатаев увидел камышовые шалаши и несколько кибиток, связанных тоже из камыша. Всего было жилищ двадцать или немного больше. Ни собаки, ни осла, ни верблюда Чагатаев не заметил в этом поселении, даже домашняя птица не ходила на воле по траве.

Около крайнего шалаша сидел голый человек, кожа на нем висела складками, как изношенная, усталая одежда; он перебирал на своих коленях тростинки камыша, собирая из них себе вещь для домашней утвари или украшение. Этот человек не удивился появлению Чагатаева и не ответил даже на его поклон; он бормотал что-то про себя, воображая никому не видимое, занимая свою душу собственным, тайным утешением.

— Здесь живет весь наш народ или еще есть? — спросил Чагатаев у матери.

— Я уже забыла, Назар, я не знаю,— сказала Гюльчатай, с усилием пробираясь вслед за ним и низко неся голову как трудный груз.— Были еще люди, десять людей, они живут по камышам до самого моря — раньше жили, теперь им пора умереть, должно быть, умерли, и к нам никто не приходит...

Шалаши и кибитки кончились. Дальше опять начинался камыш. Чагатаев остановился. Здесь было все— мать и родина, детство и будущее. Ранний день освещал эту местность: зеленый и бледный камыш, серо-коричневые ветхие шалаши на поляне с редкой подножной травой и небо наверху, наполненное солнечным светом, влажным паром болот, лессовой пылью высохших оазисов, взволнованное высоким неслышным ветром,— мутное, измученное небо, точно природа тоже была лишь горестной, безнадежной силой.

Оглядевшись здесь, Чагатаев улыбнулся всем призрачным, скучным стихиям, не зная, что ему делать. Над поверхностью камышовых дебрей, на серебряном горизонте, виднелся какой-то замерший мираж — море или озеро с плывущими кораблями и белая сияющая колоннада дальнего города на берегу. Мать молча стояла около сына, склонившись туловищем книзу.

Она жила в шалаше, на глине, без мужа и без родных. Две камышовые циновки лежали на земле внутри ее жилища — одной она покрывалась, на другой спала. Еще у нее был чугунный горшок для пищи и глиняный кувшин, а на перекладине висел ее девичий яшмак и одна тряпка, в которую она заворачивала Назара, когда он был грудным ребенком. Кочмат умер лет шесть тому назад, от него осталась одна штанина (другую Гюльчатай истратила на латки для юбки) и мочалка, служившая Кочмату, чтобы вытирать пот и грязь со своего тела, когда приходилось ходить работать на хошарах по оазисам.

Мать Назара жила здесь бобылкой-колтаманкой. Она удивилась, что Назар еще жив, но не удивилась, что он вернулся:

она не знала про другую жизнь на свете, чем та, которой жила сама, она считала все на земле однообразным.

Чагатаев сходил за девочкой Айдым, он разбудил и привел ее в камышовый шалаш матери. Гюльчатай ушла рыть коренья травы, ловить мелкую рыбу камышовой кошелкой в водяных впадинах, искать птичьи гнезда в зарослях, чтобы собрать на пищу яиц или птенцов,— вообще, поджиться что-либо у природы для дальнейшего существования. Она вернулась лишь к вечеру и стала готовить еду из трав, камышовых корней и маленьких рыбок; она теперь уже не интересовалась, что около нее находится сын, и совсем не глядела на него и не говорила никаких слов, точно весь ее ум и чувство были погружены в глубокое, непрерывное размышление, занимавшее все ее силы. Краткое человеческое чувство радости о живом, выросшем сыне прошло, или его вовсе не было, а было одно изумление редкой встречей.

Гюльчатай не спросила даже, хочет ли есть Назар и что он думает делать на родине, в камышовом поселении.

Назар глядел на нее; он видел, как она шевелится в привычном труде, и ему казалось, что она на самом деле спит и движется не в действительности, а в сновидении. Глаза ее были настолько бледного, беспомощного цвета, что в них не осталось силы для зрения,— они не имели никакого выражения, как слепые и умолкшие. Судя по большим зачерствелым ногам, Гюльчатай жила всегда босой; одежда ее состояла из одной темной юбки, продолженной до шеи в виде капота, залатанной разнообразными кусками материи, вплоть до кусков из валяной обуви, которыми обшит подол. Чагатаев потрогал платье матери, оно было надето на голое тело, там не имелось сорочки,— мать давно отвыкла зябнуть по ночам и по зимам или страдать от жары — она притерпелась.

Назар позвал мать. Она отозвалась ему, она его понимала. Назар стал помогать ей разводить огонь в очаге, устроенном в виде пещерки под камышовой наклонной стеной. Айдым смотрела на чужих черными чистыми глазами, храня в них сияющую силу своего детства, свою робость, которая была печалью, потому что ребенку хотелось быть счастливым, а не сидеть в сумраке шалаша, думая о том, дадут есть или нет. Чагатаев вспоминал, где он видел такие же глаза, как у Айдым, но более живые, веселые, любящие,— нет, не здесь, и та женщина была не туркменка, не киргизка, она давно забыла его, он тоже не помнит ее имени, и она не может представить себе, где сейчас находится Чагатаев и чем занимается: далеко Москва, он здесь почти один, кругом камыш, водяные разливы, слабые жилища из мертвых трав. Ему скучно стало по Москве, по многим товарищам, по Вере и Ксене, и он захотел поехать вечером в трамвае куда-нибудь в гости к друзьям. Но Чагатаев быстро понял себя. «Нет, здесь тоже Москва!»— вслух сказал он и улыбнул-

ся, глядя в глаза Айдым. Она оробела и перестала смотреть на него.

Мать сварила себе жидкую пищу в чугуне, съела ее без всякого остатка и еще вытерла пальцами посуду изнутри и обсосала их, чтобы лучше наесться. Айдым внимательно следила за Гюльчатай, как она ела, как еда проходила внутри ее худого горла мимо жил, но она смотрела без жадности и зависти, с одним удивлением и с жалостью к старухе, которая глотала траву с горячей водой. После еды Гюльчатай уснула на обележанной камышовой подстилке, и в то время уже наступил общий вечер и ночь.

8

Первый день жизни Чагатаева на родине прошел; сначала светило солнце, на что-то можно было надеяться, теперь небо померкло и уже появилась вдалеке одна неясная, ничтожная звезда.

Стало сыро и глухо. Народ в этой камышовой стране умолк; его так и не услышал Чагатаев. Он набрал травы поблизости, сделал из нее постель в материнском шалаше и уложил Айдым в теплое место, чтоб она тоже спала.

Он вышел затем один, дошел до какого-то пустого, еле влекущегося протока Амударьи и вновь возвратился. Мощная ночь уже стояла над этой страной, мелкий молодой камыш шевелился у подножия старых растений, как дети во сне. Человечество думает, что в пустыне ничего нет, одно неинтересное дикое место, где дремлет во тьме грустный пастух и у ног его лежит грязная впадина Сары-Камыша, в котором совершалось некогда человеческое бедствие,— но и оно прошло, и мученики исчезли. А на самом деле и здесь, на Амударье, и в Сары-Камыше тоже был целый трудный мир, занятый своей судьбой.

Чагатаев прислушался: кто-то говорил вблизи, насмешливо и быстро, но оставался без ответа. Назар подошел к камышовому жилищу. Слышно было, как внутри него дышали спящие люди и поворачивались на своих местах от беспокойства.

— Подбирай шерсть на земле, клади мне за пазуху,— говорил голос спящего старика.— Собирай скорее, пока верблюды линяют...

Чагатаев прислонился к камышовой стене. Старик сейчас лишь шептал в бреду, не слышно что. Ему снилась какая-то жизнь, вечное действие, он бормотал все более тихо, как будто удалялся.

— Дурды, Дурды! — стал звать голос женщины; она шевелилась, и циновка под ней шелестела.— Дурды! Не убегай от меня, я уморилась, я не догоню тебя... Остановись, не мучай меня, мой ножик острый, я зарежу тебя сразу, ты поддайся.

Они умолкли и спали теперь мирно.

— Дурды! — тихо позвал Чагатаев снаружи.

— А? — отозвался изнутри голос бормотавшего старика.

— Ты спишь? — спросил Чагатаев.

— Сплю,— ответил Дурды.

Чагатаев вспомнил этого Дурды в синеве своего детства; был в то время один худой человек из племени иомудов, который кочевал вдвоем с женой и ел черепах. В Сары-Камыш он приходил потому, что начинал скучать, и тогда сидел молча в кругу людей, слушал их слова, улыбался и был доволен тайным счастьем своего свидания; потом он опять уходил в пески ловить черепах и думать что-то в своей душе. Одинокая женщина (Назару тогда она казалась тоже старой) шла вослед мужу и несла за плечами все их семейное имущество. Маленький Назар провожал их до песков и долго глядел на них, пока они не скрывались в сияющем свете, превращаясь в плывущие головы без тела, в лодку, в птицу, в мираж.

Рядом была другая камышовая хижина, построенная в форме кибитки. Около нее сидела небольшая собака. Чагатаев удивился ей, потому что никаких домашних животных он здесь ни разу не видел. Черная собака смотрела на Чагатаева, она открывала и закрывала рот, делая им движение злобы и лая, но звука у нее не получалось. Одновременно она поднимала то правую, то левую переднюю ногу, пытаясь развить в себе ярость и броситься на чужого человека, но не могла. Чагатаев наклонился к собаке, она схватила своей пастью его руку и потерла ее между пустыми деснами — у нее не было ни одного зуба. Он попробовал ее за тело — там часто билось жестокое жалкое сердце, и в глазах собаки стояли слезы отчаяния.

В кибитке кто-то изредка смеялся кротким, блаженным голосом. Чагатаев поднял решетку, навешенную на жерди, и вошел внутрь жилища. В кибитке было тихо, душно, не видно ничего. Чагатаев согнулся и пополз, ища того, кто здесь есть. Жаркий шерстяной воздух томил его. Чагатаев ослабевшими руками искал неизвестного человека, пока не нащупал чье-то лицо. Это лицо вдруг сморщилось под пальцами Чагатаева, и изо рта человека пошел теплый воздух слов, каждое из которых было понятно, а вся речь не имела никакого смысла. Чагатаев с удивлением слушал этого человека, держа его лицо в своих руках, и старался понять, что он говорит, но не мог. Переставая говорить, этот сидячий житель кибитки кратко и разумно посмеивался, потом говорил опять. Чагатаеву казалось, что он смеется над своей речью и над своим умом, который сейчас что-то думает, но выдуманное им ничего не значит. Затем Чагатаев догадался и тоже улыбнулся: слова стали непонятны оттого, что в них были одни звуки — они не содержали в себе ни интереса, ни чувства, ни воодушевления, точно в человеке не было сердца внутри и оно не издавало своей интонации.

— Возьми поди взойди на Усть-Урт, подними что-нибудь и

мне принеси, а я в грудь положу,— сказал этот человек, а потом снова засмеялся.

Ум его еще жил, и он, может быть, смеялся в нем, пугаясь и не понимая, что сердце бьется, душа дышит, но нет ни к чему интереса и желания; даже полное одиночество, тьма ночной кибитки, чужой человек — все это не составляло впечатления и не возбуждало страха или любопытства. Чагатаев трогал этого человека за лицо и руки, касался его туловища, мог даже убить его,— он же по-прежнему говорил кое-что и не волновался, будто был уже посторонним для собственной жизни.

Снаружи была прежняя ночь. Чагатаев, уходя дальше, хотел вернуться, взять и унести с собой бормочущего человека; но куда его надо нести, если он замучился до того, что нуждался уже не в помощи, а в забвении? Он оглянулся; безмолвная собака шла за ним, в камышовых шалашах лежали люди во сне и в своих сновидениях, по вершинам камышовых зарослей иногда проходила дрожь слабого ветра, уходя отсюда до самого Арала. В шалаше, рядом с тем, где спали мать и Айдым, кто-то тихо разговаривал. Собака вошла туда и вышла назад, а потом бросилась назад домой, боясь потерять или забыть, где находится ее хозяин и убежище.

Чагатаев пришел обратно к матери и лег, не раздеваясь, рядом с Айдым. Девочка дышала во сне редко и почти незаметно, было страшно, что она может забыть вздохнуть и тогда умрет. Лежа на глине, Чагатаев слышал в дремоте, как по глухому низу земли раздавалось сонное бормотание его народа и в желудках мучительно варились кислые и щелочные травы. В соседнем травяном жилище муж говорил с женой; он хотел, чтобы у них родился ребенок — может, он сейчас зачнется.

Но жена отвечала:

— Нет, в нас с тобой слабость одна, мы десять лет его зачинаем, а он не начинается во мне, и я всегда пустая, как мертвая...

Муж молчал, потом говорил:

— Ну, давай чего-нибудь делать вдвоем, нам нечему радоваться с тобой.

— Что же,— отвечала женщина,— мне одеться не во что, тебе тоже; как зимою будем жить!

— Когда будем спать, то согреемся,— отвечал муж,— от бедности чего же больше делать: одна ты осталась, поневоле глядишь и любишь!..

— Больше нечего,— соглашалась женщина,— нету никакого добра у нас с тобой, я все думала-передумала и вижу, что люблю тебя.

— Я тоже тебя,— говорил муж,— иначе не проживешь...

— Дешевле жены ничего нету,— ответила женщина.— При нашей бедности, кроме моего тела, какое у тебя добро?

— Добра не хватает,— согласился муж,— спасибо хоть же-

на рожается и вырастает сама, нарочно ее не сделаешь: у тебя есть груди, живот, губы, глаза твои глядят, много всего, я думаю о тебе, а ты обо мне, и время идет...

Они замолчали. Чагатаев почистил уши от скопившейся серы и стал слушать далее — не будет ли еще оттуда слов, где лежат муж и жена.

— Мы с тобой плохое добро,— проговорила женщина,— ты худой, слабосильный, а у меня груди засыхают, кости внутри болят...

— Я буду любить твои остатки,— сказал муж.

И они умолкли вовсе,— наверно, обнялись, чтобы держать руками свое единственное счастье.

Чагатаев прошептал что-то, улыбнулся и уснул, довольный, что на его родине среди двоих людей уже существует счастье, хотя и в бедном виде.

9

Утром Гюльчатай не обратила внимания ни на сына, ни на приведенную им девочку. Силы ее души хватило только на воспоминание о нем, когда он спал на траве у тропинки, рядом с Айдым; теперь она жила одной своей жизнью. В шалаше делать было нечего, все же мать долго ровняла камышовые стебли в наклонных стенах, собрала все былинки с земли, вычистила котел изнутри, оправила и свернула циновку и делала все это с глубокой тщательностью и усердием, заботясь о том, чтобы цело было ее хозяйское добро, потому что, кроме него, у нее не было связи с жизнью и прочими людьми. Затем человеку нужно что-нибудь непрерывно думать, она тоже, видимо, воображала что-то, когда трудилась в своей мелкой, почти бесполезной суете; без труда же думать она не умела; хозяйство и шалаш, когда она прибирала его, давали ей воспоминания, наполняли чувством жизни ее пустое, слабое сердце.

Она попросила у сына, чтоб он дал ей что-нибудь. Попросила она робко, без надежды и без жадности, лишь для того, чтобы у нее стало больше вещей и увеличилась, посредством них, житейская занятость,— тогда время жизни проходит лучше. Назар правильно понял мать и отдал ей плащ, кобуру от револьвера (револьвер он переложил в карман брюк); блокнот и сорок рублей денег и заодно велел накормить Айдым. Но девочка сама вперед пошла собирать себе траву на пищу, а Гюльчатай осталась.

— Ты знаешь Моллу Черкезова? — спросил ее Назар.

— Я всех знаю,— сказала мать.

— Ступай, живи у него, тебе там лучше будет. Он слепой и будет беречь тебя, пока не умрет.

Согнутая старая мать глядела в землю; она не понимала, зачем она нужна Черкезову, если и сердце ее давно бьется уже не от чувства, а от привычки, если жизнь для нее почти неза-

метна. Однако она пошла, не взяв ничего с собою из жилища, кроме того, что ей дал сын, — и то потому, что эти вещи находились у нее в руках. Оказывается, и домашнее добро свое она уже не любила, потому что для жадности у нее не хватало душевных человеческих сил.

Чагатаев остался жить вдвоем с Айдым, желая, чтобы сердце матери согрелось в семейной жизни с Моллой Черкезовым. Айдым сразу начала хозяйствовать, собирать и варить траву, ловить рыбу и стряпать пищу на обед. Однажды она ходила далеко через протоки и разливы, дошла до саксаульника и принесла дров в запас на зимнее время. Чагатаев сам затем сходил два раза в этот далекий саксаульник и принес дров, а девочке вовсе запретил ходить,— пусть она только разводит маленький костер в домашней печке и готовит одну похлебку в сутки. Но вскоре ему пришлось хозяйствовать полностью одному, потому что Айдым заболела и стала горячая, жаркая, мокрая от пота. Назар укрывал ее травой от озноба, протирал ей запекшиеся глаза и поил жидким супом из трав, но девочка не справлялась с болезнью, она худела, молчала и направлялась в смерть. Глаза ее без сознания глядели на Чагатаева, она не умела ничего помыслить для облегчения. Чагатаев сидел над ней долгие пустынные дни и оберегал больную от тоски и страха.

По другим шалашам и кибиткам тоже лежали больные и немощные люди. Чагатаев сосчитал, что всего в народе джан было сорок семь человек, из них человек двадцать болело. Женщин среди народа находилось одиннадцать человек, а детей до двенадцати лет — три души, считая сюда и Айдым. Женщины, как самые большие труженицы, умирали прежде всех, а оставшиеся в живых рожали детей очень редко. Здесь, напрягаясь изо всех нищих сил, желали детей более, чем в далеких странах богатства, и если дети иногда рожались, то они получали в наследство то же, что имели их родители,— корни камыша, долгую участь жизни в пустом пространстве.

Во время болезни Айдым к Чагатаеву пришел уполномоченный райисполкома Нур-Мухаммед. Чагатаев ему сказал, что он командирован сюда для помощи своему народу, который должен стать счастливым, движущимся вперед и многочисленным. Нур-Мухаммед ответил Назару, что сердце народа давно выболело в нужде, ум его стал глуп и поэтому свое счастье ему чувствовать нечем; лучше будет дать покой этому народу, забыть его навсегда или увести куда-нибудь в пустыню, в степи и горы, чтобы он заблудился, и затем посчитать его несуществующим.

Чагатаев понемногу рассмотрел Нур-Мухаммеда; он был велик ростом, уже стар, глаза его глядели из узко прорезанных век, как сквозь постоянную боль. Он одевался в узбекский халат, имел тюбетейку на голове, был обут в войлочные туфли —

единственный человек во всем народе, сохранивший такую одежду. Это объяснялось тем, что сам Нур-Мухаммед не принадлежал к народу джан, а был командирован сюда полгода назад и глядел на людей чужими глазами.

— Что ты сделал здесь за полгода? — спросил его Чагатаев.

— Ничего,— сообщил Нур-Мухаммед.— Я не могу воскрешать мертвых.

— Чего же ты ждешь тогда, зачем ты тут?

— Когда я пришел сюда, в народе было сто десять человек, теперь меньше. Я рою могилы умершим,— их хоронить в болотах нельзя, будет заражение, и я ношу мертвых в дальний песок. Буду хоронить, пока выйдут все, тогда уйду отсюда, скажу — командировка выполнена...

— Народ сам похоронит своих близких — ты для этого не нужен.

— Нет, он не будет хоронить, я знаю.

— Почему не будет?

— Мертвых должны хоронить живые, а здесь живых нет, есть не умершие, доживающие свое время во сне, ты им не сделаешь счастья, и даже своего горя они уже не знают, они больше не мучаются, они отмучились.

— Что же нам делать с тобой? — спросил Чагатаев.

— Ничего не надо,— сказал Нур-Мухаммед.— Человека нельзя долго мучить, а хивинские ханы думали — можно. Долго — он погибает, его надо — понемногу и давать ему играть, а потом опять мучить...

— Я им могилы рыть не буду,— сказал Чагатаев.— Я не знаю, кто ты: ты чужой, лучше ты уйди отсюда, оставь нас одних.

Нур-Мухаммед потрогал лоб спящей Айдым и затем поднялся с места.

— Мое дело в моей голове, а твое дело — в твоей. Скоро я понесу это девочку в землю. До свидания.

Он ушел в свою землянку. Чагатаев завернул Айдым в траву и в циновку и быстро понес ее к матери и к Молле Черкезову: пусть ей дают пить время от времени и укрывают от ночного холода. А сам Чагатаев сразу же отправился в Чимгай, куда было сто или полтораста километров. Он шел через сухие русла, протоки, камыши и через дебри смешанных растений весь остаток дня, всю ночь и еще целый день, ободравшись и обнищав в дороге, блуждая и тяготясь нетерпением, темнея умом, пока не лег где-то лицом в мякоть мха. Потом он проснулся и увидел невдалеке большие развалины; он подошел к глиняным оплывшим стенам. Высокое солнце скопляло зной под старыми стенами; сон и забвение, беспамятство душного воздуха исходили из-под стен, где старела сухая глина. Чагатаев прошел внутрь укрепления, через то обрушенное место, где паводковые воды сделали в стене промоину. Там было еще более душно от

затишья; жара неба собиралась в одно гнездо, заросшее огромными травами с толстыми сальными стволами, потому что их здесь некому было есть и они росли ради одного своего наслаждения. Чагатаев с ненавистью глядел на эти жирные растения, выискивая под ними какую-нибудь мелкую съедобную траву. Он нашел чьи-то небольшие разбитые кости: их рубили, чтобы получился гуще навар, или рассекли саблей несколько раз, если это был человек. Далее он увидел еще несколько костей и целую половину человеческого скелета вместе с черепом; этот человек скончался лицом вниз, и ребра его разошлись в стороны, как для посмертного дыхания, а одно ребро уперлось своим острием в смятый красноармейский шлем, уже сопревший теперь и проросший бледной травой. Чагатаев выпростал его из-под ребра; на шлеме еще сохранилась тень пятиконечной звезды, и внутри шлема, по надлобной полоске материи, имелась надпись химическим карандашом: «Ораз Голоманов»— имя павшего красноармейца. Чагатаев почистил шлем и надел его себе на голову, а свою фуражку положил на череп Голоманова. В глиняной стене, изнутри крепости, вероятно, штыком Голоманова или другого красноармейца, кости которого лежали где-нибудь врозь по земле, были вырезаны слова: «Да здравствует юлдаш революции!»— и штык резал глину слишком глубоко, для того чтобы время, ветер и дождь не заровняли и не смыли след этой надежды мертвых и живых. Должно быть, в тридцатом или тридцать первом году здесь находился красноармейский отряд, бившийся с басмачами, с войсками хивинских и туркменских рабовладельцев, и Голоманов с товарищами остался здесь и сотлел в спокойствии, как будто он был уверен, что непрожитая жизнь его будет дожита другими так же хорошо, как им самим. Чагатаев насыпал травы с землей на скелет Голоманова, чтоб орлы или одинокие звери не растаскали его кости, и ушел своим направлением на Чимгай.

В Чимгае он купил ящик с колхозной аптекой и достал через райком несколько десятков хинных порошков, но знал, что эти пособия слабо помогут его народу, который нуждается более всего в другой, еще не существующей жизни, которую можно терпеть, не умирая. На всякий случай он зашел еще на почту — спросить, нет ли ему писем из Москвы, может быть, есть. Внутри почтового помещения висели плакаты с изображением дальних авиационных сообщений, на наклонных столах под стеклом лежали образцы правильных почтовых адресов — в Москву, в Ленинград, в Тифлис, как будто все местные люди пишут письма только в эти пункты и тоскуют только по этим прекрасным городам.

Чагатаев обратился в окно «До востребования», и ему дали простое письмо из Москвы, которое было сюда переслано из Ташкента заботливыми работниками ЦК партии Узбекистана. Писала Ксения: «Назар Иванович Чагатаев! Ваша жена, моя

мама Вера, умерла во Второй клинической больнице, в г. Москве, от родов девочки, которая когда родилась, то была мертвой, и я видела ее тело. Девочку сложили в больнице в один гроб с мамой Верой, вашей женой, похоронили в земле на Ваганьковском кладбище, не очень далеко от писателя Батюшкова. Я два раза ходила к могиле, постояла и ушла. Когда вы приедете, то я вам покажу, где находится могила. Мама велела мне вас помнить и любить, я вас помню. С пионерским приветом Ксеня».

Туркменская девушка выглянула из окна «До востребования» и сказала:

— Обождите, вам еще телеграмма есть, ей шесть дней.

И она дала Чагатаеву ташкентскую телеграмму: «Письмо смерти жены прочтено ввиду трудности сообщения с вами. Извиняемся. Разрешается выехать на месяц в Москву потом вернуться привет Орготдел Исфендиаров. При недоставлении течение двадцати дней возвратить Ташкент отправителю».

Чагатаев спрятал письмо и телеграмму, взял ящик с колхозной аптекой и ушел из почтовой конторы. Чимгай был ничтожен — слепые дувалы и глиняные жилища находились почти незаметно среди окружающего свободного пространства пустого мира. Чагатаев купил в чайхане ячменных лепешек и через пять минут был уже вне города, на ветру своей дороги; солнце горело высоко и обильно, и все же его свет не мог согреть человеческое сердце до состояния счастья. Чагатаев перестал думать; он всматривался в разные подорожные предметы — в стебли мертвой травы, упавшей с чьей-то арбы, в куски переваренной пищи осла, в русский ветхий лапоть, неизвестно с какого дальнего странника; остатки и следы чужой жизни или деятельности отвлекали Чагатаева от собственной мысли. Наконец он увидел небольшую черепаху: она лежала с высунутой опухшей шеей, с беспомощно выпущенными лапками, не храня себя более под панцирем,— она умерла здесь, при дороге. Чагатаев поднял ее и рассмотрел. Затем отнес в сторону и закопал в песок. Эта черепаха была теперь ближе к его покойной жене Вере, чем он сам, и Чагатаев остановился в недоумении. Он сел на землю с ослабевшим сознанием, не понимая, что он живет и действует с известной целью; чужды и скучны были перед ним обычные явления природы; больше не нужно ему было никакое зрелище и наслаждение, и он с отвращением бросил ячменные лепешки, нагревшиеся в руке, а потом закричал, как в детстве, когда был выведен матерью из Сары-Камыша, и стал искать глазами кого-то в этом незнакомом месте, кто его услышит и явится к нему — как будто за каждым человеком ходит его неустанный помощник и только ждет, когда наступит последнее отчаяние; чтобы показаться... Вдали, в тишине, словно за мертвым занавесом, в близком, но другом мире, что-то постоянно гукало. Звук не имел значения и определенности. Чагатаев вслу-

шался; он вспомнил, что эти звуки были ему знакомы и раньше, но он никогда не понимал их и пропускал мимо внимания. Звуки повторялись опять, они шли редко, с мертвыми паузами, одолевая пустые места пустоты,— будто капала влага огромными леденеющими каплями, будто изредка кратко звал рожок, который уносили все дальше по синим лесам, или шло большое звездное время, что безвозвратно проходит, считая свои отмирающие части, а может быть, эти звуки раздавались гораздо ближе — внутри самого тела Чагатаева, и они происходили от медленного биения его собственной души, напоминая собой ту главную жизнь, которая сейчас забыта им, задушена горем в сжавшемся сердце...

Чагатаев встал и быстро пошел в поселение своего народа. К вечеру он настолько утомился, что уснул, не спрятавшись в какую-нибудь теплую расщелину земли, и всю ночь слышал неясный гул, разное волнение вокруг, тревожное движение природы, верящей в свое действие и назначение.

На вторую ночь он уже был в пределах камышовых дебрей, вблизи всех своих родных. Он думал, что народ джан сейчас уже спит, и пусть хотя бы во сне он не голодает и не мучается, пусть ночь идет долго, если утром он опять должен, чтобы не умереть, иметь хоть слабое представление о действительности, которое не больше сновидения. Поэтому по ночам Чагатаев обыкновенно меньше беспокоился: он понимал, что спящим жить легче, и мать его сейчас не помнит ни его, ни себя, а маленькая Айдым лежит, согреваясь сама собой, как счастливая, не нуждаясь ни в ком.

Он шел медленно, точно отдыхая, миновал низкий саксаульник, перешел через мелкую протоку; поздняя худая луна освещала текущую воду, постоянно трудящуюся без всякого одобрения. Над древней караванной дорогой, уходящей мимо Хивы в Афганию или дальше, стояла мерцающая пыль от света луны. Это было непонятно Чагатаеву. Та дорога лежит брошенной уже целые века, она идет по твердым, набитым пескам и лишь в одном месте проходит по лессовому насту, где сейчас, наверно, сухо и подымается густая пешеходная пыль. Верблюды и ослы так не пылят, их пыль подымается выше, и она сгущается в хвосте каравана. Чагатаев оставил свой путь и пошел наперерез через дикие места в южном направлении, чтобы увидеть, кто идет там, где никого не должно быть. Он долго пробирался сквозь чащу камыша, увязая в трясине, отводил руками колючие благоухающие кустарники, пока не вышел на сухой, чистый, обдутый ветрами курган, под которым лежал в своей могиле какой-нибудь забытый археологический городок.

Старая дорога окружала этот курган по его подножию и скрывалась затем на юго-восток — в Китай и Афганистан, во тьму. Неизвестные пешеходы сюда еще не подошли, они двигались тихо, их было совсем не слышно,— может быть, они

свернули с дороги или возвратились назад либо легли спать на землю. Чагатаев пошел им навстречу; он не ожидал увидеть ничего счастливого или удивительного, он знал, что пылить при лунном свете могли звери, вышедшие от бедствия из глубокой дельты Амударьи, чтобы дойти до дальних оазисов, до колхозов, чтобы там наесться мясом овец.

Но навстречу ему шли люди. Чагатаев прилег в стороне от дороги и увидел их всех. Районный уполномоченный Нур-Мухаммед вел за руку слепого Моллу Черкезова; позади их шла мать Чагатаева и перебирала маленькими ногами Айдым. Далее были другие люди, и среди них старый Суфьян, бормочущий Назар-Шакир, его жена, которую он любил, как единственный дар своей жизни, затем Дурды рядом с женой — всего человек четырнадцать, может быть — восемнадцать. Остальной народ, наверно, не мог проснуться или потерял силу и желание передвигаться.

Гюльчатай несла завернутые в плащ своего сына корни камыша на будущую пищу; Айдым волокла по земле за конец стебля связку съедобных трав; Назар-Шакир держал на голове большой сверток из одеял; Молла Черкезов левой рукой держался за Мухаммеда, а правой искал что-то в воздухе,— у всех их глаза были закрыты, они шли дремлющими, некоторые шептали или бормотали свои слова, привыкнув жить воображением. Один только Нур-Мухаммед глядел вперед открытыми глазами, сознавая ясно весь мир. Он курил травяную крошку, свернутую в высушенный лист болотного тростника, и молчал.

Чагатаев вышел к Мухаммеду и спросил его: куда он ведет людей?

Нур-Мухаммед поздоровался с Чагатаевым и ответил:

— Какие люди?.. Их душа давно рассеялась, им все равно — живут они или нет.

Он продолжал идти. Чагатаев пошел рядом с ним. Мухаммед улыбнулся про себя и посмотрел в сторону: даже во тьме окружающая природа была жалка и ненавистна ему, а позади его шли почти несуществующие люди.

Дорога окружала небольшой курган, на котором только что был Чагатаев. Он с новой мыслью поглядел на этот земляной холм, под которым тоже лежал какой-нибудь небольшой народ, перемешав свои кости, потеряв свое имя и тело, чтобы не привлекать больше к себе никаких мучителей. Рабский труд, измождение, эксплуатация никогда не занимают одну лишь физическую силу, одни руки, нет — и весь разум и сердце также, и душа выедается первой, затем опадает и тело, и тогда человек прячется в смерть, уходит в землю, как в крепость и убежище, не поняв, что жил с пустыми жилами, отвлеченный и отученный от своего житейского интереса, с головою, которая привыкла лишь верить, видеть сны и воображать недействительное. Неужели и его народ джан ляжет вскоре где-нибудь

вблизи и ветер покроет его землей, а память забудет, потому что народ не успел ничего воздвигнуть из камня или железа, не выдумал вечной красоты,— он лишь копал землю в каналах, но течение воды вновь их заносило, и народ опять рыл наносы и выкидывал лишний грунт из воды, а затем мутный поток осаживал новый ил и опять бесследно покрывал их труд.

— А где остальные — они спят? — спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

— Нет, они отстали, но идут за нами по следу; потом дойдут.

Айдым, бывшая близко около передних людей, упала во сне и осталась лежать. Чагатаев услышал это и оглянулся; позади лежали еще два тела заснувших людей.

— Пусть! — сказал ему Мухаммед.— Потом очнутся и догонят.

Но Чагатаев взял Айдым на руки и понес ее. Она спала и не дрожала от лихорадки, наверно, болезнь ее оставила. Несмотря на травяную еду, на болезнь, тело ее не было худым, оно забирало в себя все полезное даже из сухих тростей камыша и было приспособлено жить долго и счастливо.

— Куда ты их ведешь? — спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

— В Сары-Камыш, на родину,— ответил Нур,— где они раньше жили.

— Зачем?

— Пусть движутся куда-нибудь... Я их веду дальней дорогой — кругом разливов. Кто ходит — тому всегда легче.

— А больные? — спросил Чагатаев.

— Они тоже идут понемногу. От дороги они выздоровеют — мы оставили болота, и лихорадки не будет.

Чагатаев не верил доброму намерению Мухаммеда. Он не знал даже, почувствуют ли больные здоровье, если их разум так давно отвлекся от своего интереса и сердце привыкло томиться. По той же причине они и болезнь и страданье переносили безмолвно и бесчувственно, как будто это было не их делом. Чагатаев отстал от Мухаммеда, чтобы поглядеть на свою мать. Айдым покойно спала на его руках; Гюльчатай открыла глаза, когда к ней подошел Назар, и ничего ему не сказала; за ее руку держался слепой Молла Черкезов, слабый и блаженный. Мать рассеянно глядела на сына, которого она знала, но не помнила, если его не видела вблизи. Назар продолжал смотреть на мать, и она отвела свои глаза от него, потому что ей стыдно было жить перед сыном, будучи слабой и несчастной; она хотела бы любить его своей прежней, забытой силой, но сейчас не могла, сейчас в ней хватало сердца только для своего дыхания, и ей нравился красноармейский шлем на сыне, она думала, что надо взять его себе в подарок, чтобы согревать в нем свою голову во сне.

Позже бредущий народ встретил на своей дороге сухой, теплый песок и лег в него дремать до утра. Чагатаеву спать не хотелось; он уложил Айдым между матерью и Моллой Черкезовым и остался один, не зная, как ему пробыть до утра. И он, то скучая, то улыбаясь, бормотал про себя слова, проживая жизнь как ненужную.

10

К утру подошли те, кто вчера упал на дороге или отстал от слабости, и все опять пошли вслед за Нур-Мухаммедом. Айдым теперь шла сама и даже смеялась с Чагатаевым. Он пробовал ее лоб,— жара в ней не было, хотя ей достаточно, чтобы температура упала на полградуса, и тогда она снова становилась живой и резвой. В полдень старый Суфьян увел Чагатаева в сторону от сухой дороги. Он сказал ему, что близ амударьинских протоков еще можно встретить иногда две-три старых овцы, которые живут одни и уже забыли человека, но, увидя его, вспоминают давних пастухов и бегут к нему. Эти овцы случайно выжили или остались от огромных одичалых стад, которые баи хотели угнать в Афганистан, но не успели. И овцы прожили вместе с пастушьими собаками несколько лет; собаки их стали есть, потом подохли или разбежались от тоски, а овцы остались одни и постепенно умирали от старости, от зверей, заблудившись в песках без воды. Но редкие из них выжили и теперь бродили, дрожа, друг около друга, боясь остаться в одиночку. Они ходили большими кругами по бедной степи, не сбиваясь в сторону со своей круговой дороги; в этом был их жизненный разум, потому что съеденные и затоптанные былинки травы вновь зарождались, пока овцы миновали остальной свой путь и возвращались на прежнее место. Суфьян знал четыре такие кочевые травостойные круга, по которым ходили до своей смерти остаточные овцы от одичавших, вымерших стад. Одно из этих кочевых колец пролегало невдалеке, почти на пересечении той дороги, по которой народ джан шел теперь в Сары-Камыш.

Суфьян и Чагатаев дошли до малой влажной впадины в песке и остановились. Суфьян разрыл руками песок в глубине, он там был мокрый; старик сказал, что овцы разгребают передними ногами землю и затем жуют сырой песок, утоляя жажду,— здесь и надо ожидать овец; он знал время, в которое они обходят весь свой круговой путь, и высчитал, что срок их пришел явиться сюда; прошлый год он ходил вслед за овечьим стадом и доходил до здешнего места. Овец в стаде тогда было около сорока голов, из них Суфьян съел шесть, семеро овец пали по пути, а остальные ушли дальше.

Нур-Мухаммед подвел народ тоже сюда, где ожидали овец Чагатаев с Суфьяном, и все легли и задремали около овечьей тропинки, где овцы в прошлом году жевали сырой песок. Все

люди снова спали, хотя до вечера еще было далеко и с утра немного прожито времени. Чагатаев один ходил между спящими и боялся, что больше никто не проснется; ему скучно было томиться в одном себе своими мыслями и воспоминаниями. Он подошел к Айдым,— она спала со сладко слипшимися веками глаз, с улыбкой беспамятства или сновидения. Не имея радости в действительности, она получала ее в своем чувстве и представлении, закрыв глаза. Молла Черкезов спрятал голову в грудь матери Чагатаева, прижался к ней и спал в любви и тепле, не помня, что он слепой. Нур-Мухаммед лежал в стороне; он шевелился на земле и шептал что-то.

— Ты что здесь думаешь? — спросил его Чагатаев.

— Больше сорока человек осталось,— произнес Мухаммед.— Много еще!

Он считал народ — сколько его умерло, сколько еще живо.

Чагатаев потолкал Суфьяна: старик не спал, он только держал закрытыми глаза, точно берег зрение и не желал рассеиваться душой среди впечатлений видимого дневного мира. Чагатаев сказал ему, что у него умерла в Москве жена, но Суфьян не разделил его горя, он промолчал, а затем сказал, чтобы Чагатаев пошел встретить овец — они могут найти влажный песок в другом месте и пройти стороною от лежащего народа.

Гюльчатай проснулась. Она теперь сидела, держа на коленях голову спящего Моллы Черкезова. Чагатаев пошел к матери, чтобы поговорить с ней, но ничего ей не сказал. Он сам догадался, что обращается к старику и к матери лишь для того, чтобы услышать от них утешение и прожить дальше. Но разве в том его существование, чтобы беречь себя здесь в душевном покое, в сожалении близких людей!.. Он зря не написал открытку Ксене — оттуда, где была почта,— чтобы она пошла в ЦК, если ей плохо будет жить без матери, когда он, ее отец, находится далеко и, может, не вернется для помощи.

Чагатаев погладил простоволосую голову Гюльчатай и надел ей красноармейский шлем, потому что от сильного солнца у матери должна болеть голова. Мать сняла шлем и спрятала его под себя; она верила в имущество и берегла его — от этого у нее и сейчас была кофта раздута, внутри ее на голом теле лежали различные вещи, ее собственность, согревающая ей грудь. Вблизи матери лежала киргизка лицом в песок. Она спала и вскрикивала во сне детским голосом, закатываясь иногда в младенческом плаче и затем опять отходя к спокойствию и к ровному дыханию. Чагатаев приподнял ее лицо за виски и увидел, что это была пожилая женщина, и рот ее не открывался, когда она закатывалась в детском обмирающем крике. Казалось, внутри ее плакал ребенок, невинный другой человек, и он настолько был одинок и чужд для нее, что даже не будил ее ото сна,— или это плакала ее действительная, детская душа, неизменная и еще не жившая.

Чагатаев опустил голову женщины обратно на землю и пошел навстречу блуждающим овцам. Сначала он шел обыкновенно, но потом, когда день стал покрываться ночью, он побежал скорее вперед, чтобы не пропустить овец во тьме. Изредка он останавливался и дышал для отдыха, но потом опять спешил. Когда стало совсем темно, Чагатаев бежал низко согнувшись, чтобы видеть немного редкие былинки травы и касаться их руками,— это было направление, где могли ходить овцы; иначе он мог бы сбиться в сторону, попасть в голодные пески и не заметить бредущих овец.

Он бежал долго по пустой овечьей дороге. Наступила, может быть, полночь или позже. От усталости и горя, которого он не сознавал, но оно все равно самостоятельно томило его сердце, от прохладного, слабого ветра Чагатаев потерял память на ходу,— он заснул, упал и не мог подняться. Он спал глубоко, один в пустыне, в бедной тишине, где нечему шевелиться. Черные стебли небольшой травы редко, как сироты, стояли вокруг спящего, точно жалея, что он встанет и уйдет, а им придется быть здесь опять одним.

На рассвете Чагатаев открыл глаза, его сознание чуть засветилось и опять погасло, он снова заснул, чувствуя тепло и забвение. Две овцы лежали по бокам Чагатаева и согревали его своим теплом. Другие овцы стояли вокруг в ожидании, когда человек поднимет лицо. Их было голов сорок, они давно соскучились по пастуху и теперь нашли его. Старый баран время от времени подходил к лежащему Чагатаеву и осторожно лизал его шею и волосы на затылке, баран любил запах и соленый пот человека, но давно его не пробовал. Баран поворачивался туловищем во все стороны, желая увидеть собаку пастуха, но ее не было. Он устал водить овец, мирить их на водопое, сторожить по ночам от одинокого зверя — он помнил прежнее доброе время, когда пастух и его собаки управлялись со всеми заботами, а ему приходилось только покрывать овец и спать среди них без ума, в утомлении. Теперь же он стал умным, худым и несчастным, а овцы ненавидели его за слабость сил и за равнодушие к ним и тоже вспоминали пастухов и собак, хотя собаки, устанавливая порядок среди них на водопое, рвали иногда клочья из их шерсти, которую они с трудом нажили в пустынной траве. Баран жил обиженно, он хотел стать собакой и даже пытался рвать ртом шерсть на овцах, захватывая ее беззубыми деснами.

Проснувшись, Чагатаев погнал овечью отару к своему народу и дошел до него к вечеру. Народ дремал по-прежнему, одна Айдым играла в песок, проводя в нем реки и дороги. Чагатаев разбудил людей и велел им идти собирать саксаульник и мертвую сухую траву, чтобы зажечь огонь и сварить овечье мясо на пищу. Суфьян с охотой стал резать под горло овец и первым отпивал кровь из горловых жил, а потом нацеживал

ее в миску и давал пить другим, кто хотел. Очередные живые овцы стояли возле и внимательно глядели на убийство, не беспокоясь о себе, точно жизнь для них не имела преимущества. Баран же находился в отдалении, среди отары уцелевших овец, и подымал голову, чтобы лучше видеть действия Суфьяна. Когда осталось в живых лишь тридцать овец и четыре костра уже горело на становище, а многие овцы лежали голыми тушами, с худыми ляжками, с отверстиями в своих телах, полными крови и смертной жидкости,— баран закричал и повернул голову в пустое направление степи. Он давно жил среди овец и бывал как муж внутри тех мертвых, которые теперь лежали,— он знал худобу их костей и теплоту цельного, смирного тела.

Чагатаев не велел резать больше десяти голов, остальные пусть живут на племя и на питание в будущее время. Баран остался цел, он отошел и лег вдалеке, и к нему подобрались все живые овцы. Худые и опытные от дикой жизни, они сейчас издали походили на собак.

Туши начали запекать на кострах целиком, без разделки на части, и, обжаривши их, клали в сторону на песок. Затем началась еда. Люди ели мясо без жадности и наслаждения, выщипывая по небольшому куску и разжевывая его слабым, отвыкшим ртом. Лишь один Нур-Мухаммед ел много и быстро, он отрывал себе мясо пластами и поглощал его, потом, наевшись, глодал кости до полной их чистоты и высасывал мозг изнутри, а в конце еды облизал себе пальцы и лег на левый бок спать для пищеварения. Женатые отошли спать в сторону со своими женами. Молла Черкезов тоже увел далеко мать Назара, одинокие же и сироты остались вокруг потухших костров — они настолько ослабели и так глубоко уснули, словно съеденная ими пища сама в отомщение изнутри поела их силы и они были побеждены ею.

Ночью Чагатаев ходил по становищу, он сосчитал живых овец с одним бараном, собрал овечьи шкуры и головы в общее место и стал смотреть в ночную мглу: что там делает сейчас Ксеня — далеко за этой тьмой, в электрическом свете Москвы; и где лежит мертвая Вера, что там осталось в земле от ее робкого большого тела... Чагатаев пошел мимо спящих; народ лежал на песке непокрытый, как будто он был целиком перебит и не оставил себе могильщиков. Но некоторые мужья и жены шевелились, любя друг друга. Молла Черкезов тоже лежал с Гюльчатай. Чагатаев увидел это и заплакал. Он не знал, что ему делать здесь сейчас, чтобы научить этот небольшой народ социализму. Он уже не мог его оставить одного умирать, потому что его самого, брошенного матерью в пустыне, взял к себе пастух и советская власть и неизвестный человек прокормил и сберег его для жизни и развития.

Больные и слабые дремали в жару. Двое из них уснули с овечьими костями в руках, которые они обсасывали перед сном,

чтобы набраться сил. Чагатаев сходил в песчаную влажную яму, разгреб песок и образовал маленький колодезь; когда в него собралась вода, он пошел к больным, разбудил их и дал каждому по хинному порошку, а затем сбегал несколько раз к песчаному колодцу и принес воды в пригоршне, чтобы дать запить лекарство.

Стало уже поздно. Чагатаев озяб, прилег к одному наиболее горячему больному, желая согреться об его тело, и уснул. Наутро баран и все овцы исчезли. Судя по следам, они ушли в открытые пески, оставив свою обычную кормовую дорогу.

11

Суфьян сделал расчет в уме и сказал, что эти овцы неминуемо возвратятся на свою кормовую дорогу либо набредут на другую, что проходит далее, через Каракумы, большой окружностью. Но обе эти кочевые дороги выходят на грязные озера Сары-Камыша, невдалеке от которых находится родина всего народа джан, и овцы рано или поздно выйдут на Сары-Камыш во впадину вечной тени и увидят темные горы Усть-Урта, где многими, кто здесь находится, была прожита вся жизнь. Нур-Мухаммед согласился с Суфьяном.

— Мы пойдем за ними,— сказал он.— Мы будем пить их кровь и есть их мясо. Через семь или восемь дней мы дойдем до Сары-Камыша... Кто-нибудь умер сегодня ночью? — спросил Нур-Мухаммед.

Ему ответили, что умерла одна старуха каракалпачка, и Нур-Мухаммед с тщательностью сделал отметку в своей записной книжке. Чагатаев не помнил этой старухи и не видел ее — она ночевала одна, уйдя далеко от общего стана, и там умерла спокойно.

Народ пошел длинной чередою по следу бежавших овец. Больные и слабые шли позади и часто садились на отдых, отпивая воду из домашних бурдюков. Чагатаев шел позади всех, чтобы никто не пропал и не умер незаметно. Животные, вероятно, бежали быстро; это разгадал Суфьян по виду овечьих следов, и так же думал Чагатаев. Он выходил на высокие барханы и до последнего горизонта не замечал даже самого слабого облака пыли от движения стада — овцы ушли слишком далеко.

Старая хивинская рабыня-туркменка дала Чагатаеву тряпку, отодрав ее от своего подола, и Чагатаев повязал себе голову, страдая от солнца. Народ шел терпеливо; Айдым выздоровела вовсе и повеселела — для нее, ничего не знавшей, здесь было достаточно предметов для всех чувств и впечатлений. Когда она уставала, Чагатаев брал ее на руки, и она могла спать у него на плече, вскрикивая иногда и бормоча свои страшные сны. Но какое сновидение питало сознание всего этого бреду-

щего народа, если он мог терпеть свою судьбу? Истиной он жить не мог, он бы умер сразу от печали, если бы знал истину про себя. Однако люди живут от рождения, а не от ума и истины, и пока бьется их сердце, оно срабатывает и раздробляет их отчаяние и само разрушается, теряя в терпении и работе свое вещество.

До поздней и дальней ночи народ не догнал овец. Наутро Нур-Мухаммед опять спросил — кто умер за ночь или все остались живы? Умер только мальчик у одной матери, и Мухаммед с удовлетворением сделал вычитание погибшей души в своей записной книжке. Теперь в народе осталось всего двое детей — Айдым и еще небольшая девочка, рожденная случайно года три назад, когда в народ пришел какой-то человек из песков и, пожив с полгода, ушел дальше, оставив свою плоть в Гюзель, вдове разбойника из района Старого Ургенча.

На второй день народ увидел две овцы, лежавшие на дороге; они ослабели в бегстве и болезни и теперь умирали. Их поредевшая шерсть слиплась от лихорадочного пота, худощавые морды глядели злобно и дико — они теперь походили на шакалов,— а в хвостах у них не осталось никакого жира. Овец сразу убили, чтобы застать их еще живыми, и съели, не разводя огня, а кости разделили и унесли с собою на ужин. В следующие два дня не было другой пищи, кроме редких травяных былинок, вода же встретилась два раза в такырных ямах.

Народ двигался теперь только вечером и утром, а днем от слабости и жары закапывался в песок и спал. Нур-Мухаммед ежедневно отмечал умерших, а Чагатаев проверял их смерть, прислушиваясь к сердцу и наблюдая глаза, потому что однажды Суфьян и еще другой старик, ферганский раб Ораз Бабаев, притворились мертвыми. Но Чагатаев расслышал сквозь кости их глухое, далекое сердце, поднял на ноги и велел жить дальше.

— Зачем вы хотели умереть? — спросил их Чагатаев.

— У нас душа занемела от жизни,— сказал Суфьян,— кости ссохлись и согнулись, жилы сморщились: они потянуться захотели, пускай их дождь помочит, ветер посушит, черви пожуют, а то я им мешаю...

Ораз Бабаев стоял без ума, пусто глядя на Чагатаева, и не мог вначале ничего сказать; он, наверно, все равно считал себя умершим.

— Нам не живется,— сообщил он вслух,— мы каждый день пробовали.

— Ничего, мы вместе научимся,— сказал им Чагатаев.

— Немного потерпим,— согласился Суфьян,— а потом нечаянно все помрем.

Русский старик, по имени Старый Ванька, подошел к Суфьяну, попробовал его горло, разверз веки и заглянул внутрь каждого его глаза, потом ощупал ему ребра и сказал тогда:

— Чего ты! Только заматерел, а уж помираешь! Терпи: поживем, побьемся, да и меду в кадушках дождемся — с толстым ломтем подойдем да макнем...

Русский отошел, улыбаясь. Почти ежедневно, в течение шестидесяти лет, жизнь его должна окончиться, но он ни разу еще не умер и теперь разуверился в силе смерти и всякой беды, живя спокойно и равнодушно, как счастливый и бессмертный. Чагатаев знал, что Старый Ванька некогда — лет тридцать тому назад — прибежал сюда из сибирской каторги, прижился к неродному народу и жил себе одинаково со всеми, не помня больше дороги в Россию.

Ночью пошел пустынный темный ветер, песок тоже побрел за тем ветром и постепенно закрыл навсегда овечьи следы. Чагатаев понял здесь жизнь. Рано утром он отошел от спящих и дремлющих, когда понял, что овечье стадо ушло теперь вовсе, идти за ним стало бессмысленно и ослабевший народ очутился среди пустыни, без еды и без помощи — у него не хватит сил достигнуть Сары-Камыша и он уже не сможет вернуться назад, в разливы Амударьи.

Утренний странный ветер дул Чагатаеву в лицо, песчаная поземка кружилась в подножье человека и стонала, как русская вьюга за ставнями избушки. Иногда же слышался жалобный звук жалейки, иногда играла гармония, дальняя труба или, чаще всего, бедная глухая дутара. Это пели пески, мучимые ветром, когда одна песчинка истиралась о другую. Чагатаев лег на землю, чтобы задуматься о дальнейшей своей работе; не для того его послали сюда, чтобы он умер здесь сам и оставил своему народу его смертную участь... Он попробовал рукою свое лицо; оно обросло волосами, в голове завелись вши, немытое худое тело скорбело от запустения. Чагатаев подумал о себе как о жалком, скучном человеке. Кто его помнил сейчас, кроме Ксени? Но и та, наверно, уже стала забывать: юность сейчас слишком воодушевлена своими счастливыми задачами. Чагатаев уснул в беспокойном песке, отдельно и довольно далеко от всех непроснувшихся людей. Все в нем замерло, глубоко и надолго, затаилось внутри тела, отжило на время, чтобы не умереть совсем. Он проснулся во тьме, полузасыпанный песком; ветер все еще дул, и была уже новая ночь. Он проспал весь день. Чагатаев пошел на общее становище; народа там не было. Все люди давно проснулись и ушли дальше, скорее от смерти. Лежал только один Назар-Шакир, потому что он умер и теперь открыл рот, в котором говорили теперь что-то ветер и песок. Чагатаев, набредя на мертвого, долго ощупывал его и проверял действительность смерти, потом закрыл всего человека песком, чтобы он стал никому не заметен.

Чагатаев шел всю ночь; иногда он, наклонившись, видел следы прошедшего народа, иногда, когда следы уже стравил ветер, шел по чувству.

Утром Чагатаев заметил по местности, что здесь должна быть вода, и он нашел заглушенный колодец, забитый песком. Назар дорылся руками до влажной глубины и начал жевать песок, но сплевывать приходилось больше, чем получать внутрь; тогда он стал глотать мокрый песок целиком, и мученье жажды оставило его. В следующие четыре дня Чагатаев старался идти вперед по пустыне, но от слабости уходил недалеко и вновь возвращался на мокрый песок, чтобы, изнемогая от голода, не умереть от жажды. На пятый день он остался на месте, решив набраться сил в дремоте и беспамятстве, а затем догнать свой народ. Он съел два оставшиеся у него хинных порошка и разные карманные крошки, отчего ему стало лучше. Он понимал, что народ его близко, он тоже не имел сил уйти от него далеко, только неизвестно было направление его пути. Чагатаев представлял себе, с каким тайным удовольствием Нур-Мухаммед поставил отметку в своей записной книжке о его смерти. Он улыбнулся своей старой мысли: почему люди держат расчет на горе, на гибель, когда счастье столь же неизбежно и часто доступней отчаяния... Чагатаев зарылся от солнца во влажный песок и пытался впасть в беспамятство для отдыха и для экономии жизни, но не умел и все время думал, жил понемногу и смотрел в небо, где слабым туманом шел жаркий ветер с юго-востока и было так пусто, что не верилось в существование твердого, настоящего мира.

Отлежавшись, Чагатаев пополз к ближнему бархану, где он заметил задутый наполовину песком куст перекати-поля. Он добрался до него, отломил несколько высохших ветвей и сжевал их, а оставшийся куст вырыл из песка и отпустил бродить по ветру. Куст покатился и вскоре исчез за барханами, направляясь куда-то в дальнюю землю. Затем Чагатаев поползал еще по окрестности в несколько шагов и нашел в мелких песчаных могилах весенние засохшие былинки травы, которые он также проглотил, без различия. Скатившись с бархана, он заснул у его подножия, и во сне на его слабое сознание напали разные воспоминания, бесцельные забытые впечатления, воображение скучных лиц, виденных когда-то, однажды,— вся прожитая жизнь вдруг повернулась назад и напала на Чагатаева. [Чагатаев следил за ним беспомощно и не умел теперь забыть его.] Раньше он думал, что большинство ничтожных и даже важных событий его жизни забыты навсегда, закрыты навечно последующими крупными фактами,— сейчас он понял, что в нем все цело, неуничтожимо и сохранно, как драгоценность, как добро хищного нищего, который бережет ненужное и брошенное другими. Бедный и пожилой человек не исчез из сознания, он все еще бормотал что-то, прося или жалуясь (наверное, он давно умер в действительности), но вот подруга Веры, еле виденная им когда-то, склонилась над Чагатаевым и не уходила, она надоедала, и она мучила собою дремлющего в пустыне человека,

и за нею, на глиняном дувале, дрожали тени от серебристой ветви, росшей некогда на солнце — может быть, в Чарджуе, может быть, еще где-нибудь. И еще многие, едкие вечные пустяки в виде сгнившего дерева, почтового отделения в поселке, безлюдной стонущей горы на полуденном солнце, звука пропавшего ветра и нежных объятий с Верой, все это энергично вошло в Чагатаева одновременно и жило в нем неподвижно и настойчиво, хотя в истине, в прошлом, это были текущие, быстро исчезающие факты. В нем же они теперь существовали гораздо более резко и яростно, гораздо навязчивей, чем на правде. В действительности эти предметы жили кротко и не проявляли своего значения, не делали больно совести и чувству человека. Но сейчас они набились толпою в голову Чагатаева, и если от них можно было спасаться в настоящей жизни, хотя бы потому, что время проходит, то здесь события никуда не проходили, а продолжали быть постоянно и своей повторяющейся деятельностью точили и протирали кости черепа Чагатаева. Он хотел закричать, но у него не было достаточной силы. Он подумал заплакать, но испугался терять влагу, чтобы не есть потом мокрый жесткий песок. Он прислушался — не звучат ли вдали редкие, капающие, гулкие звуки — за черным мертвым горизонтом, из той темной свободной ночи, где без остатка поглощается последний солнечный свет, как река, впавшая в песчаную пустыню. Он слышал иногда те звуки дальней природы, не зная их причины и полного значения.

Чагатаев поднялся на ноги, чтобы избавиться от сна и от всего мира, застрявшего в его голове, как колючий кустарник; сон сошел с него, но вся страшная теснота воспоминаний и мыслей осталась живому наяву. Он увидел что-то на соседнем бархане — животное или кибитку, но не успел понять, что именно, и упал обратно от слабости. И то, что было на соседнем бархане — животное, или кибитка, или машина,— сейчас же вошло в сознание Чагатаева и начало томить его своей неотвязностью, хотя оно и не было понято и не имело даже имени. Это новое явление, сложившись со всеми прежними, осилило здоровье Чагатаева, и он впал в беспамятство, спасая свою душу.

Проснулся он на другой день в раннее время. Ветер ушел без остатка, всюду стояла робкая тишина, настолько пустая и слабая, что в нее внезапно могла ворваться буря. Тень ночи ушла в высоту и лежала там над миром, выше дневного света. Чагатаев теперь был здоров, ум его прояснился и думал попрежнему о своих задачах; слабость сил не оставила его, но уже не мучила. Он предвидел, что ему, вероятно, здесь придется умереть и народ его также потеряется трупами в пустыне. Чагатаев не жалел о самом себе: большой народ жив, и он все равно исполнит всеобщее счастье несчастных; но плохо,

что народ джан, изо всех народов Советского Союза наиболее нуждающийся в жизни и в счастье, будет мертв.

— Не будет! — прошептал Чагатаев.

Он стал подыматься, нажимая всем сердцем на свои дрожащие руки, упертые в песок, но сейчас же лег обратно, навзничь: позади его, со стороны затылка, кто-то находился; Чагатаев услышал быстрые, отступающие шаги какого-то существа.

Чагатаев закрыл глаза и взял в кармане рукоятку револьвера в руку; он только боялся, что теперь плохо справится со своим тяжелым оружием, потому что в руке осталась лишь младенческая сила. Он лежал долго, не шевелясь ничем, притворяясь умершим. Он знал многих зверей и птиц, которые поедают мертвых людей в степи. Наверно, позади народа — в невидимом отдалении — все время молча шли дикие звери и съедали павших людей. Овцы, народ и звери — тройное шествие двигалось в очередь по пустыне. Но овцы, теряя травяную полосу, иногда начинают идти за блуждающей травой перекати-поле, которую гонит ветер, и поэтому ветер является всеобщей ведущей силой — от травы до человека. Наверно, надо было идти по ветру, чтобы догнать овец, но Нур-Мухаммед ничего не знает, а Суфьян соскучился жить и больше не думает.

Чагатаеву хотелось сразу вскочить, выстрелить в зверя, убить его и съесть, однако он боялся, что промахнется от слабости и навсегда распугает от себя зверей. Он решил допустить зверя до самого своего тела и убить его в упор.

Легкие, осторожные шаги все время раздавались позади головы Чагатаева, то приближаясь, то удаляясь. Сократив дыхание, Назар ждал, когда бросится на него крадущееся существо, еще не уверенное в его смерти. Он беспокоился лишь, чтоб зверь не впился сразу ему в горло или, получив рану, не убежал далеко. Шаги послышались теперь рядом с головой. Чагатаев потащил немного револьвер из кармана наружу, уже чувствуя в себе хорошую силу, собранную изо всех остатков жизни. Но шаги прошли мимо его тела и удалились. Назар приоткрыл глаза; дальше его ног медленно шли две большие птицы, отдаляясь от него на противоположный бархан. Чагатаев никогда не видел таких птиц, они походили одновременно и на степных орлов-стервятников, и на диких темных лебедей; клювы их были как у стервятников, но толстая, могучая шея длиннее, чем у орлов, а прочные ноги высоко носили нежное, воздушное лебединое туловище. Сложенные черные крылья у одной птицы были сплошного серого цвета, а у другой — с красными, синими и серыми перьями; это, вероятно, самка; брюхо обеих птиц было выпушено белым, снежным пухом — Чагатаев заметил даже сбоку у самки мелкие черные точки; это блохи впились в живот птицы сквозь пух. Обе птицы чем-то походили на огромных

птенцов, которые еще не привыкли жить в своем теле и двигались с осторожностью.

День стал жарким и заунывным, по песку закручивались мелкие смерчи, вечер еще высоко стоял на небе, над светом и теплом. Две птицы взошли на бархан против Чагатаева и сразу оглянулись на него дальновидными, разумными глазами. Чагатаев следил за птицами из-под неплотно закрытых век, он разглядел даже серый редкий цвет их глаз, глядевших на него с мыслью и вниманием. Самка почистила клюв о когти ног и выплюнула изо рта какой-то давний объедок, может быть, остаток расклеванного Назар-Шакира. Самец поднялся в воздух, а самка осталась на месте. Громадная птица низко полетела в сторону, затем несколькими прыжками на крыльях взлетела в высоту и сразу стала падать оттуда. Чагатаев почувствовал ветер в лицо прежде, чем птица достигла его. Он увидел над своим лицом ее белую, чистую грудь и серые расчетливо-ясные глаза, не злые, а думающие, потому что птица уже заметила, что человек жив и видит ее. Чагатаев вынул револьвер, обеими руками поднял его в воздух и ударил из него в падающую ему на голову птицу. Среди груди мчащейся птицы, в белом ее пуху, задуваемом скоростью полета, появилось темное пятно, и вслед за тем мгновенный ветер вырвал весь пух в клочья вокруг черного места попадания, а тело орла на краткое время задержалось в воздухе неподвижно.

Птица закрыла серые глаза, потом они открылись у нее сами, но уже ничего не видели,— она умерла. Она лежала на теле Чагатаева в том же положении, в каком падала: своею грудью на груди человека, головой на его голове, уткнувшись клювом в густые волосы Назара, широко распустив черные беспомощные крылья по сторонам, и ее вырванные перья и пух осыпали Чагатаева. Сам Чагатаев потерял память от удара тяжестью орла, но ранен он не был; птица лишь оглушила его, опасная скорость ее падения была заторможена встречной, пронзающей пулей... Чагатаев вскочил и сел от резкой боли: вторая птица, самка, рванула клювом его правую ногу, взяв оттуда немного мяса, и сейчас же взлетела в воздух. Чагатаев, держа револьвер обеими руками, дважды выстрелил по ней, но не попал; огромная птица исчезла за барханами, потом он разглядел ее летящей на большой высоте.

Мертвого орла уже не было на Чагатаеве, он лежал в ногах Назара на песке; его, должно быть, стащила самка, желая убедиться, что он погиб, и прощаясь с ним.

Чагатаев подполз к убитой птице и начал есть ее горло, выщипывая оттуда перья. Орлица все еще была видна, но она уже достигла той высоты неба, где даже в полдень стоит тень ночи, сумрак заката и рассвета, и Чагатаеву казалось, что она оттуда уже не возвратится, что там есть своя воздушная счастливая страна улетевших птиц.

Наевшись немного, Чагатаев перевязал ногу мертвой птицы своим поясным ремнем, а другой конец ремня продел себе в глубину штанов — тогда он услышит, если какой-нибудь хищник захочет украсть орла. Потом Чагатаев полечил слюнями рваную ранку на своей ноге, закрыл ее материей и скорее улегся, чтобы приобрести крепость сил.

12

Гюльчатай не жалела о сыне, она забыла его. Согнувшись, она шла следом за другими и трогала руками песок, когда ей казалось, что в нем лежат какие-то вещи. Молла Черкезов держался за одежду Гюльчатай, все время стараясь помнить, что он живой. Нур-Мухаммед, отчаявшись сердцем, взял на руки Айдым; он предполагал воспитать, откормить эту девочку и воспользоваться ею как женой, а потом продать другому. Его мучило, что слишком мало женщин в народе джан и те, кто были еще живыми, уже стали ветхими,— надежна только одна Айдым, потому что она еще мала. Женщины ценятся дороже мужчин, они служат одновременно и для работы и для утешения, но мужчин тоже можно продать хорошо, если они не перемрут за долгий путь.

В то утро, когда Чагатаева не оказалось на общем становище, Нур-Мухаммед улыбнулся и сделал тщательную отметку в своей книжке об его исчезновении, собирая на всякий случай сведения для составления отчета о командировке. Он решил, что Чагатаев убежал спасаться один, как всякий живой и малодушный, и Нур-Мухаммеду стало лучше без него; люди теперь уже не спрашивали у Мухаммеда, скоро ли они дойдут до Сары-Камыша, и никогда не вспоминали о пище. Сам Нур-Мухаммед тоже мог пасть от слабости, но он еще держался старыми запасами своего тела, потому что много ел риса, мяса и фруктов, когда жил по оазисам и ходил тайно в Афганистан, к давно бежавшему хану Джунаиду.

Суфьян в тот день пошел по ветру, куда несутся вырванные, изжившие жизнь былинки травы и катится перекати-поле; он знал, что в этом направлении и пошли теперь овцы, раз ветер бесследно задул их кормовую тропинку, по которой изредка, оазисами, росла устойчивая трава. За Суфьяном пошли было остальные люди, но Нур-Мухаммед велел им идти в другую сторону — против ветра, на юго-восток. Он прижал к себе Айдым, чтобы ощутить зачатки ее женской груди, но почувствовал лишь ее тонкие ребра.

Нур-Мухаммед оглянулся на всех; ветер раскачивал народ, песчаная поземка била в ноги людей, погибшая трава влеклась навстречу пешеходам — эту траву под самый корень сжал ветер по всему песчаному безлюдью, где прошла его гребущая сила. Некоторые люди упали от ветра, другие шли во сне, разбре-

даясь в разные стороны, теряя друг друга в сумраке метущегося песка.

Нур-Мухаммед остановился.

Ветер дул со стороны юго-востока ровной гнетущей силой, как из машины. Народ рассеивался под ним и больше не слышал или не признавал голоса Нур-Мухаммеда, звавшего каждого по имени идти за ним вперед. Он сам еле дышал от терпения, от жажды и голода; здравый смысл его разума уже покрывался тенью равнодушия к своей судьбе. Раньше он предполагал увести весь этот ничтожный, ослабевший народ в Афганистан и продать его в рабство старым ханам, а самому прожить счастливо остальную жизнь в собственной, обильной домашним добром курганче, где-нибудь в афганской долине на берегу потока, тогда не надо будет быть членом профсоюза и кооперации, не надо сдерживать в молчании скопляющееся яростью сердце. Теперь Мухаммед, сбиваемый с ног песком и ветром, видел, что народ джан падает или разбредается в беспамятстве: тело каждого человека стало пустым и сердце постепенно вымерло. Они не дойдут до Афганистана, а дойдя туда, не сумеют быть даже последними батраками, потому что в них не осталось хотя бы слабого житейского интереса, который необходим и для раба.

Нур-Мухаммед стоял долго, пока весь народ не разошелся в сумраке ветра и не свалился там лежать — в смерти или во сне. Айдым укрылась около его горла и тихо дышала в своем забвении. Мухаммед бережно держал ее, а сам с наслаждением, не помня, что ему хочется пить и есть, следил за погибающим народом. Суфьян сел в песок и согнулся. Сгорбленная Гюльчатай давно лежала на земле, и слепой муж ее, Черкезов, укладывался за нею с подветренной стороны, точно ища удобства в супружеской постели. Худой нестарый каракалпак, по прозвищу Таган, снял с себя одежду — штаны и халат,— бросил их по ветру, а сам зарылся голым в песок и там остался, почти невидимый больше. Мухаммеду было хорошо, что в Советском Союзе теперь меньше жителей на целый народ,— пусть этот народ и не знал никто, а все-таки польза для государства уменьшилась, и работники, рывшие некогда целые реки для баев, теперь ничего не будут рыть, даже могилы для самих себя.

Нур-Мухаммед чувствовал сейчас не только удовольствие, но он даже слегка пошевеливался в некотором танце, видя в людях их последний песчаный сон. Он ценил теперь себя дороже, выше,— ему больше достанется добра в пустыне и на всей земле, потому что живых становится меньше. Неизвестно, получил бы он больше наслаждения, когда продал бы весь этот народ в рабство, или теперь, когда потерял его, когда в природе стало просторней, когда сразу закрылись рты наиболее алчных бедняков. Мухаммед решил уйти навсегда в Афгани-

стан и унести с собой Айдым, чтобы продать ее там и оправдать хоть немного свои убытки от работы в Советском Союзе.

Ветер вдруг сразу ослабел, и стало светлее повсюду. Нур-Мухаммед прижал к себе девочку с такой силой, что Айдым открыла глаза. Он пошел ласкать ее в уютное песчаное ущелье, соскучившись без счастья от чужого тела. Ни голод, ни долгое горе не могли уничтожить в нем необходимость мужской любви, она жила в нем неутомимо, жадно и самостоятельно, пробиваясь сквозь все жесткие беды и не делясь своей силой с его слабостью. Он мог бы обнимать женщину и зачинать детей, находясь в болезни, в безумии, за минуту до окончательной смерти.

Мухаммед нашел укромное место, положил девочку и лег рядом с нею. Айдым опять спала в забытье. Он снял с нее верхние нечистые тряпки одежды и увидел голое детское существо, столь незнакомое, что страсть его вначале не стала действовать. Айдым была мала, как пятилетняя, и кости ее были обтянуты бледно-синей пленкой, не имевшей никогда достаточной упитанности, чтобы превратиться в настоящую кожу. Однако сквозь эту пленку, почти непосредственно из костей скелета, уже прорастали женские груди и начинали опухать будущие материнские места, не считаясь с бедностью вещества в других частях тела. Наверное, Айдым было уже лет двенадцать или тринадцать, если ее покормить, на ней можно жениться.

Две большие птицы с темными крыльями низко пролетели над Мухаммедом и Айдым. Мухаммед проследил их полет и затем обнял девочку, потому что у него не было времени и лишней силы терпеть свою любовь. Айдым проснулась от боли. Она видела много раз, как взрослые спят и любят, знала это дело с точностью и теперь, догадавшись обо всем, стала повторять действия старых людей, как опытная женщина, что немного удивило Нур-Мухаммеда. Айдым молча смотрела на Мухаммеда любопытными глазами, полными слез от боли и терпения. Она словно ждала чего-то, что будет сейчас с нею, неизвестного или хорошего, но ничего не было, и ей стало неинтересно.

— Уходи! Лучше я буду одна,— сказала Айдым Мухаммеду, потому что она не узнала в любви никакой новой жизни.

Но Мухаммед не оставил ее, пока его чувство не получило наслаждения: без наслаждения он не мог существовать.

В пустыне смерклось, наступила ночь, и она прошла во тьме. Некоторые люди, павшие вчера по пескам от ветра, наутро поднялись и стали оглядываться в чистом свете, среди тишины другого дня.

Вблизи, за глухим барханом, раздался выстрел. Дремавший Суфьян сел и стал слушать. Айдым прибежала к нему от Мухаммеда, который спал вдали и не проснулся.

Народ был весь живой, но жизнь в нем держалась уже не

по его воле и была почти непосильна ему. Люди глядели перед собой, хотя и не сознавая ясно, как надо им пользоваться своим существованием; даже темные глаза теперь посветлели от равнодушия и не выражали ни внимания, ни силы собственного зрения, точно ослепшие или прожитые насквозь; только одна Айдым хотела быть живой, она не истратила еще детства и материнского запаса энергии, она смотрела в песок все еще блестящими глазами.

За барханом еще [стрельнули] два раза. Айдым пошла туда смотреть, но не нашла сразу места, где стреляли. Из других людей никто не пошел; они не боялись врага и не ожидали друга или помощника.

Айдым перешла четвертый бархан и увидела, что внизу его лежит спящий или мертвый человек, рядом с темной птицей. Девочка спустилась с песчаного откоса и узнала Чагатаева. Она попробовала руками его лицо, оно было теплое, изо рта шло дыхание.

— Спи! — сказала шепотом Айдым и прикрыла своими пальцами веки Чагатаева, чуть приоткрытые во сне.

Затем Айдым освободила убитую птицу от ремня, взяла ее за ногу и поволокла через пески к своему народу.

Все люди собрались вокруг птицы и глядели на нее без жадности, они отвыкли надеяться на еду. Тогда Айдым взяла нож из брошенных штанов Тагана и стала ощипывать птицу и резать ее на мелкие куски. Каждому, кто мог есть, она дала понемногу птичьего мяса, а сама высасывала кровь и сок из каждого куска, прежде чем отдать его. Народ поглотал эти куски, сглодал все кости без остатка и обсосал щипаные перья, но не наелся, а только разохотился; лучше б было ничего не есть и не тратить последнюю силу на жеванье и пищеваренье.

Айдым пошла опять к Чагатаеву. Народ, думая, что там есть еще битые мясные птицы, пошел следом за девочкой. Однако люди шли теперь слишком медленно, иные же ползли, помогая себе руками, в том числе ползла и еще помогала ползти Молле Черкезову мать Чагатаева. Некоторые же остались на месте, потому что у них уже не хватало силы нести свой скелет. Айдым, отойдя немного, подолгу ждала влекущихся за ней людей. И лишь к вечеру народ добрел до песчаного холма, за которым лежал Чагатаев. Все время, пока двигался народ, Айдым слышала трение и скрип костей внутри шевелящихся людей,— наверно, у них высох весь жир в суставах, и кости теперь мучились.

Нур-Мухаммед видел издали это движение народа, но оно его не интересовало. Он хотел сначала поискать в ближней округе какой-нибудь воды, хотя бы соленой, иначе он не дойдет до Хивинского оазиса. За Айдым он решил вернуться после, когда отыщет воду, чтобы и ее напоить, а потом уже вместе с нею он уйдет отсюда навеки в Афганистан.

13

Чагатаев заплакал от боли во сне и проснулся; он подумал, что боль ему приснилась и сейчас пройдет. Две темные птицы — одна прежняя самка, другая новый самец — отошли от него. Три раза они клевнули его тело сосущими клювами и до костей прорвали мясо на груди, колене и на плече. Отойдя немного, птицы остановились, повернули шеи и поглядели на Чагатаева — каждая птица одним глазом. Назар вынул револьвер и стал скорее стрелять в птиц, пока еще не вышло много крови из его ран и не пропала сила, собранная во сне. Птицы поднялись в воздух. Он успел стрельнуть в них два раза, и одна птица опустила крылья и села вниз, сразу подломив под себя ноги; потом она положила голову в песок и потянулась всем горлом как бы в надоевшей усталости; из горла птицы шла кровь и впитывалась в перья и ближний песок. В глазах птицы появилось равнодушие, и они задернулись серыми пленками. Другая птица ушла в высоту, закричала оттуда кратко и гулко, словно из пустого подземелья, и пропала в тумане солнечного света.

Из-за бархана показалась Айдым. Она пошла к убитой птице и поволокла ее за ногу мимо Чагатаева.

— Айдым! — позвал ее Назар.

Девочка подошла к Чагатаеву.

— Дай напиться! — попросил он.

Айдым подволокла мертвую птицу и, став на колени, приложила ее горло к губам Чагатаева и стала нажимать мокнущее горло, выдаивая оттуда кровь в рот Чагатаева.

— Ты лежи нарочно как мертвый,— сказала Айдым.— К тебе прилетят птицы, прибегут шакалы, ты их убивай, а мы будем кормиться...

— А где другие люди? — спросил Чагатаев.

— Там идут,— указала Айдым.

Чагатаев попросил ее, чтобы она принесла воды, если она есть, и промыла ему раны. Айдым осмотрела его раны, вынула из них шерсть от одежды, затем зализала их своим языком, зная, что слюна заживляет тело.

— Ничего: ты не умрешь, раны ведь маленькие,— сказала она.— Лежи опять смирно, а то птицы больше не прилетят...

Айдым поволокла птицу за песчаный холм, где ее народ образовал свое новое становище в тишине глубокой впадины. Птицу съели сразу же, и если те далекие люди, которые едят каждый день, не почувствовали бы никакого утоления голода, съев тот маленький щипаный кусок птичьего мяса, какой дала Айдым каждому, то здесь человек большого голода почти наелся этой ничтожной пищей,— во всяком случае, его тело получило надежду и утешение.

Стало опять темно. Суфьян разрыл руками песок до влажного горизонта и начал жевать его от жажды. Некоторые люди

увидели действия Суфьяна, подошли к нему и разделили с ним ужин из песка и воды. Нур-Мухаммед боялся холода и на ночь пришел к народу, чтобы лежать где-нибудь в его тесноте и согреваться.

Рано утром Мухаммед разбудил Айдым, взял ее на руки и пошел с ней навсегда в Афганистан.

Чагатаев по-прежнему лежал и сторожил птиц. Он сосчитал патроны, их у него осталось семь штук. Он знал наверное, что птицы явятся опять: он ведь убил самца, а самка с цветными крыльями улетела, и она снова вернется не одна, чтобы добить наконец человека, убившего ее первого, может быть, самого любимого мужа.

Айдым соскочила с рук Нур-Мухаммеда и прибежала к Чагатаеву попрощаться. Он поцеловал ее, погладил по лицу худою рукой и улыбнулся. Было еще сумрачно. Нур-Мухаммед ждал девочку в отдалении.

— Не ходи никуда, Айдым,— сказал Назар ребенку.— У нас скоро свое будет счастье.

— Я знаю,— ответила Айдым.— А он мне велит...

— Позови его,— сказал Чагатаев.

Айдым привела за руку большого Нур-Мухаммеда.

— Помираешь? — спросил Нур у Чагатаева.— Я думал, тебя давно птицы склевали.

— Зачем девочку уводишь с собой? — спросил его Чагатаев.

— Стало быть, нужно,— сообщил Мухаммед.

— Пусть остается с нами! — сказал Назар.

Айдым села около Чагатаева на песке.

— Я останусь,— сказала Айдым,— я маленькая, я уморюсь идти, мне не надо!

Чагатаев облокотился на локоть и привлек к себе девочку. Пала роса, и Назар незаметно полизал языком волосы Айдым, на которых были капли влаги.

— Уходи один! — сказал Чагатаев Мухаммеду.

— Мертвым пора молчать! — произнес Нур-Мухаммед.— Повернись в землю и спи! — Он ударил Чагатаева в лицо ногой, обутой в брезентовый сапог.

Чагатаев повалился навзничь; он заметил, что у Мухаммеда до сих пор лежал за пазухой учрежденческий портфель среднего служащего, может быть, Нур-Мухаммед всю свою жизнь считал лишь временной командировкой в дальние места, и единственная прелесть его существования заключалась в том, что можно оставить изжитое место и уйти на новое: пусть погибают остающиеся!

Чагатаев, не подумав, встал сразу на ноги. Он был теперь пуст и легок, тело его стало свободно, и он качался, как невесомый. Айдым уперлась руками ему в живот, чтобы он не падал. Но Нур-Мухаммед схватил Айдым поперек ее тела и

пошел с нею прочь. Чагатаев бросился за ним вслед, но упал, потом опять поднялся, пытаясь сосредоточить силы. От слабости мир перемежался перед его глазами: то был, то не был. Мухаммед шел не спеша впереди, он не боялся полумертвого.

— Вы куда? — изо всех [сил] сказал Чагатаев.

Айдым заплакала на руках Мухаммеда.

— Возьми меня, Назар Чагатаев... Я не хочу в Афганистан: там буржуи живут...

Откуда она знает о буржуях?.. Чагатаев больше уже не упал, торжественная мысль жизни вернулась к нему, он поднял револьвер отвердевшей рукой и велел Мухаммеду остановиться. Тот увидел оружие и побежал. Айдым заметила на шее Мухаммеда болячку и впилась в нее своими отросшими ногтями. Нур-Мухаммед закричал по-страшному и ударил девочку по лицу, но размахнуться ему было негде, и ей не стало слишком больно от его удара. Айдым не отняла своих рук от болячки и повисла теперь на шее Мухаммеда, тогда он бросил ее держать, чтобы ударить по-настоящему.

— Видишь, как больно тебе! — [рассказывала] Айдым.— Тебе ведь говорили: не воруй меня, не надо! А ты украл, ты басмач! Терпи, теперь терпи!

Из-под болячки Нур-Мухаммеда шла густая кровь: засохшую корку больного места Айдым уже сорвала.

Мухаммед застонал и с трудом сбросил с себя девчонку. Оглянувшись на Чагатаева, он опять схватил Айдым и побежал с нею; он не [уважал] работать впустую. Чагатаев не мог бить по нему насмерть, чтоб не убить Айдым, которую Мухаммед прижал сейчас спереди к своей груди, и выстрелил в него по ногам. Пуля попала. Нур-Мухаммед был сорван с земли, как ненужный и посторонний, он упал с разбегу плечом в песок и мог изуродовать Айдым. Но она отлетела в сторону прежде, чем упал Мухаммед, и, сейчас же поднявшись, побежала к Назару. Чагатаев хотел выстрелить еще, чтобы уничтожить Мухаммеда, однако патронов у него было немного, их надо беречь для охоты и прокормления своего народа.

Нур-Мухаммед пролежал в песке лишь несколько секунд, а затем бросился бежать прочь, сразу вскочив на крутой откос бархана, как сильный и здоровый человек. На ходу он кричал от боли, потому что от движения еще больше рвал свою рану, но не слышал своего крика. Он скрылся за песчаным холмом, и голос его умолк навсегда для Чагатаева. Айдым стояла в изумлении, все еще глядя вослед пропавшему Нур-Мухаммеду. Она думала — скоро он умрет или нет.

Она пошла с Чагатаевым обратно.

— Скорей иди! — говорила она.— Ложись опять в песок, пока птицы не прилетели, а то нам есть нечего!

Слабея все больше, Чагатаев дошел до своего прежнего обележанного места и опустился на него. Айдым направилась к

народу, на общее становище. День еще был долог, но все люди уже лежали для экономии жизни во сне или в пустом безрассудстве, покрывшись остатками одежды.

Чагатаев находился отдельно, за песчаным перевалом. Он старался думать лишь самое необходимое для общей жизни спасения. Орлица опять улетела живой и несчастной. Если в первый раз он убил ее мужа, то кого он застрелил во второй раз? Наверно, второго ее мужа... Нет, у птиц так не бывает, значит — друга или родственника ее мужа, может быть, его брата, которого она позвала себе на помощь для общего мщения. Но и брат ее мужа погиб, за кем же она полетела теперь?.. Если там — за горизонтом или в далеких небесах — у нее никого не найдется для боевой помощи, то все равно она прилетит одна. Чагатаев был убежден в этом, он знал прямые нестерпимые чувства диких животных и птиц. Они не могут плакать, чтобы в слезах и в истощении сердца находить себе утешение и прощение врагу. Они действуют, желая утомить свое страдание в борьбе, внутри мертвого тела врага или в собственной гибели.

По мере своей второй жизни в пустыне Чагатаеву казалось, что он все время куда-то едет и удаляется. Он начал забывать подробности города Москвы; лицо Ксени его память сберегала лишь в общих, неживых чертах — он жалел об этом и напрягал свое воображение, чтобы видеть ее иногда в уме; представляя ее образ, он всегда замечал, что ее губы что-то шепчут ему, но он не понимает и не слышит ее голоса за дальностью расстояния. Разноцветные глаза ее глядели на него с удивлением, может быть, с грустью, что он долго не возвращается. Но это лишь обольщающее чувство! В действительности Ксеня, наверно, вовсе забыла Чагатаева; она ведь еще ребенок, в ее сердце теснится прекрасная, завоевывающая ее жизнь, и там не хватит места для сохранения всех исчезнувших впечатлений.

День проходил пустым, не принося избавления. Чагатаев знал, что нельзя накормить народ еще одной или двумя убитыми птицами, но он не был великим человеком и не мог выдумать, что ему нужно сейчас сделать более действительное. Пусть его охота за птицами — ничтожное дело, зато оно единственно возможное, пока не прошло его изнеможение. Если бы он был в прежней силе, он обыскал бы всю пустыню вокруг на десятки километров, нашел бы диких овец и пригнал бы их сюда. Если бы хотя в одном человеке была способность пройти пятьдесят или сто километров до какого-нибудь телеграфного аппарата, он бы потребовал помощи из Ташкента. Может быть, покажется аэроплан на небе! Нет, здесь едва ли они бывают, здесь нет пока сокровищ на земле, чтобы тратить дорогую машину. И убогий малополезный труд, заключавшийся в терпении, в притворстве быть трупом, все же утешал Чагатаева, однако

назавтра он решил идти с народом на родину, в Сары-Камыш, при всех обстоятельствах.

Он задремал. Мир опять чередовался перед ним, то оживая, светлый и шумящий, то отдаляясь в темное забвение, откуда он опять затем возвращался, пробиваясь в сознание Чагатаева сквозь больные кости его головы.

Вечером Чагатаев расслышал неясные звуки. Он приготовился, засунув правую руку себе под спину, где лежал револьвер. Он ошибся — это не был шум летящих орлов. Его мать, низко неся свою голову, подошла к нему, попробовала руками его тело и осмотрела глазами, глядящими в песок, всю ближнюю местность. Она не проверяла — жив или скончался ее сын,— она искала убитых птиц своими слепнущими от горя глазами. Странные скрипящие звуки шли из тела матери; сухие кости ее скелета с трудом и болью преодолевали трение друг о друга. Гюльчатай медленно удалилась, помогая себе двигаться тем, что касалась руками земли и гребла ими назад песок.

Вскоре эти же звуки многих трущихся костей Чагатаев услышал опять. Он поборол свое закатывающееся сонное сознание и сосредоточился. За песчаным перевалом бархана что-то шевелилось. Старый Ванька глядел на него оттуда; рядом с ним поднялся подошедший, очевидно, снизу, с другой стороны бархана, Суфьян, потом показалось еще чье-то неразличимое лицо, там же была Айдым и даже Молла Черкезов, хотя он не видел света. Человеческие лица постепенно прибавлялись, все они смотрели в сторону Чагатаева. Чагатаев тоже глядел на них. Больше не было слышно звуков от трения рвущихся мертвеющих костей. Множество глаз наблюдали за лежащим человеком — не жадных и не умоляющих глаз, а безразличных. Кроме Айдым, глаза всех людей глядели подобно глазам Моллы Черкезова,— ослепшими. У людей не осталось силы в сердце, чтобы держать энергию или выражение мысли в глазах. Лишь предчувствие еды привело их сюда, но и это чувство не было яростным или жестоким, как у обычного человека, а было невинным, способным остаться без удовлетворения, потому что чувство уже не поддерживалось разумом.

Чего ожидали от Чагатаева эти люди? Разве они наедятся одной или двумя птицами? Нет. Но тоска их может превратиться в радость, если каждый получит щипаный кусочек птичьего мяса. Это послужит не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом, оно смажет своим салом скрипящие, сохнущие кости их скелета, оно даст им чувство действительности, и они вспомнят свое существование. Здесь еда служит сразу для питания души и для того, чтобы опустевшие смирные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на земле. Чагатаеву казалось, что и все человечество, если бы оно было сейчас перед ним, так же глядело бы на

него, ожидающее и готовое обмануться в надеждах, перенести обман и вновь заняться разнообразной, неизбежной жизнью.

Чагатаев улыбнулся; он знал, что горе и страдание есть лишь призрак и сновидение, их может разрушить сразу даже Айдым своими детскими силами; в сердце и в мире бьется, как в клетке, невыпущенное, еще не испробованное счастье, и каждый человек чувствует его силу, но чувствует лишь как боль, потому что действие счастья сжато и изуродовано в тесноте, как сердце в скелете. Вскоре он переменит судьбу своего народа. Чагатаев махнул рукой глядящему на него народу. Айдым поняла и велела уйти всем, чтобы не мешать Чагатаеву охотиться.

В начале ночи, когда все люди забылись, Айдым пошла одна в пустыню искать диких овец. Суфьяну и Старому Ваньке она велела разрыть руками песок в одной небольшой долине между длинными барханами. Там, под песком, она обнаружила глину, которая должна собирать воду, и она уже пила ее немножко из ямки. Она понимала, что, когда нет пищи, вода тоже кормит.

14

Шла ночь над песками. Чагатаев спал на правом боку, и сновидения заполнили его, вытеснив жажду, голод, слабость и всякое страдание. Он танцевал в саду, освещенном электричеством, с большой, выросшей Ксеней, в летнюю ночь, пахнущую землей, детством, накануне рассвета, который уже горел на вершинах тополей, как дальний, еще неслышный голос. Ксения томилась в его осторожных объятиях, ее глаза были закрыты, точно она спала. С рассвета, с востока шел ветер между деревьев и шевелил платья танцующих женщин. Играла музыка, ранний свет и ветер проходил по лицам людей, безмолвных и счастливых. Затем музыка утихла, стало совсем светло вокруг, и Чагатаев нес спящую Ксеню на руках. Вдруг он увидел тьму на месте света, голова его заболела, и, падая, он повернулся во время падения на спину, чтобы не ушибить Ксеню, которую он держал спереди, как маленькую: пусть она упадет на него и не убьется. Он крепко, еще сильнее схватил ее руками, но ее уже не было с ним. Он закричал, вскочил во тьме с земли, и два острых удара — опять в голову и в грудь — сбили его обратно.

Большие птицы, падая на него и вновь поднимаясь в воздух, били его клювами и рвали одежду и тело когтями. Чагатаев старался вскочить на ноги, но не успевал и терял силу от боли и новых ударов нападающих тяжелых птиц; он ворочался и греб в ожесточенном отчаянии руками песок, окруженный пустынной ночью, взмокший последней кровью. Он хотел вскрикнуть, чтобы поднять в себе, из самой глубины, из остатков исчезающей жизни яростную силу, но жалящие удары орлиных

клювов и когти их, рвущие жилы, прерывали его крик, прежде чем он успевал взять воздух себе внутрь. От крыльев птиц его сбивал ветер, он не мог дышать в этой буре и давился пухом и перьями, отлетающими от птиц. Чагатаев понял, что два первых удара клювами он получил в голову, около затылка, оттуда сейчас текла кровь за шею, и еще у него, кажется, сорван один грудной сосок, там болела рана щекочущей вопиющей болью.

Наконец Чагатаеву удалось вскочить на мгновение на ноги. Он распростер руки, готовый схватить птицу, которая первая падет на него, чтобы задушить ее вручную. Орлы были в воздухе и сейчас разгонялись на него. Он наступил ногою на свой револьвер и быстро нагнулся за ним, однако не успел поднять его. Птицы бросились ему в спину, но он уже теперь опомнился и сумел сосчитать по числу своих новых ран от клювов — орлов было три. Чагатаев, схватив револьвер, опрокинулся навзничь, чтобы сбросить с себя или задавить птиц, впившихся ему в спину, но силы его действовали плохо, он свалился как попало, на бок, а орлы низко отлетели в сторону. Чагатаев попытался подняться для лучшего прицела, все истощенные кости его скелета заскрипели, так же как у людей его народа. Он прислушался, и ему жалко стало своего тела и своих костей — их собрала ему некогда мать из бедности своей плоти,— не из любви и страсти, не из наслаждения, а из самой житейской необходимости. Он почувствовал себя как чужое добро, как последнее имущество неимущих, которое хотят расточить напрасно, и пришел в ярость. Чагатаев сразу крепко сел в песке. Орлы, даже не очень поднявшись в высоту, опять со скоростью мчались на него, тесно прижав к себе крылья. Он их подпустил ближе, потом нажал курок. Чагатаев видел орлов верно, их было три, и стрелял теперь точно, хладнокровно, оберегая себя, как второго человека, как ближнего, беспомощного друга. Он выпустил пять пуль в мчавшихся орлов почти в упор. Птицы низко, со свистом воздуха, пролетели над ним, уже не сумев остановить своего разгона, потому что они были либо уже мертвые, либо раненные насмерть. Они упали в нескольких метрах далее Чагатаева, в темный ночной песок.

Чагатаев дрожал от тревоги и усталости. Он разгреб в песке пещеру и лег в нее, сжавшись телом, чтобы согреться и уснуть, не заботясь о том, сколько вытечет крови из его рваных ран, пока он будет спать, не думая о здоровье и о своей будущей жизни.

Айдым далеко ушла в ту ночь; потом она уморилась, прилегла и заснула, не услышав выстрелов Чагатаева. Но, помня, что ей спать долго нельзя, она вскоре пробудилась в беспокойстве и опять пошла. Полуночная обедневшая луна вышла из-за далекой земли и осветила пески низким светом. Айдым осмотрелась кругом проницательными глазами. Она знала, что не

может быть, чтобы на земле ничего теперь не было. Если идти по пескам целый день, то обязательно что-нибудь встретишь или найдешь: либо воду, либо овец, либо увидишь многих птиц, попадется чей-нибудь заблудший осел или пробегут вблизи разные животные. Старшие люди говорили ей, что в пустыне столько же добра, сколько на любой далекой земле, но в ней мало людей, и поэтому кажется, что и остального нет ничего. Айдым, однако, даже не знала, где есть земля более богатая и лучшая, чем пески или камышовые леса в разливах Амударьи.

Айдым стояла на самом высоком бархане; ее привлек мерцающий, брезжущий свет луны в одном направлении — по остальной земле свет шел спокойно, а там что-то мешало ему светить. Она пошла туда, где свет затемнялся, и вскоре разглядела маленькую овцу-детеныша. Овечка царапалась ногами на самой вершине невысокого холма и взметывала песок так, что издали, сквозь ослабшую тьму, поверх привидений холмистой пустыни, это казалось важным, загадочным происшествием.

Овца-ярка, наверно, выбирала из песка весенние погребенные травинки и кормилась ими. Айдым тихо взобралась на холм и обхватила овечьего детеныша. Ярка не сопротивлялась, она ничего не знала про человека. Айдым повалила ее и хотела прокусить ей слабое горло, чтобы испить крови и наесться. Но она увидела сейчас, что под барханом, часто дыша, как люди, множество овец рыли ногами песок, догребаясь до нижней, скрытой влаги. Айдым оставила ярку и сбежала с бархана, к овечьему стаду. Прежде чем она достигла крайней овцы, к ней навстречу прыгнул баран и остановился перед ней, нагнув голову для боя. Айдым посидела немного перед ним, подумала своим небольшим умом — как ей быть. Она сосчитала овечью отару — в ней было двадцать четыре головы, сложив сюда ярку и двух козлов, тоже прижившихся тут. Она отползла потихоньку к ближней роющей овце; баран тоже пошел за нею в ожидании. Айдым попробовала рукою песок в ямке, которую разгребала овца — там было сухо, вода не чувствуется. На губах ближних овец собралась пена томления, изредка они хватали ртом песок и выбрасывали его обратно вместе с последней слюной. Песок не поил, а сам испивал их сок. Айдым подошла к барану, он был не очень худ и лишь тяжко дышал от жажды, от напряжения перед задачами своей жизни, как главного среди овец. Айдым взяла барана за рог и повела его за собой. Баран сразу пошел, потом остановился, чтобы образумиться, но Айдым потянула его, и баран пошел за ней. Некоторые овцы подняли головы, перестали работать и пошли следом за девочкой и бараном. Оставшиеся козлы и прочие овцы также вскоре нагнали своего барана.

Айдым спешно тянула барана, память на место у нее была точная, но лишь к заре и погасшему месяцу на небе она дошла до той глубокой долины, где она отрывала себе воду в песке.

Там она оставила стадо, и овцы опять принялись раскапывать ногами песок, а сама Айдым пошла на общий ночлег к народу. Она обиделась: в долине не было отрыто ни одного колодца. Старый Ванька и Суфьян либо умерли, либо поленились, или, может быть, напились одни, не заботясь о другой жизни.

Айдым ощупала на становище всех спящих и беспамятных: они привыкли жить, дышали, и никто из них не умер. Айдым разбудила Суфьяна и Старого Ваньку и велела им идти пасти и сторожить овечье стадо, а сама отправилась к Чагатаеву, чтобы привести его есть.

Чагатаев долго не просыпался, когда его будила Айдым; он медленно умирал, потому что кровь не переставая медленно сочилась из него во сне, и видно было, как она редкими толчками выходила из ран, утихая в песке. Айдым поняла все; она сбегала обратно к народу на ночлег, но все люди уже тронулись оттуда к стаду, кто как мог: кто полз, кто шевелился на ногах, кто пользовался помощью другого. Айдым поискала глазами, у кого была более целая или мягкая одежда, но не нашла, чего ей хотелось. У всех из одежды осталось худое и нехорошее или очень малое. Молла Черкезов имел мягкие шаровары, но от его слепоты они были нечистые. Айдым сняла с себя рубашку и осмотрела ее: ничего, она еще маленькая, в ней не накопилось заразы и болезней, как у стариков, рубашка пахла одним только потом и ее телом, а грязи в ней не было — пустыня вся чистая. Айдым вернулась к Чагатаеву, разодрала свою рубашку на полоски и перевязала все его раны на теле и на голове, откуда показывалась кровь. Чагатаев проснулся уже и поворачивался, чтоб девочке удобней было работать. Он открыл глаза и увидел Айдым, убитых птиц и пески как бы сквозь густой сумрак, хотя наступило обычное солнечное утро. Он разглядел орлов и узнал в самой крупной птице самку, а другие два орла были гораздо меньше: это ее дети. Она прилетела сюда вместе с самыми верными друзьями своего мужа — его детьми.

15

Четыре дня народ джан ел и оправлялся от своего горя и бедствий. Айдым следила за тем, чтобы никто лишнего не переедал, а особо усердных на пищу останавливала или била по глазу: иначе будет не больно. Раны на теле Чагатаева подернулись пленками и заживали; он отдал Айдым свое нижнее белье, и она сшила себе юбку и кофту, а то была голая. Суфьян, который всю жизнь носил при себе необходимый житейский инвентарь — спички, иголку, нитки, шило, какой-то старинный документ о своей личности, ножик и прочее добро,— он попросил Айдым оштопать его одежду. Айдым зашила все крупные дыры на халате старика, потом заодно починила всю ветхую одежду на народе в тех местах, где видно было тело; на мно-

гих людях ей пришлось укоротить одежду, чтобы выиграть материал и пришить его тем, у кого не хватало. Из этих обрезков Тагану она сшила целые штаны и рубашку, потому что он забросил свое платье где-то в песок, когда думал, что пора кончать жизнь, и с тех пор жил голым.

На эту работу у Айдым ушло еще четыре дня — ей помогали штопать и шить только Старый Ванька и Чагатаев. Кроме того, Айдым следила за общим порядком жизни народа, за распределением пищи, за сном и за оставшимися овцами,— чтобы их пасли и поили и чтобы они не худели, не проживали своего тела зря. На ночь каждую овцу Айдым привязывала к человеку, а барана укладывала рядом с собой и прочной бечевкой туго обвязывала ему шею, а другим концом бечевки обматывалась сама вокруг живота и делала мертвый узел. Благодаря этой осторожности ни одна овца не убежала, хотя по всей ночи овцы лежали не евши и не прибавили в весе. Утром, через девять дней после того, как Айдым привела овечью отару, народ тронулся далее в дорогу, на свою родину. Теперь осталось у него десять овец и одиннадцатый баран, а тринадцать голов и трех орлов народ поел. Люди шли сейчас хорошо и чувствовали, что они существуют, не напрягаясь памятью для воспоминания о самих себе.

До Сары-Камыша оказалось всего три полных дня среднего хода. Но уже на второй день народ увидел серое плоскогорье Усть-Урта и темноту у его подножия — впадину пустых земель с редкими горькими водами. Все обрадовались и поспешили туда, точно там обеспечено было счастье и стояли убранные дома с открытыми входами, ожидающими хозяев. Чагатаев вел за руку мать и улыбался, будто он снова, как в детстве, находился перед будущей великой жизнью, готовый на мучительный, терпеливый труд, имея в сердце неясное, робкое предчувствие неизбежной победы.

Вечером третьего дня народ перешел последние светлые пески — границу пустыни — и начал спускаться в тень впадины. Чагатаев вглядывался в эту землю — в бледные солонцы, в суглинки, в темную ветхость измученного праха, в котором, может быть, сотлели кости бедного Аримана, не сумевшего достигнуть светлой участи Ормузда и не победившего его. Отчего он не сумел быть счастливым? Может, оттого, что для него судьба Ормузда и других жителей дальних, заросших садами стран была чужда и отвратительна, она не успокаивала и не влекла его сердце,— иначе он, терпеливый и деятельный, сумел бы сделать в Сары-Камыше то же самое, что было в Хорасане, или завоевал бы Хорасан...

Чагатаев любил размышлять о том, что раньше не удалось сделать людям, потому что как раз это самое ему необходимо было исполнить.

Еще через два дня народ миновал впадину и приблизился к подножию Усть-Урта. Чагатаев нашел здесь небольшой пресный водоем, питавшийся весенним стоком со склонов плоскогорья, и люди остановились около него для отдыха и для выбора постоянного жительства. Овец теперь осталось лишь три головы и четвертый баран. Но это само по себе еще не было страшным для такого народа, как джан, который мог пользоваться добром природы в самых [худых] ее местах. Айдым в первый же день нашла несколько слепых ущелий, заполненных травой перекати-поле. Траву нагнал сюда с пустыни юго-восточный ветер, и лишь тот куст перекати-поля, который не попадал в такое мертвое ущелье, поднимался по склону на высоту возвышенности и уходил через плоскогорье дальше, в степь.

Суфьян сходил в свою пещеру, где он жил до прихода Чагатаева, и дал совет обосноваться всему народу по соседству с его пещерой: там есть широкая, просторная долина, поросшая степною травой, и мелкий ручей бежит посреди нее с Усть-Урта, не иссякая до середины лета. Народ пошел к той долине и по дороге нашел следы своих прежних становищ — еще в ханские времена. Там не осталось никаких заметных предметов, была лишь обычная пустошь, несколько горстей угля, комья глины, стоял кол от кибитки, забытый всеми, изъеденный жарой и ветрами и умерший; валялась погребенная в почву старая детская тюбетейка — Айдым почистила ее и надела себе на голову.

Долина, указанная Суфьяном, была хороша для жизни. Она имела травяной покров на долгом протяжении, и еще теперь — в конце лета — не вся трава умерла: среди пожелтевших стеблей попадались живые, зеленые былинки. Русло ручья было пусто, но в глубине Сары-Камыша, в одном-двух километрах, виднелось зеркало воды — озеро, куда стекал горный ручей весною и в начале лета; этого достаточно для существования. Когда люди вошли в устье долины, множество черепах побежало от их ног, и, удалившись, они медленно повернули свои шеи и поглядели на прибывших — каждая черепаха одним черным, зорким и милым глазом. Чагатаев обрадовался им; он теперь отдохнул и опомнился: по-прежнему все в жизни стало возможным, самая лучшая участь осуществима немедленно.

Он пошел вместе с Айдым далеко в глубь Усть-Урта, на его вымершие высокие равнины. Он искал там деревьев или хотя бы саксаула, растущего иногда по оврагам,— дерево нужно было для поделки хозяйственных инструментов и принадлежностей. По дороге Чагатаев поднял Айдым на руки, чтобы она не уморилась, и целовал ее в щеки, в глаза, в волосы — от этого ему становилось лучше на сердце. Он любил ощущать другую жизнь и другое тело, ему казалось, что там есть что-то более таинственное и прекрасное, более [существенное], чем в нем самом, и его здоровье и сознание часто улучшалось лишь оттого, что он имел возможность держать кого-нибудь за руку, как

в свое время Веру и еще ранее ее другую женщину, студентку экономического института, любившую его, но умершую от болезни в юности. Айдым тоже обнимала Чагатаева за голову и заглаживала пальцами две плешины в волосах — следы от орлиных ран; она помнила, что съела тогда сразу целого маленького орленка.

У Чагатаева был только перочинный нож, поэтому ему пришлось долго работать, чтобы подрезать и надломить одно небольшое дерево мягкой породы, росшее в одиночку среди каменистого ущелья, где не росло ничего другого, словно птица когда-то уронила семя этого дерева из воздуха.

В течение нескольких дней в долине Усть-Урта, избранной для жительства, работали только двое людей — Чагатаев и Айдым; остальные люди дремали в пещерках, которые они нарыли себе для ночлега в склонах долины, ловили черепах и готовили из них себе пищу, но ели мало, почти неохотно, и раз в сутки ходили на озеро пить воду. Три овцы и барана Чагатаев не велел трогать; он их оставил в запас, на крайнюю нужду. Назар пересчитал людей — кто жив, кто умер — и увидел, что не хватает одного ребенка — трехлетней девочки. Никто не мог ему сказать — ни отец ее, ни мать, ни прочие, где исчезла, умерла одна незаметно эта маленькая девочка, небольшой человек. Никто не запомнил, когда она была задута ветром и песком в пустыне и отошла от рук...

Чагатаев и Айдым стали носить глину для постройки первой курганчи, но им никто не помогал в работе. Когда Чагатаев привел работать Суфьяна и Старого Ваньку, как наиболее здоровых, то они отнесли два раза глину, а потом перестали. Они сели на землю и задумались, хотя по старости лет имели время уже все передумать и прийти к истине.

Тогда Чагатаев собрал всех людей и спросил их: имеют ли они намеренье жить? Никто ему ничего не ответил...

Многие бледные глаза глядели на Чагатаева с напряжением, чтобы не закрыться от немощи и равнодушия. Чагатаев почувствовал боль своей печали, что его народу не нужен коммунизм,— ему нужно забвение, пока ветер не остудит и не расточит постепенно его тело в пространстве. Чагатаев отвернулся ото всех; его действия, его надежды оказались бессмысленными. Нужно взять Айдым на руки и уйти отсюда навсегда. Он ушел в сторону и лег там в землю лицом. Он понимал, что, куда бы он ни ушел отсюда, он снова вернется обратно. Ведь его народ — наибольший бедняк на свете: он растратил все свое тело на хошарах и в нужде пустыни, он отучен от цели жизни и лишился сознания и своего интереса, потому что его желание никогда, ни в какой мере не осуществлялось, народ жил благодаря механическому действию своей скудной, ежедневной пищи — из черепах, черепашьих яиц и мелкой рыбы, которую он начал ловить в том водоеме, из которого пил воду. Осталась

ли в народе хоть небольшая душа, чтобы, действуя вместе с ней, можно совершить общее счастье? Или там давно все отмучилось и даже воображение — ум бедняков — все умерло?.. Чагатаев знал по своей детской памяти и по московскому образованию, что всякая эксплуатация человека начинается с искажения, с приспособления его души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет рабом. И насильное уродство души продолжается, усиливается все более, пока разум в рабе не превращается в безумие. Классовая борьба начинается с одоления «духа святого», заключенного в рабе; причем хула на то, во что верит сам господин — на его душу и бога,— никогда не прощается, душа же раба подвергается истиранию во лжи и разрушающем труде. Чагатаев помнил рассказ Старого Ваньки, как он однажды в Хиве, на дворе мечети, хотел убить павлина, чтобы продать его потом на чучело русскому купцу. В поспешности Старый Ванька бросил камень в павлина — в священную птицу, но не попал. Вдалеке, среди растительности, показался сторож или посторонний человек. Старый Ванька схватил в руку что попалось ему среди кустов и запустил в голову павлина этим предметом. Павлин сразу проглотил, скормился тем куском, какой бросил в него Ванька, и потом закричал своим подлым прерывистым криком, а Старый Ванька кинулся к нему, чтобы задушить его вручную, но не управился, потому что явившиеся мусульмане схватили Старого Ваньку, вытащили на улицу и начали бить, пока не решили, что он уже мертв, и тогда его бросили в бездействующий арык. Пока его увечили, Старый Ванька, держа руки на лице, понял по запаху своих рук, что он второй раз ударил священного павлина куском засохшего кала. Старый Ванька выполз из канавы живым, но любил затем швырять во всех летящих и сидящих птиц чем-нибудь нечистым, особенно если это были голуби,— пока по истечении многих лет не потерял интереса к такому занятию.

Над головой Чагатаева засопело какое-то животное, он подумал — это овца. Но животное схватило пастью ухо Чагатаева и стало тереть его во рту между беззубыми деснами. Это была та же яростная и малосильная собака, которую Чагатаев видел в поселении своего народа на Амударье. Она не была с людьми в пустыне, она отбилась где-то или, может быть, осталась караулить одна покинутое становище, а потом, соскучившись, прибежала прямой дорогой в Сары-Камыш, где она тоже, очевидно, жила в прежние годы. Чагатаев взял собаку за голову и пригнул ее к земле, чтоб она легла. Собака покорно легла; она дрожала от утомления — старая, дикая, не в силах закончить и изжить свою мучительную жизнь и все еще уверенная в блаженстве своего существования, потому что в самом терпении ее, в худом дрожащем теле было добро.

Собака уснула рядом с Чагатаевым. Айдым одна месила голыми ногами глину, таская воду в бурдюке за два километра.

Когда Чагатаев очнулся, кругом него сидело несколько человек людей, которые ожидали его пробуждения. Суфьян, самый старший человек, сказал Чагатаеву, что народ теперь нарочно не имеет души, не знает своего намерения, не льстится на лучшую пищу, он греется самым слабым теплом своего сердца, а сердце получает это тепло из травы, из черепах, из рыбы, из костей самого человека, когда ему нечего есть.

Суфьян склонился к уху Чагатаева, отодвинув собаку. Собака жадно и грустно глядела на людей. Темная, трудная надежда ее была в желании съесть всех людей, когда они умрут. Она пришла сюда не прямою отдельной дорогой, а следом за народом, идя на большом отдалении, и ела павших в песках людей, зарываясь днем глубоко в песок, чтобы ее не заметили степные орлы и прочие хищники. Суфьян сказал Чагатаеву:

— Ты думаешь плохо. Народ жить может, но ему нельзя. Когда он захочет есть плов, пить вино, иметь халат и кибитку, к нему придут чужие люди и скажут: возьми, что ты хочешь,— вино, рис, верблюда, счастье твоей жизни...

— Никто не даст,— ответил Чагатаев.

— Немного давали,— говорил Суфьян.— Горсть риса, чурек, старый халат, вечернюю песню бахши мы имели давно, когда работали на байских хошарах...

— Мать велела мне самому кормиться, когда я был маленький,— сказал Чагатаев.— Мы мало имели, мы умирали.

— Мало,— произнес Суфьян.— Но мы всегда хотели много: и овец, и жену, и воду из арыка — в душе всегда есть пустое место, куда человек хочет спрятать свое счастье. И за малое, за бедную, редкую пищу, мы работали, пока в нас не засыхали кости.

— Это вам давали чужую душу,— сказал Чагатаев.

— Другой мы не знали,— ответил Суфьян.— Я тебе говорю, если за маленькую еду мы делались от работы и голода как мертвые, то разве хватит даже нашей смерти, чтобы заработать себе счастье?

Чагатаев поднялся на ноги.

— Хватит одной жизни! Теперь наша душа в мире, другой нет.

— Я слыхал,— равнодушно сказал Суфьян,— мы знаем — богатые умерли все. Но ты слушай меня,— Суфьян погладил старый московский башмак Чагатаева,— твой народ боится жить, он отвык и не верит. Он притворяется мертвым, иначе счастливые и сильные придут его мучить опять. Он оставил себе самое малое, не нужное никому, чтобы никто не стал алчным, когда увидит его.

Суфьян ушел с теми людьми, какие были с ним. Чагатаев отправился к Айдым и работал с ней до вечера. Вечером он уложил ее спать в сухой пещерке, а сам работал опять, готовя

из глины и растертой старой травы саманные кирпичи на постройку первого жилища. Вокруг него и во всей долине никого не было; все люди куда-то разошлись — может быть, ушли ловить черепах или ловить рыбу на озере. Чагатаев работал все более быстро и рационально. Поздно ночью он поднялся по склону на плоскогорье посмотреть, куда ушли все люди. Было всюду видно от чистой высокой луны; свет стоял над безлюдным Усть-Уртом, покрывая тенью гор впадину Сары-Камыша, и опять занимался далее над влекущей пустыней, уходящей к горам Ирана. Три овцы и баран паслись в соседнем мелком ущелье, с шумом ворочаясь в кучах перекати-поля, ища зеленые живые стебли. В черной тени Усть-Урта, где начинался Сары-Камыш, горел маленький огонь костра, немного далее костра лежало слабое облако тумана над озером. Чагатаев сошел с возвышенности и направился к огню. Через полчаса он подошел достаточно близко и увидел, что вокруг костра, где тихо сгорал саксаул, сидел весь народ. Он пел песню и не видел Чагатаева. Чагатаев заслушался той песни; в детстве он слышал много песен от бахши, от матери, от разных стариков — песни были прекрасные, но жалкие. Эта же песня имела незнакомый смысл, в ней было чувство, не родное его народу, но зато подходящее для него более, чем печаль. Чагатаев расслышал даже тихий, стыдящийся голос своей матери. В песне говорилось: мы не заплачем, когда придут к нам слезы, мы не улыбнемся от радости, и никто не достигнет нашего глубокого сердца, которое выйдет само к людям и ко всей жизни и протянет к ним руки, когда настанет его светлое время, и время это близко: мы слышим, как спешит в нашем сердце душа, желая выйти к нам на помощь... Песня окончилась, Старый Ванька шевелил палкой костер и вытаскивал оттуда испекшиеся рыбки, пробуя их — готовы они или нет, а неиспекшихся кидал обратно.

Чагатаев, не обнаруживая себя перед людьми, ушел обратно. Он снова взялся делать кирпичи на становище и работал, пока не растаяла луна на небе и не взошло солнце. Утром он увидел, что народ все еще сидел около потухшего костра, а Старый Ванька двигался и метался всем телом, должно быть, плясал. Чагатаев решил не оставлять своей работы, поскольку ночь уже прошла и спать не время. Он формовал кирпичи в глиняных формах, затрачивая в труд всю силу своего сердца. Айдым все еще спала, Чагатаев изредка подходил к углублению, в котором она лежала, и покрывал ее травой от мух и насекомых: пусть она набирает себе тело во сне — в рост и на долгую жизнь. Около полудня к Чагатаеву пришел Старый Ванька, он снял штаны, сшитые ему Айдым из разных кусков, вместо изношенных ранее, влез в яму, куда была завалена глина с водой, и начал месить ее худыми, жесткими ногами.

16

К осени в долине Усть-Урта было построено четыре небольших дома из саманного кирпича, окруженных общим дувалом. В этих жилищах, не имевших окон, за отсутствием стекла, разместился весь народ, впервые прочно укрывшись от ветра, от холода и мелкой, летающей, жалящей твари. Некоторые из людей долго не могли привыкнуть спать и жить за глухими стенами — через короткие промежутки времени они выходили наружу и, надышавшись там, насмотревшись на природу, возвращались со вздохом назад, в жилище.

По предложению Чагатаева народ избрал свой Совет трудящихся, куда членами вошли все люди, в том числе и Айдым, как активистка, а Суфьян стал председателем.

Весь народ джан теперь жил, не чувствуя ежедневно своей смерти, и трудился над добычей пищи в пустыне, в озере и на горах Усть-Урта, как обычно живет в мире большинство человечества. Чагатаев добился даже, чтоб каждый день был у всех обед; он знал, что это очень важно, так как обедает лишь меньшинство людей, живущих на земле, большинство — нет. Айдым хорошо вела хозяйство и заставляла всех искать и приносить пищу: траву, рыбу, черепах и мелких существ из горных ущелий; она сама вместе с Гюльчатай растирала съедобные травы, чтобы получалась мука, и своевременно указывала Суфьяну, что надо делать травяные сети для птиц, которые садятся около озера пить воду. Кто забывал свою обязанность жить и кормиться, тем Айдым говорила при всех, что когда она подрастет немного, то нарожает совсем других людей, не таких, как эти, ничтожные, которых приходится кормить ей, малолетней; ведь их матери кровью заливались, а они родились и живут, как из одолжения; вот она выроет завтра с Назаром большую яму — пусть туда ложатся все, кому не нравится на свете!

— Нам несчастных не нужно,— говорила Айдым,— глаз вырву и на стенку повешу его, будешь тогда смотреть на свой глаз, косой человек!..

Но Чагатаев был недоволен той обыкновенной, скудной жизнью, которой начал теперь жить его народ. Он хотел помочь, чтобы счастье, таящееся от рождения внутри несчастного человека, выросло наружу, стало действием и силой судьбы. И всеобщее предчувствие, и наука заботятся о том же, о единственном и необходимом: они помогают выйти на свет душе, которая спешит и бьется в сердце человека и может задохнуться там навеки, если не помочь ей освободиться.

Вскоре выпал снег. Чагатаеву и всем людям все более трудно приходилось с добычей пищи. Черепахи спрятались и уснули; великие стаи птиц пролетели над Усть-Уртом с севера на юг, они не спустились пить воду на маленькое озеро и не за-

метили живущего внизу небольшого человечества. Корни съедобных трав обмерли и сделались невкусными, рыба в водоеме ушла ближе ко дну, в сумрак покоя. Чагатаев понимал все эти обстоятельства. Он решил сходить один в Хиву на пищевые базы и привезти оттуда продовольственную ссуду для народа на всю зиму. Айдым зашила ему обветшалую порванную одежду, он починил себе обувь деревянными самодельными гвоздями и узкими ремешками из овечьей кожи. Затем он попрощался с каждым человеком и, велев ждать его скоро, начал спускаться во впадину Сары-Камыша. Он не взял из экономии никакой пищи с собой, рассчитав, что покроет все расстояние натощак в течение трех дней.

Чагатаев исчез в туманном далеком воздухе пустых мест, Айдым сидела на горном склоне и плакала слезами из черных блестящих глаз, она думала, что больше Назар никогда не вернется. Но в следующие дни Айдым ни разу не управилась заплакать о Чагатаеве: ее заняли заботы по хозяйству, нужда и ответственность, чтоб люди жили и не умерли. Она только вздыхала иногда, как бедная старушка. Народ все еще работал слабо, он не был убежден, что жизнь есть преимущество, его отучили от этого баи на хошарах, и он не ценил своего существования, а наслаждения, даже от пищи, вовсе не понимал.

Больше всего работы теперь, после ухода Чагатаева, приходилось на Айдым. Но ее работа не мучила, она знала от Чагатаева, что богатых нет, а она самая бедная и ей будет скоро хорошо, а потом еще лучше.

Через три дня отсутствия Чагатаева Айдым вспомнила о нем и сморщила лицо, чтобы заскучать и заплакать, но был уже вечер, ей надо поскорее отыскать овец и барана, которые забрались куда-то в дальние лощины, и она решила потосковать о Чагатаеве отдельно, когда ляжет спать. Когда она гнала овец обратно к общей курганче, то неизвестный свет ослепил ее. Около глиняных домов горели такие ясные огни, каких Айдым никогда не видала. Она остановилась и хотела уйти назад, чтобы спрятаться с овцами в пещере или в глухой, далекой пропасти, а завтра днем вернуться и посмотреть, что здесь будет. Она взяла барана за рог, а сама все глядела на огни около глиняных домов; интерес и удивление одолели в ней страх, она повела маленькое стадо домой. Она думала: огни — это либо звери, либо умное такое — оттуда, где живут большевики.

Айдым увидела фигуру Чагатаева, прошедшего мимо огня. Она побежала к нему и, дрожа, зажмурившись, ухватилась за его ногу. Чагатаев поднял ее к себе на руки и отнес спать в дом на травяную постель, а сам вернулся наружу разгружать автомобили. Он встретил их на второй день своего пути, на выходе из Сары-Камыша в пустыне. По распоряжению из

Ташкента два грузовых автомобиля вышли из Хивы еще четыре дня назад. На одной машине были мясные консервы, рис, галеты, мука, лекарства, керосин, лампы, топоры и лопаты, одежда, книги и прочее добро, а на другой — двое людей, бочки с бензином, масло и запасные части.

Из Ташкента велели разыскать в районе Сары-Камыша или между Усть-Уртом и Аральским морем кочующее племя джан и помочь ему всеми средствами, а впредь до нахождения того племени или следов его, свидетельствующих об общей гибели людей, машинам назад не возвращаться.

К полночи машина была полностью разгружена, и Чагатаев сел писать доклад в Ташкент о положении народа джан, пока шоферы и начальник экспедиции заправляли машины в обратный путь. Чагатаев писал до рассвета; он предлагал в конце своего письма дать возможность оправиться народу от многолетних бедствий (теперь эта возможность дана, и народ сыто перезимует, пользуясь присланной помощью республики), а самое главное — каждому здешнему человеку нужно вновь нажить себе прожитое почти до внутренних костей, истощившееся тело, в котором слишком слабо сейчас действует чувство и сознательная мысль.

Чагатаев отдал письмо начальнику, и автомобили поехали в Хивинский оазис. Еще все люди спали, было рано, в Сары-Камыше лежал снег. Чагатаев взял топор и лопату, разбудил Старого Ваньку и Тагана и пошел с ними корчевать саксаул. В полдень они возвратились с дровами. Айдым растопила печки сухою травой и стала готовить обед из новой пищи, которую почти никто не пробовал в жизни.

Консервное мясо и рис сразу насытили людей, но они утомились от этой еды настолько, что все заснули после обеда. Вечером Чагатаев велел опять приготовить второй обед и сам начал делать лепешки из белой муки, потом приготовил еще чай и кофе, кому что будет нравиться. Наевшись вторым обедом, народ проспал до следующего полудня. Чагатаев знал, что такое питание немного вредно, но он спешил накормить людей, чтобы в них окрепли их кости и чтобы они приобрели бы хоть немного того чувства, которым богаты все народы, кроме них,— чувство эгоизма и самозащиты.

Третий обед готовил Суфьян. Он когда-то видел, что ели баи в Хорезме, и сделал приблизительно разные кушанья на память.

Чагатаев с наслаждением наблюдал, как ест его народ — без жадности, осторожно сберегая пищу у рта, с сознанием необходимости и с кроткой задумчивостью, точно представляя в своем воображении лица и душу тех людей, которые тяжко добыли эту пищу и подарили им ее.

Чагатаев терпеливо жил дальше, подготовляя тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни,

без которого нечем заниматься и сердцу стыдно. Изредка он говорил с матерью, она ничего теперь не просила у него, только гладила его ноги и тело поверх одежды; он держал ее согнутую голову близ своего живота и думал о том, что ему надо сделать, чтобы искупить и утешить это почти уничтоженное существо, внутри которого он начал жить. Он не знал, что его мать вспоминала о нем лишь благодаря укорам со стороны Айдым и втайне утирала слезы, понимая, что надо любить сына, и не имея, не помня его больше в своем чувстве; поэтому она трогала его, как всякого чужого и доброго.

Через несколько дней сильно захолодало, в одном доме пришлось жарко истопить печь и заодно приготовить обильный обед, потому что печь служила и для тепла и для кухни. В других домах печей не было устроено. Сильный ветер дул с высот Усть-Урта и нес в воздухе мелкий обледенелый снег. Айдым привела овец в горницу дома, где ночевала сама, и оставила их там на ночь. Чагатаев с трудом привез воду с озера на самодельной тачке в пяти бурдюках; он поднимался на плоскогорье против обрушивающегося на него ветра и толкал тачку в упор с большим напряжением. И этот ветер, и ранняя зимняя тьма во всем мире, и пустая смертная впадина Сары-Камыша, куда хотел свалить и унести Чагатаева ветер,— все убеждало Назара в необходимости особой, другой жизни.

В одном жилище шевелились люди, внутри его горел свет из открытого входа. Там кончили обедать и дремали; Айдым гремела новой посудой, убирая всякую нечистоту и остатки, и говорила людям, чтобы они ложились сегодня на ночь здесь, где было натоплено; пусть будет тесно, но зато тепло.

Времени было часов шесть, но весь народ уже улегся в одной горнице, близко друг к другу, и спал в тесноте, как в блаженстве. Чагатаев пообедал стоя, сесть было негде. Айдым пошла ночевать в другой дом, куда она загнала овец, и туда же пошел спать Чагатаев.

Наутро пошла метель, но потеплело. В общей курганче не было никакого звука, хотя вовсе рассвело. Айдым спала в тепле среди двух овец. И овцы спали, один баран глядел как безумный на Чагатаева. Чагатаев не хотел будить Айдым, но сам пошел в теплый дом, где спали все люди. Там он зажег лампу и осмотрелся.

Народ спал в том же положении, как вчера, точно никто не повернулся за долгую ночь. Многие лица лежали теперь в постоянной улыбке. Слепой Молла Черкезов спал с открытыми глазами, подложив левую руку под спину Гюльчатай, чтобы постоянно чувствовать и хранить ее. Старый перс по прозвищу Аллах глядел вполовину одного ясного глаза, и Чагатаев не мог понять, что видит и думает сейчас этот человек, какое желание души скрывается в нем: то ли самое, что у Чагатаева, или совсем иное.

Весь остальной день Чагатаев просидел около Айдым, любуясь ее лицом, ее дыханием, рассматривая румянец юности, который все более покрывал ее щеки по мере течения долгого сна. Овец он выпустил на снег — пусть они пороются и поваляются в чистоте зимы. Затем Чагатаев взял руку Айдым в свои руки, молчаливо радуясь, что вокруг этого бедного нежного существа железной стеной защиты стоят большевики, и он сам лишь для того здесь и находится.

К вечеру Айдым проснулась. Она поругала Чагатаева — зачем он ее не разбудил раньше и у нее весь день пропал. Чагатаев сказал ей, чтоб она пошла [потрогала] остальной народ — он тоже лежит, не поднимается. Айдым, услышав такое, даже вскрикнула от ожесточения и побежала в соседний дом. Айдым подняла травяной мат над входом, чтобы холод обдал людей и они проснулись бы. Однако спящие только теснее прижимались друг к другу, съеживались, ухмылялись и спали по-мертвому.

Прошла вторая ночь. Наутро Чагатаев опять осмотрел спящих. Лица их еще более изменились, чем вчера. Старый Ванька покраснел от оживления, и теперь ему на вид было лет сорок; даже ветхий Суфьян подобрел наружностью и имел сейчас в выражении лица какую-то заинтересованность. Кара-Чорма, человек лет шестидесяти, лежал розовый и опухший и дышал воздухом с глубоким чувством, как будто питаясь влагой во время жажды. Склонившись к матери, Чагатаев не увидел изменения в ее лице; Гюльчатай, горный цветок, могла совсем не проснуться, ее глаза завалились, щеки потемнели, печать земли легла на нее. Зрачки Моллы Черкезова по-прежнему были открыты, в них появился далекий блеск, как будто проникавший из глубины мозга, и Чагатаеву показалось, что у этого человека появилось теперь зрение.

Назар истопил печь для тепла и пошел с Айдым гулять; впервые за много месяцев он имел свободный час. Метель прекратилась еще ночью; сейчас падал редкий последний снег, и на самой высокой террасе Усть-Урта уже блестел солнечный свет, веселый, ослепительный, обещающий вечное торжество. Айдым смеялась и бегала по снегу; она исчезала далеко, проваливалась в ущелья, забитые снегом, и неожиданно кидалась сзади Чагатаеву на шею. Наконец он схватил ее к себе на руки и побежал с нею к пропасти. Она заметила его намерение.

— Бросай, я не умру! — сказала Айдым.

Во время возвращения домой Айдым шла самостоятельно, рядом, и спросила Чагатаева:

— Назар, они когда проснутся?

— Скоро, скоро... Может, просыпаются уже.

Айдым задумалась.

Печь в доме еще не угасла совсем. Чагатаев растопил ее

снова, и вместе с Айдым они сварили обед на весь народ, на всякий случай.

К вечеру некоторые из людей начали просыпаться. Первым проснулся Суфьян, затем Старый Ванька и Молла Черкезов, в полночь встали все, кроме Гюльчатай. Она умерла.

Чагатаев перенес ее в свободный, холодный дом и положил на постель из высохшей травы. Опомнясь от долгого сна, народ сел обедать в теплом глиняном жилище, а Чагатаев лег рядом с матерью и уснул.

Айдым кормила народ обедом и попрекала его, что он спит по две ночи подряд, а жить одну жизнь не может. Старый Ванька захохотал над нею.

— Теперь мы помрем! — говорил он.— Не горюй о нас, девчонка...

На ночь Айдым ушла в дом, где лежал Чагатаев с покойной матерью. Она смирно улеглась в углу и сразу уснула. На рассвете она поднялась и вышла по хозяйству. Натопленный дом, где остался ночевать народ, был пуст от людей, в других двух домах тоже никого не оказалось. Айдым осмотрела и приблизительно сосчитала все вещи и принадлежности, все общее добро, пошла в то помещение, где лежал запас продовольствия, привезенный из Хивы; обеспокоившись, потрогала даже стены домов и ничего не узнала нового. Продовольствие было все цело. Как она вчера брала консервные банки на обед, так они и теперь лежали. Мешки с рисом и мукой тоже стояли нетронутые. Может, что-нибудь и пропало, но немножко, может быть — табак и спички, которые брали всегда без счету.

Она поднялась по склону из долины на плоскогорье. Маленькое солнце освещало всю большую землю, и света хватало вполне. Снег блестел по Сары-Камышу и на высотах Усть-Урта. Дул слабый ветер, но из чистого неба шло тепло, и было хорошо кругом в пространстве. Прижмуриваясь, Айдым долго наблюдала окрестности и заметила четверых людей. Все они шли по одному человеку, на большом удалении друг от друга. Один уходил по Сары-Камышу туда, где садится солнце, другой брел по нижним склонам Усть-Урта к Амударье, еще двое исчезали порознь по дальнему плоскогорью, пробираясь через горы в ночном направлении.

Айдым разбудила Назара. Чагатаев ушел один за несколько километров; он поднялся на самую высокую террасу, откуда далеко виден мир почти во все его концы. Оттуда он рассмотрел десять или двенадцать человек, уходящих поодиночке во все страны света. Некоторые шли к Каспийскому морю, другие к Туркмении и Ирану, двое, но далеко один от другого, к Чарджую и Амударье. Не видно было тех, которые ушли через Усть-Урт на север и восток, и тех, кто слишком удалился ночью.

Чагатаев вздохнул и улыбнулся: он ведь хотел из своего

одного небольшого сердца, из тесного ума и воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь, на краю Сары-Камыша, адова дна древнего мира. Но самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом...

Он медленно пошел обратно и по дороге заплакал.

Ему все же казалось, что, несмотря на все бедствия, здесь была или начиналась счастливая жизнь, и она возможна в маленьком народе, в четырех избушках, настолько же, насколько за любым горизонтом земли. Он вынул из снега куст перекати-поля и принес его в тот дом, где лежала его мать. Чагатаев тоже провожал ее сейчас в дорогу, как она его в детстве когда-то.

Айдым сидела одна в углу против мертвой старухи. Она ее боялась, и ей было интересно глядеть на нее, на то, что делается уже невидимым.

— Назар, хочешь, я поплачу по ней? — спросила Айдым.

— Не надо,— сказал Чагатаев.— Ступай напои овец. С тобой прощался кто-нибудь?

— Нет, я спала,— ответила Айдым.— Старый Ванька мне сказал, когда я уходила...

— Что сказал?

— Прощай, девка, сказал, теперь ноги ходят помаленьку и живот дышит, пора жить наступила. Больше ничего не сказал.

— А ты что?

— А я ничего... Я ему: у ишаков тоже ноги ходят.

— Почему — у ишаков?

— На всякий случай сказала!

Айдым пошла управляться с овцами, а Чагатаев взял лопату и ушел рыть могилу на плоскогорье. К вечеру он вернулся и отнес мать в землю; Айдым прибирала в то время теплую горницу, где был на постое целый народ, откочевавший неизвестно куда. Айдым засмеялась: даже слепой Молла Черкезов ушел, неужели его глаза что-нибудь увидели, как только он наелся много еды?..

17

Чагатаев и Айдым решили зимовать в четырех глиняных домах... Назар, лишенный сразу всех людей, о которых он заботился, ходил теперь один по пустым склонам Усть-Урта. Айдым стряпала обед, чинила одежду, убирала овец или делала что-нибудь другое по хозяйству — на двоих оказалось лишь немного меньше работы, чем на весь народ джан,— и время от времени она выходила глядеть наружу, чтобы Назар далеко не уходил, потому что ему, наверно, скучно жить с одной Айдым. Но Чагатаев скучал по бежавшему народу недолго; он бродил несколько дней в удивлении, что он оказался ненужным для своей родины и люди одной земли с ним предали его забве-

нию в своей памяти, оставив его и самую младшую, единственную свою дочь сиротами в пустыне. Чагатаев не понимал равнодушного, окончательного забвения; он помнил людей неизвестных и давно умерших,— даже тех, которые ему были бесполезны и самого его не знали,— ведь иначе если погибших и исчезнувших быстро забывать, то жизнь вовсе сделается бессмысленной и жалкой: тогда останется помнить только одного себя. Однако долго терпеть печаль одиночества и разлуки Чагатаев не мог; он стал приживаться к обстоятельствам: к Айдым, к овцам, к опустевшим домам, к мелким животным, проживающим повсюду в природе, и к обмершему кустарнику.

Назар находил в укромных, теплых пещерках оврагов спящих черепах и приносил их домой. Некоторые из них отогревались от зимы и оживали, другие оставались жить спящими, собирая силы для долгого, будущего лета... Чагатаев чувствовал с удивлением, что можно существовать и совместно с одними животными, с беззвучными растениями, с пустыней на горизонте, если иметь в ближнем жилище хотя бы одного человека,— пусть даже это будет ребенок, как Айдым. И здесь, в бедной природе Усть-Урта, на ветхом дне Сары-Камыша — есть важное дело для целой человеческой жизни. Не может быть, чтобы все животные и растения были убогими и грустными — это их притворство, сон или временное мучительное уродство. Иначе надо допустить, что лишь в одном человеческом сердце находится истинное воодушевление, а эта мысль ничтожна и пуста, потому что и в глазах черепахи есть задумчивость, и в терновнике есть благоухание, означающие великое внутреннее достоинство их существования, не нуждающееся в дополнении душой человека. Может быть, им требуется небольшая помощь со стороны Чагатаева, но превосходство, снисхождение или жалость им не нужны...

По вечерам Айдым зажигала лампу. Она садилась за столом против Назара и делала что-нибудь, чего не успела сделать днем: расчесывала себе блестящие, черные волосы, набирала ковер из старых тряпок и мешочных ушивок, рассматривала с улыбкой картинки в книгах, не понимая, что они изображают, или просто глядела на Чагатаева, не сводя с него глаз, и разгадывала, что́ он думает — про нее или про другое.

— Назар,— спросила Айдым в один долгий вечер.— Назар, а отчего мы живем? Нам будет хорошо за это?

— А тебе плохо сейчас со мной? — сказал Чагатаев в ответ.

— Нет, мне хорошо теперь,— произнесла Айдым и послюнявила штопку во рту.— Я просто так себе сказала, потому что у меня во рту говорится что-нибудь...

Ее большие, открытые темные глаза были наполнены блестящей силой детства и зачинающейся юности,— они смотрели на Чагатаева с доверчивым интересом и сами по себе были предметами счастья, если глядеть на них со стороны. И если

даже обмануть доверие Айдым, то она все равно простит свою обиду: ей надо жить дальше, и долго томиться каким-либо мученьем она не может.

— Назар, чего я всегда ожидаю? — опять спросила Айдым.— Отчего мне кажется такое важное, а потом ничего не бывает... Отчего у меня сердце начинает болеть?

— Ты растешь, Айдым,— сказал Чагатаев.— Пусть тебе кажется что-нибудь в голове, пусть твое сердце начинает болеть — ты не бойся, без этого горя жизнь не бывает.

— Не бывает,— согласилась Айдым.— А я не хочу, чтоб это было. У твоей матери сердце от голода болело, она мне сама говорила... Пускай у нас теперь другое горе будет, интересное, а не такое. Такое надоело. Ты выдумай что-нибудь [...]

Чагатаев привлек к себе Айдым и приласкал ее, поглаживая девочку по большой, все еще детской голове.

— Научи меня, чтоб я лучше не думала, а то я боюсь: мне кажется страшное! — сказала Айдым.

— Но ведь у тебя не от голода душа начинает болеть? — спросил Чагатаев.

— Не от голода,— ответила Айдым.— У меня от чувства... Назар, отчего я чужая?

— Кому ты чужая, Айдым? — спросил Чагатаев.

— Народ жил с нами, а теперь весь раскочевался,— сказала Айдым.— Ты тоже скоро уйдешь, кто тогда меня помнить будет?

— Я от тебя не уйду,— пообещал Чагатаев.

— Назар, скажи мне что-нибудь главное...

Айдым привернула фитиль в лампе, чтобы меньше тратилось керосина. Она понимала — раз есть что-нибудь главное в жизни, надо беречь всякое добро.

— Главного я не знаю, Айдым,— сказал Чагатаев.— Я не думал о нем, некогда было... Раз мы с тобою родились, то в нас тоже есть что-нибудь главное...

Айдым согласилась:

— Немножко только... а неглавного — много.

Айдым собрала ужинать — вынула чурек из мешка, натерла его бараньим салом и разломила пополам: Назару дала кусок побольше, себе взяла поменьше. Они молча прожевали пищу при слабом свете лампы. Тихо, неизвестно и темно было на Усть-Урте и в пустыне.

После ужина Чагатаев вышел наружу, чтобы посмотреть, что сейчас делается в мире, и послушать — не раздастся ли чей-нибудь человеческий голос во тьме... Где теперь бродит Старый Ванька или Кара-Чорма и неужели Молла Черкезов видит свет своими глазами?

Айдым тоже вышла из жилища и позвала Назара:

— Иди спать ложись, а то я огонь в лампе потушу...

— Туши,— ответил Назар,— я потом опять его зажгу.

— Нет, лучше не надо: ты спички будешь тратить! —сказала Айдым.— Ты в темноте ложись...

Айдым ушла в дом. Чагатаев сел на землю и осмотрелся. Слабая ночь шла над ним; ветра не было, звезды изредка показывались на небе — их застил высокий, легкий туман. Снег остался лишь в далеких, возвышенных овражных распадках Усть-Урта, его уже отовсюду согнал ветер и стравило полуденное солнце. А в другую сторону на юг, лежала бедная, родная пустыня, покрытая пустым небом; иногда, на мгновение, пустыня вдруг озарялась мерцающим неизвестным светом, и там чудились горы, города, население людей, большая влекущая жизнь. Но на самом деле там сейчас спали черепахи, зябло семя прошлогодних трав и мелкий, местный ветер зачинался в песке и ложился обратно в него. Чагатаев сошел вниз, поближе к Сары-Камышу, и окликнул темное пространство. Ему ничто оттуда не ответило, и даже голос его не отозвался обратно,— звук сразу заблудился и исчез.

Чагатаев вернулся домой. Айдым спала под одеялом и больше не слышала ничего, ей снились ее детские сны, и она занята была тем, что видела в самой себе. Назар зажег лампу, наложил в сумку чуреков и оделся в ватный пиджак и шапку-папаху. Затем он приоткрыл одеяло и посмотрел в лицо Айдым,— оно было оживленным, внимательным, и глаза ее, не вполне спрятанные веками, были в движении, следя за тайными событиями в своей душе.

— Айдым,— прошептал ей Чагатаев.

Айдым открыла сначала один глаз, потом другой.

— Спи, Назар,— сказала она.

— Нет, я сейчас не буду,— ответил Чагатаев.— Я пойду народ соберу, я скоро вернусь.

— Приходи скорее,— попросила Айдым.

— Ты не скучай без меня,— сказал Назар.

— Не буду,— пообещала Айдым.— Ступай скорее, а то они ослабеют — они теперь набегались, наигрались, им пора домой.

Чагатаев тронул рукою голову Айдым и пошел от нее, но Айдым велела ему сначала потушить лампу, потому что ночь еще долга, а свет ей не нужен.

Погасив лампу, Чагатаев оставил дом и отправился по нагорью в сторону Хивы. Оглянувшись вскоре на местопребывание своего народа, Чагатаев уже не увидел там ничего,— и лишь незаметно среди всего мира и природы осталась одна уснувшая девочка Айдым. Но это ничего, ей горя мало — в домах лежит рис, мука, соль, керосин, спички тоже есть, а счастье и терпение пусть она добывает в одном своем сердце, пока не вернется к ней остальной народ.

Чагатаев шел быстро; рассвет его застал уже в глуши Сары-Камыша; а темный Усть-Урт, еще находившийся в ночи, был теперь на последнем отдалении и погружался своим основанием

за край земли... На третий день пути Чагатаев пришел в Хиву. Там бывали большие базары, куда приходили люди из пустыни, чтобы посмотреть на торговое добро, купить что-либо для удовлетворения своей крайней нужды и повидаться друг с другом. Назар надеялся, что на хивинском базаре он встретит людей своего племени и уведет их обратно домой. Они неминуемо должны явиться в толпу чужого народа; им ведь нужно было послушать слухи и разговоры, посидеть в чайхане, снова почувствовать свое достоинство и задуматься о старой песне, которую споет и сыграет бахши на дутаре. В глиняных жилищах на Усть-Урте еще мало было обыкновенного, житейского, а без него нигде не живется человеку.

Чагатаев появился на хивинском базаре около полудня. Солнце, уже пошедшее на лето, хорошо освещало сорную землю базара, и земля согревалась теплом. Вокруг базара стояли дувалы жителей, около их глиняных стен сидели торгующие у своих товаров, разложенных по земле. Посреди площади на низких деревянных столах тоже шла торговля добром пустыни. Здесь лежал урюк в небольших мешках, засушенные дыни, овечьи сырые шкурки, темные ковры, вытканные руками женщин в долгом одиночестве, с изображением всей участи человека в виде грустного повторяющегося рисунка; затем целый ряд был занят небольшими вязанками дров — саксаульника и далее сидели старики на земле — они положили против себя старинные пятаки и неизвестные монеты, железные пуговицы, жестяные бляхи, крючки, старые гвозди и железки, солдатские кокарды, пустые черепахи, сушеные ящерицы, изразцовые кирпичи из древних, погребенных дворцов,— и эти старики ожидали, когда появятся покупатели и приобретут у них товары для своей нужды. Женщины торговали чуреками, вязаными шерстяными чулками, водой для питья и прошлогодним чесноком. Продав что-нибудь, женщина покупала для себя у стариков жестяную бляху на украшение платья или осколок изразцовой плитки, чтобы подарить его своему ребенку на игрушку, а старики, выручив деньги, покупали себе чуреки, воду для питья или табак. Торговля шла тож на тож, без прибыли и без убытка; жизнь, во всяком случае, проходила, забывалась во многолюдстве и развлечении базара, и старики были довольны. В некоторых дувалах, расположенных вокруг базара, в их внутренних дворах, находились чайхане; там сейчас шумели большие самовары и люди вели свою старую речь между собой, вечное собеседование, точно в них не хватало ума, чтобы прийти к окончательному выводу и умолкнуть. Пожилой, коричневый узбек пошел в одну чайхане; он понес за спиной сундук, обитый железом по углам,— и Чагатаев вспомнил этого человека: он видел его еще в детстве, и узбек тогда тоже был коричневый и старый. Он ходил по аулам и городам со своим инструментом и матерьялом в сундуке и чинил, лудил и чистил само-

вары во всех чайхане; сажа и копоть работы, ветер пустыни при дальних переходах въелись в лицо рабочего человека и сделали его коричневым, жестким, с нелюдимым выражением, и маленький Назар испугался пустынного, самоварного мастерового, когда увидел его в первый раз. Но рабочий-узбек тогда же первый поклонился мальчику, подарил ему согнутый гвоздь из своего кармана и ушел неизвестно куда по Сары-Камышу; наверно, где-нибудь в дальних песках потух самовар. Около мусорного ящика, прислонившись к нему, стояла туркменская девушка; она прижимала рукою яшмак ко рту и смотрела далеко поверх базарного народа. Чагатаев тоже поглядел в ту сторону — и увидел на краю пустыни, низко от земли, череду белых облаков, или то были снежные вершины Копет-Дага и Парапамиза, или это было ничто, игра света в воздухе, кажущееся воображение далекого мира. О чем же думала сейчас душа этой девушки,— неужели до нее не жили старшие люди, которые за нее должны бы передумать все мучительное и таинственное, чтобы она родилась уже на готовое счастье? Зачем раньше ее люди жили, если она, эта туркменская незнакомая девушка, стоит теперь озадаченная своей мыслью и печалью? Насколько же были несчастными ее родители, все ее племя, если они ничем не могли помочь своей дочери, прожили зря и умерли, и вот она стоит опять одна, так же как стояла когда-то ее нищая, молодая мать... Лицо этой девушки было милое и смущенное, точно ей было стыдно, что мало добра на свете: одна пустыня с облаками на краю, да этот базар с сушеными ящерицами, да ее бедное сердце, еще не привыкшее к нужде и терпению.

Чагатаев подошел к ней и спросил, откуда она и как ее зовут.

— Ханом,— ответила туркменка, что по-русски означало: девушка или барышня.

— Пойдем со мной,— сказал ей Чагатаев.

— Нет,— постыдилась Ханом.

Тогда Чагатаев взял ее за руку, и она пошла за ним.

Он привел ее в чайхане и поел вместе с нею горячей пищи из одной чашки, а затем они стали пить чай и выпили его три больших чайника. Ханом задремала на полу в чайхане; она утомилась от обилия пищи, ей стало хорошо, интересно, и она улыбнулась несколько раз, когда глядела вокруг на людей и на Чагатаева, она узнала здесь свое утешение. Назар нанял у хозяина чайхане заднюю жилую комнату и отвел туда Ханом, чтоб она спала там, пока не отдохнет.

Устроив Ханом в комнате, Чагатаев ушел наружу и до вечера ходил по городу Хиве, по всем местам, где люди скоплялись или бродили по разной необходимости. Однако нигде Назар не заметил знакомого лица из своего народа джан; под конец он стал спрашивать у базарных стариков, у ночных сто-

рожей, вышедших засветло караулить имущество города, и у прочих публичных, общественных людей,— не видел ли кто-нибудь из них Суфьяна, Старого Ваньку, Аллаха или другого человека, и говорил, какие они из себя по наружности.

— Бывают всякие люди,— ответил Чагатаеву один сторож-старик, по народности русский.— Я их не упоминаю: тут ведь азия, земля не наша.

— А сколько лет вы здесь живете? — спросил Чагатаев.

Сторож приблизительно подумал.

— Да уж близу сорока годов,— сказал он.— По правилу, по нашей службе надо б каждого прохожего запоминать: а может, он мошенник! Но мочи нету в голове, я уж чужой силой, сынок, живу,— свою давно прожил...

И другие старые жители Хивы или служащие тоже ничего не сообщили Чагатаеву, как будто никто из блуждающего народа джан здесь не появлялся. По справке в управлении милиции оказалось, что все души, числившиеся в племени джан, вымерли еще до революции и никакой заботы о них больше не надо.

К вечеру Чагатаев вернулся в жилую комнату в чайхане. Ханом уже проснулась; она сидела на кровати и занималась домашней работой — чинила себе платье в подоле запасной ниткой, наващивая ее во рту. Должно быть, ей каждое место приходилось считать своим домом и сразу обвыкаться с ним; иначе, если бы она откладывала свою нужду и заботу до того времени, как у нее будет свое жилище, она бы оборвалась, обнищала от небрежности и погибла от нечистоты своего тела. Чагатаев сел рядом с Ханом и обнял ее одною рукой; она перестала чинить платье и замерла в страхе и ожидании. Блаженство будущей жизни, еще не рожденной, безымянной, но уже зачинающейся в нем, прошло в сердце Чагатаева живым, счастливым ощущением. Нечто, более лучшее, чем он сам, более одушевленное и славное, томилось сейчас внутри Чагатаева, согревало его силу и радовало его. Он посмотрел на Ханом; она кротко, задумчиво улыбнулась ему, точно она вполне понимала Назара и жалела его. И тогда Чагатаев обнял Ханом обеими руками, будто он увидел в ней олицетворение того, что в нем самом еще не сбылось и не сбудется, что останется жить после него — в виде другого, высшего человека на более доброй земле, чем она была для Чагатаева. Счастливые, Ханом и Назар прижались друг к другу; старая ночь покрыла тьмою глиняную Хиву, в чайхане умолкли голоса гостей — одни из них ушли на ночлег, другие остались спать на месте — и хозяин закрыл трубу самовара глухою крышкой, чтобы несгоревший уголь затомился в трубе до завтрашнего утра. Чагатаев с жадностью крайней необходимости любил сейчас Ханом, но сердце его не могло утомиться и в нем не прекращалась нужда в этой женщине; он лишь чувствовал себя все более свобод-

ным, счастливым и точно обнадеженным чем-то самым существенным... Если Ханом нечаянно засыпала, то Назар скучал по ней и будил ее, чтоб она опять была с ним.

Не спавший всю ночь, Чагатаев наутро встал веселым и отдохнувшим человеком, а Ханом еще долго спала, свалившись с подушки на сторону милым, доверчивым лицом. Назар погладил ее волосы, запомнил ее рот, нос, лоб — всю прелесть дорогого ему человека — и ушел в город, чтобы поискать еще раз свой народ.

Солнце уже поднялось с китайской стороны, и Чагатаев посмотрел туда немного — поверх пустынь и степей, в туманную мглу неба на востоке, где находился Китай. Там уже давно проснулись и работали полмиллиарда терпеливых бедняков,— сколько мысли и чувства было в их душах, если б можно было их сразу ощутить в одном своем сердце!..

Старый рабочий-узбек показался на базарной площади. Он вышел из помещения, в котором раньше помещался караван-сарай и ночевали верблюды; он там, наверно, провел минувшую ночь и теперь шел на работу.

Чагатаев поклонился мастеровому-узбеку и спросил его: не видел ли он прохожего человека из племени джан? Узбек поглядел на Чагатаева старыми, помнящими глазами: должно быть, он тоже узнал в Назаре бывшего ребенка, которому он некогда подарил гвоздь; что хоть однажды трогало его чувство, того самоварный мастер уже не мог забыть, да и жизнь недолга — всего не забудешь.

— В Уч-Аджи видел,— тихо сказал узбек.— Он в чайхане под русскую музыку, под гармонию плясал.

— Он Старый Ванька? — спросил Чагатаев.

— Старый Ванька,— сказал рабочий-узбек.

— А ты сейчас далеко уходишь? — спрашивал Назар.

Мастеровой помедлил — он не любил говорить про свои еще не сбывшиеся намерения.

— Далеко,— сказал узбек.— В Чарджуй ухожу, там на механика учиться буду, туда экскаваторы привезли — каналы копать; я кончаю самовары работать...

— А тебе сколько лет? — интересовался Чагатаев.— Ты успеешь механиком научиться?

— Успею,— обещал самоварный рабочий.— Мне семьдесят четыре года — это я при плохой жизни прожил, а сколько я при хорошей проживу?

— Лет полтораста? — спросил Назар.

— Может быть! — ответил старик.

Они попрощались. Чагатаев вернулся в чайхане и сговорился с хозяином, чтоб он кормил Ханом и содержал ее в помещении, пока Назар не вернется — дней через десять или пятнадцать. Но хозяин попросил дать ему на харчи для Ханом деньги в задаток; ему для коммерческого оборота нужны сей-

час наличные средства. Чагатаев обещал хозяину заплатить задаток и снова пошел на хивинский базар.

К полудню ему удалось продать свой ватный пиджак: время уже все равно шло к теплу. Он взял немного денег себе, а остальные заплатил хозяину чайхане в задаток за прокормление Ханом.

Чагатаев разбудил спящую Ханом и сказал ей, чтоб она жила здесь, пока он вернется. Ханом улыбнулась ему теплым, согретым во сне лицом и велела Назару побыть еще с ней немного. Чагатаев побыл с ней, а затем оставил Ханом одну в глиняной комнате и ушел из Хивы. Он отправился сначала в южную сторону Хивинского оазиса, а потом — там видно будет...

18

Через три дня Чагатаев миновал последний аул Хивинского оазиса. Опять перед ним открылась обычная пустыня; кусты перекати-поля брели под ветром через песчаные холмы, старинная дорога вела на далекие колодцы [...]

Чагатаев побежал вперед по пустой дороге. Он хотел еще к вечеру нынешнего дня дойти до следующего оазиса — может быть, там окажется кто-нибудь, кого он ищет. Куда же они все разбрелись? Ведь их разум еще слаб и печален, они все погибнут в нищете, в отчуждении, по пескам и чужим аулам... Никакой народ, даже джан, не может жить врозь: люди питаются друг от друга не только хлебом, но и душой, чувствуя и воображая один другого; иначе, что им думать, где истратить нежную, доверчивую силу жизни, где узнать рассеяние своей грусти и утешиться, где незаметно умереть... Питаясь лишь воображением самого себя, всякий человек скоро поедает свою душу, истощается в худшей бедности и погибает в безумном унынии.

Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал [...], как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысла своего существования,— и он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает теперь в достоинстве и человечности. Если бы Чагатаев забыл или утратил это чувство, он бы смутился, ослабел, лег бы в землю вниз лицом и замер...

Две одичавшие овцы лежали невдалеке от дороги, на склоне бархана. Они были худы и подобны собакам. Чагатаев уже миновал их, но овцы пошли за ним следом, может быть, от голода или жажды, надеясь спастись при человеке, а может — от долгого одиночества и отчаяния. Однако овцы скоро изнемогли и отстали, потерявшись опять в сиротстве пустынной природы.

К вечеру Чагатаев дошел до маленького аула, расположенного у трех колодцев; здесь жили люди из племени эрсари, они кормились тем, что ловили рыбу в староречье Амударьи, когда туда набиралась паводковая вода и приносила с собой рыбу; в остальное время жители делали для певцов-бахши дутары и продавали их в ближнюю пустыню и в Чарджуй. Чагатаев слышал об этом ауле и видел его в детстве; здесь жили добрые люди, потому что они делали музыкальные инструменты и для испытания своих изделий часто должны были напевать кроткие или смешные поэтические песни.

Назар вошел внутрь первого двора и постучал в дверь, но дверь сама отворилась внутрь от его стука. На глиняном полу комнаты сидели в сумраке четверо людей; один из них тихо бил по двум струнам дутары и хрипло шептал старую песню, а другие слушали его. Чагатаев остановился при входе, чтобы не помешать музыке и песне до их окончания. Песня видимо тронула всех здешних людей,— они молчали, не замечая вошедшего, чуждого гостя. В песне говорилось о том, что у всякого человека есть своя жалкая мечта, свое любимое ничтожное чувство, отделяющее его ото всех, и поэтому своя жизнь закрывает человеку глаза на мир, на других людей, на прелесть цветов, живущих весною в песках...

По окончании песни старый хозяин жилища пригласил Чагатаева сесть рядом с ним и отдохнуть. Около него сидели два молодых человека, наверно его сыновья, а третьим был ветхий Суфьян. Хозяин, игравший на дутаре, передал ее теперь Суфьяну,— тот взял ее к себе и тщательно ощупал.

— Играть хочу, песню сам выдумал, сердце у меня хорошее,— сказал Суфьян,— а платить за дутару нечем: я не очень богатый человек, в одном теле своем живу...

На Суфьяне была надета прежняя, старосолдатская шинель, прожитая уже в клочья, почти насквозь, в рядно.

Хозяин дутары, сделавший ее, сказал одному сыну, что надо сварить рис и рыбу на угощение старого и нового гостя, а потом обратился к Суфьяну:

— Это очень хорошая дутара, но я ее не продаю... Ты человек старый и не мог себе нажить одной дутары, значит, ты жил добрым — я прошу тебя взять эту дутару без денег, чтоб мне стало хорошо.

Суфьян положил дутару себе на колени и загляделся на нее в удивлении, как на свое первое великое достояние.

После ужина Суфьян сыграл немного на дутаре и спел про умную, сильную рыбу, плавающую в черной, глубокой, земле. Чагатаев спросил его затем: где же теперь ихнее племя джан?

— Народ жить разошелся, Назар,— сказал ему Суфьян.— Раньше силы не было уйти, а ты накормил его, и он пошел ходить.

— А зачем ему ходить? — удивился Чагатаев.— Он опять силу потратит!

— Нужно,— ответил Суфьян.— А не нужно станет, народ опять на Усть-Урт вернется.

— А куда они все пошли?

— Я не спрашивал — пусть каждый сам думает,— сказал Суфьян.— Ложись спать: время идет, ночью жить не надо, я свет люблю — мне его мало видеть осталось...

Наутро, на рассвете, Суфьян взял дутару и попрощался с хозяином.

— Пойдем со мной,— сказал Суфьян Чагатаеву.— Я буду теперь бахши, буду ходить и петь по аулам, по кибиткам, пока не помру. Со мной всех людей встретишь, ты станешь мне подпевать и кушать со мной угощенье...

— Я могу выдумать тебе новые песни, которых другие бахши еще не знают,— сказал Назар.

— Ты мне спой их по дороге,— произнес Суфьян.

Хозяин дувала дал им чурек, и Суфьян с Назаром ушли по дороге на Чарджуй.

19

До самого лета Чагатаев и Суфьян ходили вдвоем по аулам, по окраинам городов и кочевым кибиткам. Суфьян играл народу на дутаре и пел, а Назар ему иногда подпевал, и оба они кормились и жили в своем долгом пути. Они прошли все оазисы от Чарджуя до Ашхабада,— были в Байрам-Али, в Мерве, в Уч-Аджи, удалялись по колодцам и такырам в кочевья и, наконец, от Ашхабада побрели на Дарвазу.

Чагатаев нигде не встретил знакомого человека из своего народа, и сердце его уже утомилось от блуждания, тщетной надежды, от тоски и памяти по Ксене, Айдым и Ханом. Он часто спрашивал у Суфьяна, как у старого умного человека: что могло случиться со всеми людьми из джана, отчего их нигде нет? Суфьян отвечал ему, что один или двое могли умереть, но остальные будут целы: жизнь для такого народа, как джан, нетрудна и любопытна, раз он уже перетерпел долгое смертное томленье.

— Он сам себе выдумает жизнь, какая ему нужна,— сказал Суфьян,— счастье у него не отымешь...

В Дарвазе Суфьян и Назар жили три дня. После того они попрощались. Суфьян задумал идти по кочевьям на Гассан-Кули, на реку Атрек, а Чагатаев решил возвращаться по хивинской дороге на Хиву, а затем через Сары-Камыш домой на Усть-Урт. Он боялся за судьбу Айдым и не знал, что сталось с Ханом, девушкой, видимо, несчастной и всем чужой. Суфьян и Назар собрали в поселке и ближних кибитках чуреков — в

качестве угощения за свою музыку,— и в одно утро они разошлись в разные стороны, теперь уже, наверно, навсегда.

Было жарко, но Чагатаев привык к пустыне, к терпению и шел от колодца к колодцу, встречая около них обыкновенно по нескольку кибиток: пустыня ведь не пустая, в ней вечно люди живут. В кибитке Чагатаев становился на ночлег и всегда ужинал в семействе добрых кочевников, как среди родственников. Чуреки, взятые из Дарвазы, он нес у себя за пазухой и на ходу ел их изредка щепотками, когда сильно уставал, чтобы отвлечь себя от утомления.

На пятый день пути Назар увидел хивинскую башню и побежал, чтобы успеть до темной ночи достигнуть базара, пока хозяин чайхане еще не спит и не закрыл дверь в заведение...

Вот он уже видит открытую дверь в чайхане, там горит свет, и оттуда вышел человек на площадь. Чагатаев пошел спокойным шагом и в чайхане поклонился гостям и хозяину. Затем он спросил у хозяина равнодушно, как чувствует себя Ханом.

Хозяин узнал Чагатаева и ответил ему:

— Она по тебе сильно соскучилась.

— Я пришел теперь,— сказал Назар.

— Она давно ушла от нас,— сообщил этот человек.— Она пошла тебя искать...

— Куда? — спросил Чагатаев.

— Не сказала,— произнес хозяин.— Она плакала один раз, потом молчала.

Чагатаев вынул остаток последнего чурека из-за пазухи и пожевал его, пока горе еще не дошло до его сердца — тогда он есть ничего не будет.

— Сколько я тебе должен денег за Ханом, что ты кормил ее? — спросил Назар.

— Денег не надо,— сказал хозяин.— Она мне посуду мыла, чайхане убирала, она работала...

Чагатаев вышел из заведения на пустой, темный хивинский базар. Тоска по утраченной, бедной Ханом уничтожила в Назаре всю его усталость, тело его сразу стало сильным и горячим, чтобы бороться со своей печалью. Он быстро пошел по площади, потом побежал и вскоре миновал пределы Хивы. Если бы Назар остановился, он бы уже не мог справиться со своим отчаянием: он бы заплакал или умер.

Без пищи и отдыха Чагатаев прошел всю ночь. Он спешил к Сары-Камышу, на Усть-Урт. Он хотел как можно скорее увидеть Айдым, чтобы успокоиться около нее и заняться заботами о ней, работой по домашнему хозяйству, обычной жизнью... В полдень, в жару Чагатаев истомился; он нашел расщелину в глинистом холме, в которой была глубокая, устойчивая тень, прогнал оттуда дремлющих ящериц и лег спать до вечера... Ночью он вошел в пределы сары-камышской впадины и впер-

вые за дорогу от Хивы напился из небольшого мелкого озерка плохой, засоленной водой. Переспав снова дневную жару в тишине какой-то влажной ямы, с вечера Чагатаев снова тронулся в ход, и на утро следующего дня он подошел к Усть-Урту. Он быстро поднялся на взгорье, чтобы скорее увидеть глиняные дома своего племени...

Встревоженный и худой, Назар взбежал на последний подъем и остановился в радости и недоумении. Светлое, чистое солнце, еще нежаркое на этой возвышенности, озаряло кроткую пустую землю Усть-Урта; четыре небольших дома были выбелены, из кухонной знакомой трубы в безветренный воздух шел сытный, пахнущий пищей дым; отара овец, не менее чем в сотню голов, паслась на удаленном склоне горы, по ту сторону большого оврага, и в стороне от поселения лежали два старых верблюда, жуя разный сор вокруг себя, чтобы не скучать и ничего не думать напрасно... Со стесненной, озабоченной душой Чагатаев пошел в дом, где была печь, но из крайнего жилища вышла Айдым с пустым ведром. Она сначала бросила ведро на землю, однако тут же опомнилась, подняла ведро обратно к себе и побежала к Назару босыми ногами. Лицо ее стало вдруг испуганным и печальным, она припала головой к животу Чагатаева и уронила ведро,— Айдым боялась, что Назар вскоре опять оставит ее и никогда не вернется; она почувствовала вперед, раньше времени. Чагатаев взял Айдым на руки и пошел с нею на озеро — он забыл попить воды и умыться. Айдым положила ему свою голову на плечо и стала говорить в ухо, как она здесь долго жила одна, потом пришел Таган с Кара-Чормой, они пригнали из пустыни сорок голов овец и четыре барана; эти овцы были ничьи, они ходили вослед одному верблюду, а у верблюда, должно быть, пропал хозяин, и верблюд сам не знал, куда ему теперь надо идти. А когда верблюд увидел в пустыне Кара-Чорму, то сам подошел к человеку и лег около него, и овцы тоже легли вокруг Кара-Чормы.

— Они не знали, где им пить,— сказала Айдым.— Траву они находят, а доставать из колодцев воду не умеют... А наружной воды мало бывает...

— А другой верблюд откуда? — спросил Чагатаев.

— Другого я сама нашла,— ответила Айдым.— Я в пески ходила тебя смотреть, думала — ты близко... А там есть колодезь, у него сруб сделан из саксаула — верблюд лежал горлом на срубе, смотрел на воду в колодце и капал туда изо рта слюной. Он уже ослаб и хотел умирать, я пошла домой, взяла ведро с веревкой и дала ему пить...

Назар поцеловал Айдым в щеку, она улыбнулась ему и отвернула свое лицо от него в первой совести девичества. Чагатаев опустил Айдым на землю, потому что озеро, куда они шли, было уже близко.

— Я тебе обед пойду стряпать, ты ведь уморился и есть хочешь,— сказала Айдым и убежала обратно.

Чагатаев не мог еще понять, что произошло здесь без него. Он умылся в озере, оправил и почистил одежду и пошел домой, в новый аул. Но солнце, идущее на полдень, и душный зной, начавшийся в затишье предгорья, утомили его; тело его ведь устало уже давно. Чагатаев лег в тень небольшой лощины и уснул, забылся всеми своими изнемогшими костями.

Он проснулся вечером; четверть луны светила над пустыней, народ сидел вокруг него и молчал. Чагатаев не мог сразу вспомнить, что он такое, и вновь закрыл глаза, чтобы одуматься. Большая теплая рука легла ему на лицо, и Чагатаев услышал знакомый, доверчивый голос, зовущий его.

— Ханом! — сказал Назар; ему стало хорошо, покойно, рука женщины была нежна и проста, Чагатаев не размышлял сейчас — сновидение это или правда, он думал об одной Ханом.

— Назар! — сказала Ханом и сняла свою руку с лица Чагатаева.

Назар увидел улыбающуюся Ханом; она сидела на земле около его головы и осторожно трогала теперь его волосы. Рядом с Ханом, ближе к ногам Чагатаева, сидели Таган, Старый Ванька, Молла Черкезов, Аллах и Кара-Чорма. Они внимательно глядели в лицо Назара, они все были живыми и целыми. Не веря им, Чагатаев приподнялся, протянул руку и коснулся каждого в отдельности. Позади их сидели неизвестные Чагатаеву люди — человек пять мужчин, четыре женщины и одна девочка, ровесница Айдым.

— Здравствуй, Назар,— сказал Молла Черкезов.

— Разве ты видишь меня? — спросил его Чагатаев.

— Немного вижу,— ответил Черкезов,— я уже давно привыкаю глядеть, но ведь раньше еды не было и душа болела, с чего было взяться глазам? Теперь она мне протирает глаза, целует их, и они видят свет в тумане...

— Кто их тебе целует? — спросил Назар.

— Ханом,— сказал Молла.— Она моя жена, я взял ее с собой из Нукуса, Ханом пришла туда из Хивы и жила одна на базаре... Спи,— Айдым не велела тебя будить.

— Я проснулся,— сказал Чагатаев; он сел на землю среди всех и понял, что все стало хорошо.

Вскоре из глиняных домов прибежала Айдым и, узнав, что Назар уже проснулся, велела всем идти есть плов, который она приготовила ради Назара.

Ханом взяла за руку Моллу Черкезова и вошла вослед Чагатаеву, а Назара вела за руку Айдым. Около своих жилищ Чагатаев увидел ночующую отару овец, голов в сто с небольшим; внутри одного дувала стояли три ишака, не считая еще двух верблюдов. Откуда же такое добро у небольшого народа?

Ведь когда Чагатаев уходил отсюда, здесь было, кажется, всего три овцы и один баран.

Назар обошел все четыре дома; внутри их было чисто, стены выбелены, в одной комнате он заметил запасы шерсти и два небольших ковра, сотканных уже здесь же, руками женщин, пришедших жить в народ джан.

В том жилище, где Айдым собрала общий, праздничный ужин, на полу лежали вымытые циновки, в глиняных кувшинах стояла свежая трава из дальних высоких долин Усть-Урта и в больших глиняных блюдах лежал обильный плов для угощения целого народа. Вокруг этого плова сели еще пятеро неизвестных Чагатаеву пожилых туркменов, почти стариков, и семь человек женщин, кроме тех людей, что сторожили спящего Назара. Он поклонился всему своему племени и всем новым родственным людям, пришедшим жить сюда общей жизнью. Айдым велела ему взять плов первым, и после того все стали не спеша кушать пищу, понимая ее ценность и достоинство...

Всю ночь просидел народ в беседе друг с другом, в удовольствии своей дружбы и свидания. Лампа горела посреди пола в кругу людей; изредка кто-нибудь выходил посмотреть овец, ишаков и верблюдов, потом снова возвращался; ровесница Айдым уснула около своей матери, Айдым тоже спала уже, положив голову на колени Назару, счастливая Ханом дремала и стыдилась, что ей хочется спать при Чагатаеве. Беззвучно было на Усть-Урте, четверть луны давно закатилась за край пустыни, все одинокие животные спали в песках и в горах, лишь время от времени кричали ишаки в дувале.

— Зачем вы ушли от нас тогда зимой? — спросил Назар у Кара-Чормы и Моллы Черкезова.

Они нахмурились в недоумении какой-то странной мысли, а Старый Ванька ответил за них:

— Мы думали, что уж давно нету ничего на свете... Мы думали, одни мы остались — к чему ж тогда и нам жить?

— Мы проверить пошли,— сказал Аллах.— Нам интересно стало, где есть другие люди.

Чагатаев понял их и спросил, что, значит, они теперь убедились в жизни и больше умирать не будут?

— Умирать не надо,— произнес Черкезов.— Один раз умрешь — может быть, нужно бывает и полезно. Но ведь за один раз человек своего счастья не понимает, а второй раз умереть не успеешь. Поэтому тут нету удовольствия...

— А откуда у вас овцы, верблюды, где вы взяли это небедное добро? — спросил еще Чагатаев.

— Овец мы заработали,— сообщил Таган; и каждый сказал после того, что с ним случилось.

Убедившись в действительности мира и в прелести его, пожив с женщинами, поев разнообразной пищи, Таган, Аллах,

равно и прочий человек из джана, пошел работать, где ему пришлась выгода. Старый Ванька брал деньги за то, что хорошо плясал в пивных, в чайхане, на базарах и на русских свадьбах, Аллах дробил камень для шоссейной дороги за Чарджуем, Молла Черкезов мыл шерсть в Нукусе. Ели они мало,— они отвыкли за прежнюю жизнь,— бедняки городов казались им купцами, одежда на них еще держалась,— поэтому деньги у каждого человека стали собираться. Они купили по-разному: кто овец, кто ишаков, кто тех и других, кто женился — и пошли постепенно домой на Усть-Урт, потому что жить оказалось можно, а новый аул их стоял вдалеке нежилым, но ведь это было их добро и родное жилище... В пустыне — у такыров, в забытых староречьях, во влажных впадинах — жили еще робкие остатки вымерших семейств и племен. Когда люди джана гнали овец и ослов домой и вели за руку своих жен, они встретили этих неизвестных людей. Аллах привел их с собой сразу шесть душ. Таган и Старый Ванька не звали их с собой, но забытые люди сами побрели за ними, чтобы спастись для дальнейшей жизни.

— Вот они с нами теперь живут наравне,— указал Старый Ванька на чужих людей.— Пусть живут: от народа не победнеешь...

— Нет, вы будете богатыми,— произнес Чагатаев.

— Устроимся, и будем,— согласился Старый Ванька.— Мы по-мертвому жили, а по-хорошему жить нам не трудно.

— Не интересно даже,— сказал Аллах.

— Пока пусть нам будет хорошо, это самое интересное,— ответил Чагатаев.— Горе и печаль к нам тоже еще придут, но пусть наше горе будет не такое жалкое, какое было у нас, а другое. Наше горе было похоже на горе ящерицы или черепахи.

— Это ведь правда! —сказала вдруг молчавшая, дремлющая Ханом.

— Из какого вы племени? — спросил Чагатаев у старого туркмена, который был по виду старше всех.

— Мы — джан,— ответил старик, и по его словам оказалось, что все мелкие племена, семейства и просто группы постепенно умирающих людей, живущие в нелюдимых местах пустыни, Амударьи и Усть-Урта, называют себя одинаково — джан. Это их общее прозвище, данное им когда-то богатыми баями, потому что джан есть душа, а у погибающих бедняков ничего нет, кроме души, то есть способности чувствовать и мучиться. Следовательно, слово «джан» означает насмешку богатых над бедными. Баи думали, что душа лишь отчаяние, но сами они от джана и погибли,— своего джана, своей способности чувствовать, мучиться, мыслить и бороться у них было мало, это — богатство бедных...

Народ уже дремал. Ханом приоткрыла рот в сладости сна,

прислонившись к мужу, Молле Черкезову. Чагатаев, чтобы не беспокоить Айдым, спавшую головой у него на коленях, лег осторожно на том же месте, где он сидел, и закрыл глаза в покое счастья и сна.

20

До конца лета Назар Чагатаев жил в своем народе на Усть-Урте. В ауле к тому времени прибавилось три новых глиняных дома и четыре женщины зачали от своих мужей и понесли в себе детей. В ноябре месяце из Хивы вернулись Старый Ванька и Кара-Чорма; их посылал туда Чагатаев со стадом овец в тридцать голов, чтобы они сдали шерсть и мясо государству, а на вырученные деньги купили бы муку, рис, соль, керосин и прочие продукты, а также новую одежду — для запаса на всю зиму до будущего лета, когда в отаре возмужает новое потомство овец.

В конце ноября Чагатаев попрощался со своим народом. Он дал ему совет — выбрать вместо него старшим человеком народа Ханом, хотя она и носит ребенка от Моллы Черкезова уже пятый месяц; но к тому времени, как она родит, может быть, Чагатаев уже вернется из Москвы обратно на Усть-Урт. Народ подумал немного и согласился: женщина часто бывает лучше мужчины, мать дороже или милее отца.

Девочку Айдым Чагатаев тоже уводил вместе с собой. Он обещал ее отдать в Москве на обучение, а когда Айдым станет ученой девушкой, она сама придет домой на Усть-Урт и научит всех, кто ее дождется, как правильно жить дальше...

Одним утром Назар и Айдым взяли немного пищи с собой на дорогу и спустились с возвышенности Усть-Урта. Весь народ джан вышел их провожать. Сойдя во впадину Сары-Камыша, Чагатаев оглянулся; народ все еще стоял на взгорье и следил за ним.

— Айдым, посмотри на всех, кто остался,— сказал Назар.— Попрощайся!

— А я все равно вернусь ведь домой когда-нибудь, тогда их и увижу,— ответила Айдым и не стала глядеть на маленьких людей, оставшихся вдалеке.

Три овцы и баран следовали за ними полдня по своей воле, потом они отстали и потерялись в пустынных местах.

Из Хивы до Чарджуя Чагатаев и Айдым доехали на грузовом автомобиле, а из Чарджуя отправились на поезде в Ташкент. В Ташкенте Чагатаев пробыл два дня, чтобы доложить о своей деятельности. В ЦК партии Чагатаева поблагодарили за работу по спасению кочевого племени джан от гибели в дельте Амударьи и сказали, что люди дальше сами найдут свою боль-

шую дорогу, а не останутся лишь в маленьком овраге Усть-Урта. Счастье всегда имеет большой размер, оно равняется всему социализму.

Айдым жила в чайхане около вокзала и без Чагатаева не выходила на улицу от страха. На второй день вечером Чагатаев взял Айдым за руку, и они пошли садиться на московский поезд. На вокзале он послал телеграмму Ксене, не зная, помнит ли она его теперь. Айдым с удивлением глядела на Назара: он побрился, был без бороды и усов и стал непохожим на того, кто ходил с ней по пустыне, по воде и горам. Она пробовала руками новый костюм на нем, в который он оделся в Ташкенте, и думала, какой Назар богатый. Но Чагатаев ей тоже купил новую узбекскую одежду и переодел ее в вагоне во все новое, а ветхий капот ее спрятал зачем-то к себе в карман.

Почти всю первую ночь в поезде Чагатаев простоял у окна в коридоре вагона, глядя в пустыни и степи, замечая редкие, далекие костры чабанов. Айдым спала на лавке. Чагатаев изредка поправлял ее одеяло, складывал обратно руки и ноги, когда она по-детски раскидывалась, и гладил ей голову, когда она бормотала что-то во сне, мучительно переживая дневные впечатления.

В Москве на вокзале Чагатаева встретила Ксеня, выросшая и другая, чем во время их разлуки, как настоящая женщина. Она была в пальто с большим серым воротником и в черной шапочке,— в Москве шла зима. Разноцветные глаза ее заплакали, когда она увидела Чагатаева в толпе пассажиров. Она подбежала к нему и обняла, остановив движение задних людей. Ксеня не заметила сразу, что около Чагатаева стоит девочка в длинном цветном платье далекого народа и держится рукою за борт пиджака Чагатаева. Оба они были без пальто, поэтому Ксеня, после знакомства с Айдым, открыла свое пальто и взяла Айдым к себе на руки, прислонив ее тело к своей груди. Ксеня была вдвое больше Айдым, но все же она раскраснелась от напряжения. На вокзальной площади Ксеня наняла такси, потому что Назару и девочке было холодно.

— А куда мы поедем? — спросил Чагатаев у Ксени; ему некуда было ехать в Москве.

— К моей маме,— ответила Ксеня.— Я забронировала ее комнату для вас.

В автомобиле Ксеня сидела с красным лицом, словно она стыдилась чего-то, или это было от юности, когда жизнь от наслаждения кажется позором.

Автомобиль остановился. Ксеня передала Чагатаеву ключ и попросила прийти к ней завтра в гости.

— Только у меня адрес теперь другой,— сказала она.— Я живу отдельно, я одна, а вашу телеграмму мне бабушка переслала...

Она дала ему адрес на бумаге из блокнота, и они попроща-

лись. Чагатаев вошел в знакомый новый дом, Айдым держалась за его руку. У них не было никакого багажа.

В большой комнате, убранной мелкой мебелью Веры, Чагатаев сел на постель, не раздеваясь, потом положил голову поверх одеяла; прежний, вечный запах Веры еще хранился в ее постели. Чагатаев дышал этим запахом, думал и дремал. Айдым влезла с ногами на подоконник и глядела оттуда на большую Москву.

Утром на другой день Чагатаев пошел с Айдым в магазины, купил ей европейские кофты и юбки и два пальто — для себя и для нее. Айдым сразу изменилась в новой одежде: Чагатаев увидел, что она красавица.

Вечером они поехали в гости к Ксене. Ехать было далеко, в глубину Замоскворечья. После трамвая Чагатаев и Айдым долго шли пешком и наконец нашли по писаному адресу общежитие студентов торфяного техникума. В этом техникуме, очевидно, теперь училась Ксеня.

В общежитии, как у многих девушек, у нее была отдельная комната. Чагатаев постучался в дверь, и так как перегородки между комнатами и сама стена коридора были тонкие, то сразу три девичьих голоса сказали: «Войдите», в том числе и голос Ксени.

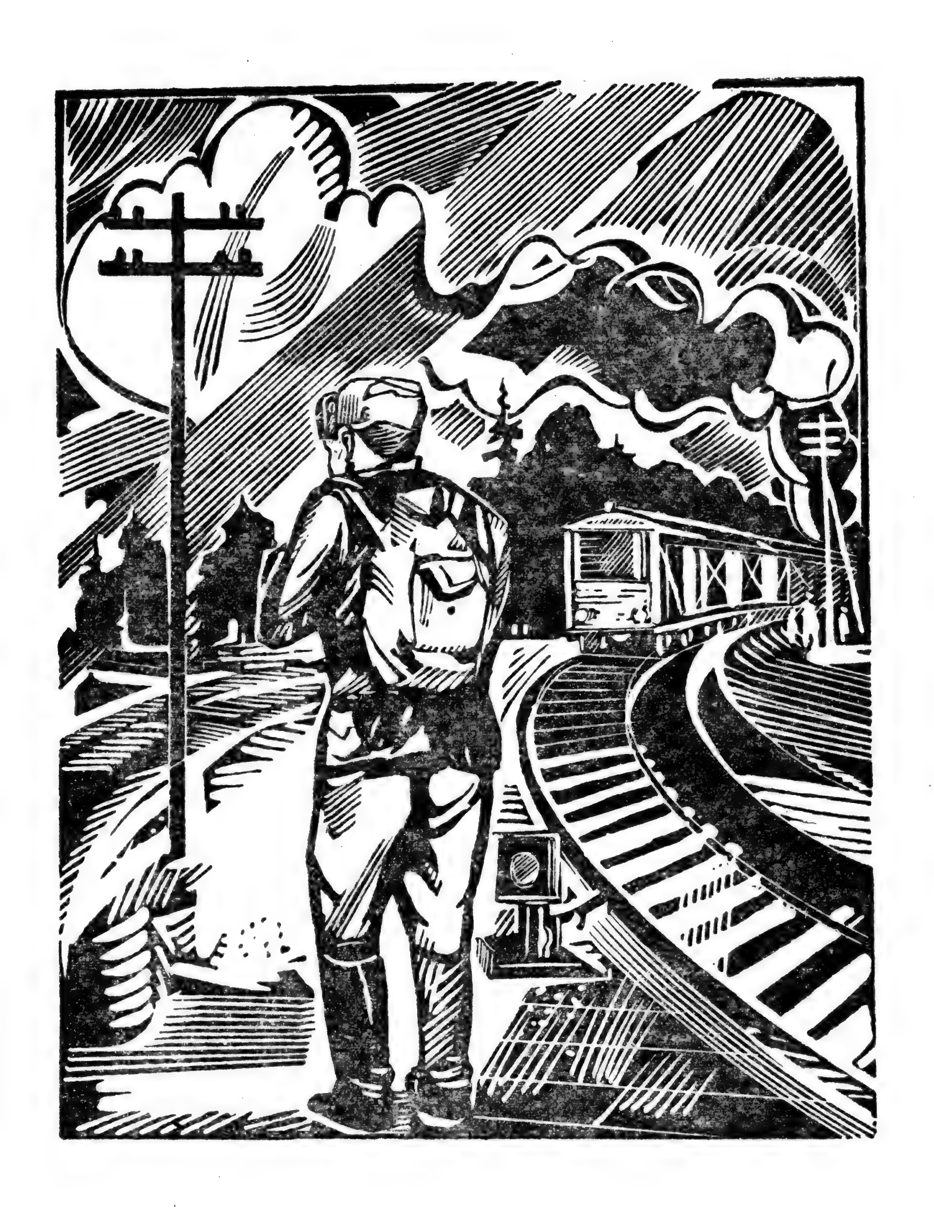
Она открыла дверь, и сразу трудное чувство волнения заполнило ее лицо излишним румянцем. На столе находилось заранее приготовленное робкое угощение, покрытое скатертью. Ксеня усадила гостей, сняла скатерть с закусок и сейчас же стала уговаривать их съесть ее пищу, но вилки, ложки, ножики валились у нее из рук на пол, вдобавок она зацепила красное разливное вино, налитое в какую-то масленую, должно быть керосиновую бутылку, и вино разлилось по столу бесполезно. Ксеня убежала в коридор, спряталась в уборную и там заплакала от мучительного жалкого стыда. Айдым без нее устроила порядок и даже слила со стола вино обратно в бутылку, так что сохранилась четверть прежнего количества. Ксеня вернулась с темными кругами под глазами и просила все же скушать, что она купила и настряпала; больше она ничего не знала, что говорить. Она не могла объяснить, почему ей совестно иногда быть живой и грустно чувствовать себя женщиной, человеком, желать счастья и удовольствия,— даже будучи одна, она от этого сознания закрывала себе лицо руками и краснела под ладонями.

Поев из вежливости угощенье, Чагатаев и Айдым стали прощаться с хозяйкой. Чагатаев обещал прийти к ней еще раз — через несколько дней.

Но они увиделись раньше,— на следующий вечер Ксеня пришла к Чагатаеву сама. Она хотела помочь Айдым, как старшая женщина девочке. Ксеня повела ее в баню, из бани они отпра-

вились кататься на метрополитене и вернулись домой уже поздно.

В выходной день Ксеня приехала с утра и привезла с собой несколько штук своего белья, из которого она сама выросла, а для Айдым оно было впору. В тот день они все трое ходили в столовую обедать, потом гуляли, были в кино и возвратились к вечеру. Айдым свернулась на постели матери Ксени и сразу заснула. Чагатаев и Ксеня сидели против спящей девочки на маленьком диване; они молча глядели на Айдым, на ее лицо, где еще были черты детства, страдания и заботы, и на ясное выражение ее зреющей высшей силы, которая делала эти черты уже незначительными и слабыми. Чагатаев взял руку Ксени в свою руку и почувствовал дальнее поспешное биение ее сердца, будто душа ее желала пробиться оттуда к нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого человека.



РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Шло жаркое, сухое лето 1921 года, проходила моя юность. В зимнее время я учился в политехникуме на электротехническом отделении, летом же работал на практике, в машинном зале городской электрической станции. От работы я сильно уставал, потому что никакого силового резерва на станции не было, а единственный турбогенератор шел без остановки уже второй год — день и ночь, и поэтому за машиной приходилось ухаживать столь точно, нежно и внимательно, что на это тратилась вся энергия моей жизни. Вечером, минуя гуляющую по летним улицам молодежь, я возвращался домой уже дремлющим человеком. Мать мне давала вареную картошку, я ужинал и одновременно снимал с себя рабочий пиджак и лапти, чтобы после ужина на мне оставалось мало одежды и сразу можно было бы лечь спать.

Среди лета, в июле месяце, когда я так же, как обычно, вернувшись вечером с работы, уснул глубоко и темно, точно во мне навсегда потух весь внутренний свет, меня разбудила мать.

Председатель губисполкома Иван Миронович Чуняев прислал ко мне со сторожем записку, в которой просил, чтобы я нынче же явился к нему на квартиру. Чуняев был раньше кочегаром на паровозе, он работал вместе с моим отцом и по отцу знал меня.

В полночь я сидел у Чуняева. Его мучила задача борьбы с разрухой, и он, боясь за весь народ, тяжело переживал мутную жару того сухого лета, когда с неба не упало ни одной капли живой влаги, но зато во всей природе пахло тленом и прахом, будто уже была отверзта голодная могила для народа. Даже цветы в тот год пахли не более, чем металлические стружки, и глубокие трещины образовались в полях, в теле земли, похожие на провалы меж ребрами худого скелета.

— Ты скажи мне, ты не знаешь, что такое электричество? — спросил меня Чуняев.— Радуга, что ли?

— Молния,— сказал я.

— Ах, молния! — произнес Чуняев.— Вон что! Гроза и ливень... Ну, пускай! А ведь и верно, что нам молния нужна, это правильно... Мы уж, братец ты мой, до такой разрухи дошли, что нам действительно нужна только одна молния, чтоб — враз и жарко! На́ вот, прочти, что люди мне пишут.

Чуняев подал мне со стола отношение на бланке сельсовета. Из сельсовета деревни Верчовки сообщали:

«Председателю губисполкома т. Чуняеву и всему президиуму.

Товарищи и граждане, не тратьте ваши звуки среди такой всемирной бедной скуки. Стоит, как башня, наша власть науки, а прочий вавилон из ящериц, засухи разрушен будет умной рукой. Не мы создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца. И будет жизнь могучей и прекрасной, и хватит всем куриного яйца! Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отведет. Напротив: он всю землю чисто в научное давление возьмет... Громадно наше сердце боевое, не плачьте вы, в желудках, бедняки, минует это нечто гробовое — мы будем есть пирожного куски. У нас машина уж гремит — свет электричества от ней горит; но надо нам помочь, чтоб еще лучше было у нас в деревне на Верчовке, а то машина ведь была у белых раньше, она чужою интервенткой родилась, ей псих мешает пользу нам давать. Но не горюет сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое!

За председателя Совета (он выбыл в краткий срок на контратаку против всех бандитов-паразитов и ранее победы не вернется ко двору) — делопроизводитель *Степан Жаренов*».

Делопроизводитель Жаренов был, очевидно, поэт, а Чуняев и я были практиками, рабочими людьми. И мы сквозь поэзию, сквозь энтузиазм делопроизводителя увидели правду и действительность далекой, неизвестной нам деревни Верчовки. Мы увидели свет в унылой тьме нищего, бесплодного пространства,— свет человека на задохнувшейся, умершей земле,— мы увидели провода, повешенные на старые плетни, и наша надежда на будущий мир коммунизма, надежда, необходимая нам для ежедневного трудного существования, надежда, единственно делающая нас людьми, эта наша надежда превратилась в электрическую силу, пусть пока что зажегшую свет лишь в дальних соломенных избушках.

— Ступай туда,— сказал мне Чуняев,— и помоги им, ты долго ел наш хлеб, когда учился. С городской электрической станцией мы сговоримся, тебя оттуда отпустят...

На другой день я с утра отправился в деревню Верчовку; мать сварила мне картошек, положила в сумку соли и немного хлеба, и я пошел на юг по проселкам и шел три дня, потому что карты у меня не было, а Верчовок оказалось три — Верхняя, Старая и Малобедная Верчовка. Но делопроизводитель, товарищ Жаренов, думал, конечно, что их знаменитая Верчовка только одна на свете и она известна всему миру, как Москва, поэтому Жаренов и не прибавлял к своей деревне добавочного названия, а жареновская Верчовка оказалась именно Малобедной, чтоб можно было отличить ее от прочих Верчовок.

Обойдя обе Верчовки, где не было электрических станций, к Малобедной Верчовке я подошел за полдень третьего дня пути... На виду деревни я остановился, потому что заметил большую пыль в стороне от дороги и рассмотрел там толпу народа, шествующую по сухой, лысой земле. Я подождал, пока народ выйдет ближе ко мне, и тогда увидел попа с помощниками, трех женщин с иконами и человек двадцать богомольцев. Здешняя местность имела покатость в древнюю высохшую балку, куда ветер и весенние воды отложили тонкий прах, собранный с обширных нагорных полей.

Шествие спустилось с верхних земель и теперь шло по праху в долине, направляясь к битой дороге.

Впереди шел обросший седой шерстью, измученный и почерневший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадилом на дикие, молчаливые растения, встречавшиеся на пути. Иногда он останавливался и поднимал голову к небу в своем обращении в глухое сияние солнца, и тогда было видно озлобление и отчаяние на его лице, по которому текли капли слез или пота. Сопровождавший его народ крестился в пространстве, становился на колени в пыльный прах и кланялся в бедную землю, напуганный бесконечностью мира и слабостью ручных иконных богов, которых несли старые заплаканные женщины на своих отрожавших животах. Двое детей — мальчик и девочка,— в одних рубашках и босые, шли позади церковной толпы и с интересом изучения глядели на действия взрослых; дети не плакали и не крестились, они боялись и молчали.

Около дороги находилась большая яма, откуда когда-то добывалась глина. Шествие народа остановилось около той ямы, иконы были поставлены ликами святых к солнцу, а люди спустились в яму и прилегли на отдых в тень, под глинистый обрыв. Поп снял ризу и оказался в штанах, отчего двое детей сейчас же засмеялись.

Большая икона, подпертая сзади комом глины, изображала деву Марию, одинокую молодую женщину, без бога на руках. Я всмотрелся в эту картину и задумался над ней, а богомольные женщины расселись в тени и уже занялись там своим делом — они искали одна у другой в голове.

Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна видимая рука ее была жилиста и громадна и не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам — потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало меня — они смотрели без смысла, без веры, сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадности; никакой нежности, глубокой надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной богоматери, хотя обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках; рот ее имел складки и морщины, что указывало на зна-

комство Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной жизни,— это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью бога. И народ, глядя на эту картину, может быть, также понимал втайне верность своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия.

Около иконы сидела усохшая старуха, ростом с ребенка, и невнимательно смотрела на меня темными глазами; лицо и руки ее были покрыты морщинами, точно застывшими судорогами страдания, а во взгляде был зоркий ум, прошедший такие испытания жизни, что старушка, наверно, знала про себя не меньше целой экономической науки и могла бы быть почетным академиком.

Я спросил у нее:

— Бабушка, зачем вы ходите, молитесь? Бога же нет совсем, и дождя не будет.

Старушка согласилась:

— Да и наверно, что нету,— правда твоя!

— А на что вы тогда креститесь? — спросил я ее далее.

— Да и крестимся зря! Я уж обо всем молилась — о муже, о детях, и никого не осталось — все померли. Я и живу-то, милый, по привычке, разве по воле, что ли! Сердце-то ведь само дышит, меня не спрашивает, и рука сама крестится: бог — беда наша... Ишь убытки какие — и пахали, и сеяли, а рожон один вырос...

Я помолчал в огорчении.

— Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы.

— Разума! — произнесла старуха с ясным сознанием.— Да я столько годов прожила, что у меня разум да кости — только всего и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена — во мне и умереть-то мало чему осталось, все уж померло помаленьку. Ты погляди на меня, какая я есть!

Старуха покорно сняла платок с головы, и я увидел ее облысевший череп, кости которого обветшали, готовые уже развалиться и предать безвозвратному праху земли скупо скопленный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях.

— Придет зима, я и соседу пойду поклонюсь,— сказала старуха,— и у богача в сенцах поплачу: все, может, пшена подживусь до лета, а летом уж погибелью своей буду отплачивать — за мешок полтора мешка, да отработки четыре дня, да почету ему на пять мешков... Разве мы богу одному только кланяемся — мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека,— и на всех крестимся! Разве мы молимся оттого, что любим! Нам и любить-то нечем уж!

Я отошел прочь от старухи, исполненный скорби и размышления. Толпа народа начала собираться с отдыха, и весь крест-

ный ход, молившийся о дожде, направился назад на деревню. Осталась лишь одна старуха, говорившая со мною.

Старуха желала еще немного передохнуть, и все равно бы она теперь не поспела идти за людьми на своих детских уставших ногах, когда народ пошел спешно, по-деловому, и сам поп уже шагал в штанах.

Увидев ее состояние, я поднял старуху к себе на руки и понес ее к деревне, как восьмилетнюю девочку, сознавая всю вечную ценность этой ветхой труженицы.

В деревне у одной попутной избушки старушка сошла с моих рук. Я попрощался с нею, поцеловал ее в лицо и решил посвятить ей свою жизнь, потому что в молодости всегда кажется, что жизни очень много и ее хватит на всех старух.

Верчовка оказалась небольшой деревней — дворов не более тридцати, но исправных изб в ней было мало; жилища обветшали и уже загнивали нижними венцами срубов в земле. Военный империализм, прошедший по всему миру, сделал все видимое, все добытое, устроенное и сбереженное поколениями тружеников похожим на погост.

Мальчик, которого я затем навеки потерял из виду, с охотой провел меня на электрическую станцию, работавшую в полверсте от деревни — около общественного водопоя на проезжем тракте.

Английский двухцилиндровый мотоцикл фирмы «Индиан» был врыт в землю на полколеса и с ревущей силой вращал ремнем небольшую динамо-машину, которая стояла на двух коротких бревнах и сотрясалась от поспешности работы. В прицепной коляске сидел пожилой человек и курил цигарку; тут же находился высокий столб, и на нем горела электрическая лампа, освещая день, а кругом стояли подводы с распряженными лошадьми, евшими корм, и на телегах сидели крестьяне, с удовольствием наблюдавшие за действием быстроходной машины; некоторые из них, худые по виду, выражали открытую радость; они подходили к механизму и гладили его, как милое существо, улыбаясь притом с такой гордостью, точно они принимали участие в этом предприятии, хотя сами были нездешние.

Механик электростанции, сидевший в мотоциклетной коляске, не обращал внимания на окружающую его действительность: он вдумчиво и проникновенно воображал стихию огня, бушующую в цилиндрах машины, и слушал со страстным взором, как музыкант, мелодию газового вихря, вырывающегося в атмосферу.

Я громко спросил у механика, зачем он работает сейчас впустую, ради одной лампочки на столбе, и зря тратит топливо и машину.

— Не зря,— равнодушно сказал механик; он вышел из прицепа и попробовал ладонью подшипник у динамо-машины около большого самодельного деревянного шкива, которым она

вращалась.— Не зря,— сообщил механик.— Мы работаем вечером, а сейчас мы только пытаем машину и крутим ее впрок, чтоб все части у нее пригартовались и привыкли друг к другу. И перед проезжим народом нам надо похвастаться — это, стало быть, будет агитация. Пусть люди любуются!

В словах механика об опытной работе установки было дельное соображение, потому что мотоциклетный мотор был старой машиной, пережившей дороги войны, и некоторые заводские части, наверно, в нем заменяли деталями, сделанными в местной кузнице от руки, и нужно было эти части испытать и дать им приработаться.

Я молча изучил устройство электростанции, не обращаясь более к задумчивому механику. Под сиденьем мотоцикла я прочел номер машины: Е-О-401, а под тем номером имелась еще мелкая английская надпись, означавшая в переводе воинскую часть «77-й британский королевский колониальный дивизион».

Провода от электростанции на деревню шли под землей, в глухом кабеле, и вечером, должно быть, торжественно сияли окна деревенских избушек, охраняя от тьмы революцию.

Механик подошел ко мне и протянул кисет с табаком.

— Покури, лучше будет,— сказал он мне.— Что смотришь? Наверно, на молотилке работал и думаешь, что в моторах понимаешь?

— На молотилке работать не приходилось,— ответил я и сам спросил деревенского машиниста: — Чем топите машину?

— Хлебным спиртом, чем же,— вздохнув, сказал механик.— Гоним самогон особой крепости, тем и светим.

— А смазка? — интересовался я далее.

— Чем придется,— ответил человек.— Что сыщешь, профильтруешь через тряпку, тем и смазываешь.

— Хлеб-то жалко ведь жечь в машине,— сказал я,— не стоило бы?

— Хлеба жалко,— согласился механик.— А что сделаешь: другого газу нету.

— А чей хлеб это вы на газ переводите?

— Народа, чей же, общества,— пояснил машинист.— Собрали фонд по самообложению, а теперь берем из фонда и еще кой-откуда...

Я удивился, что крестьяне столь охотно стравляют хлеб прошлогоднего урожая в машину, когда в нынешнее лето хлеб от засухи совсем не уродится.

— Это ты народа нашего не знаешь,— медленно говорил механик, все время вслушиваясь в работу машины, от которой мы стояли теперь в удалении, у коновязи.— Раз есть нечего, то и читать, что ль, народу не надо!.. У нас в Верчовке богатая библиотека от помещика осталась, крестьяне теперь читают книги по вечерам,— кто вслух, кто про себя, кто чтению учится... А мы им свет даем в избы, вот у нас и получается свет и чте-

ние. Пока другой радости у народа нету, пусть будет у него свет и чтение.

— Если б машину топить не хлебом, то было бы еще лучше,— советовал я.— Тогда у вас получились бы хлеб, свет и чтение.

Механик поглядел на меня и скрыто, но вежливо улыбнулся.

— Ты не жалей этого хлеба: он все равно мертвый, не едоцкий... Тут кулак у нас жил, Чуев Ванька,— он с белыми всем семейством ушел, а хлеб зарыл в дальнем поле. Так мы его хлеб с товарищем Жареновым целый год искали, а когда нашли, так зерно уже задохнулось и умерло: на еду оно тухлое, на семена вовсе негоже, а на спирт, на вредную химию эту, оно пойдет. А ведь там сколько ж было? Да пудов без малого четыреста! А фонд по самообложению и взаимопомощи мы еще и не трогали: как был, так и есть — двадцать пудов. Наш председатель оттуда крошки тебе не подарит, пока и вправду с голода не опухнешь. Да ведь иначе и нельзя, а то...

И здесь механик прервал свою речь и бросился к электрической станции, потому что ремень соскочил со шкива динамомашины.

Я же обратился к деревне Верчовке и направился туда. На околице деревни сильно и безостановочно дымила печная труба, и я пошел в ту избу, которая столь жарко топилась в летний день. Изба, судя по двору и воротам, была выморочная или бесхозная. Ворота заросли, на дворе поселился жесткий, зачумленный бурьян, терпящий одинаково и жару, и ветры, и ливневые потоки и выживающий всегда.

Внутри избы я увидел печь, и в нее был вделан самогонный аппарат. Печь топилась корневищами, а у исходной трубки аппарата сидел на табуретке веселый, блаженный старик, освещенный пламенем, с кружкой в правой руке и с куском посоленной картошки в левой: старик, должно быть, ожидал очередного выхода безумной жидкости, чтобы попробовать ее — годится ли она для горения в машине или слаба еще. Собственный желудок и кишки старика-дегустатора были прибором для испытания горючего.

Я вышел во двор избы, чтобы увидеть электрическую линию, потому что на улице ее не было. Линия шла через дворы; крюки изоляторов были укреплены в стенах надворных построек, в редких ветлах или просто были завинчены в большие, наращенные один на другой колья плетней, и оттуда уже шли местные ответвления проводов в жилые горницы и дворовые службы. В этой местности, лишенной леса, нельзя было найти столбов для устройства обычной уличной сети. И с хозяйственной, а также с технической точки зрения подобное решение вопроса электропередачи было единственно возможное и правильное.

Однако, опасаясь пожара от неправильной проводки воздушной линии, я пошел по дворам, перелезая через плетни и слеги, огораживающие соседские владения, и всюду осмотрел снаружи подвеску и крепление магистральных проводов. Натяжка линии была хорошая, и провода нигде не проходили близко от соломы или прочих ветхих и горючих веществ, способных затлеть от нагревания их токонесущей медью.

Успокоившись насчет пожара, я нашел прохладное укромное место в тени одного овина и уснул там для отдыха.

Но, еще не отдохнув как следует, я вынужден был проснуться, потому что меня кто-то толкал ногою и будил.

— Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать! — произнес неизвестный человек надо мною.

Я в ужасе опомнился; поздняя жара солнца, как бред, стояла в природе. Ко мне наклонился человек с добрым лицом, морщинистым от воодушевленного оживления, и приветствовал меня рифмованным слогом, как брата в светлой жизни. По этому признаку я догадался, что предо мною был делопроизводитель местного сельсовета, писавший отношение в губисполком.

— Вставай, бушуй среди стихии, уж разверзается она, большевики кричат лихие и сокрушают ад до дна!

Но у меня тогда была в уме не поэзия, а рачительность. Поднявшись, я сказал делопроизводителю про мотоциклетную электростанцию и про то, что необходимо достать где-либо насос.

— Мне ветер мысли все разнес,— ответил делопроизводитель,— и думать здесь я не могу про... А дальше как? — спросил он вдруг у меня.

— Про твой насос! — добавил я ему на помощь.

— Про твой насос!.. Пойдем ко мне в мою усадьбу,— продолжал делопроизводитель во вдохновении сердца,— ты мне расскажешь не спеша: могилы ждешь ты или свадьбы и чем болит твоя душа.

В сельсовете я с точностью изложил делопроизводителю деревни свой план, который касался орошения сухой земли водою, чтобы прекратить крестные походы населения за дождем.

— Провижу я чело твое младое! — воскликнул делопроизводитель.— В ответ гремит тебе отсюда,— он показал на грудь,—сердце боевое!

Я спросил его:

— У вас есть общественная огородная земля, чтоб там не было многих хозяев?

Делопроизводитель без размышления сразу дал справку:

— Земля такая есть. Она была коровья. Теперь же стала вдовья и отведена семействам — как их такое?..— сбился он вдруг.— Семействам больраненых красноармейцев! — сказал

добавочно делопроизводитель.— В ней сорок десятин. Там пашет, жнет и сеет орган власти — сельсовет! Там было раньше староселье, теперь же пустошь, зато осталось удобренье и злак растет, как дым зимой из труб. Ну, а теперь, конечно, все засохло — нам без воды и солнце ни к чему!

Я сообразил, что, может быть, мотоциклетной силы не хватит для увлажнения водою сорока десятин, но все же решил полить хоть часть этой наиболее бедняцкой земли — вдовьей и красноармейской.

Делопроизводитель, услышав такое мое предложение, не мог больше выразиться и тут же заплакал.

— Это я от стечения обстоятельств,— сказал он немного погодя, не употребляя стихов.

В течение двух последующих дней делопроизводитель, механик мотоциклетной электростанции и я трудились над установкой мотоцикла на новом месте — на берегу маловодной речки Прошвы, которая слабо текла куда-та в обмороке жары. Здесь, начинаясь с берега, была вдовья и красноармейская земля, обрабатываемая сельсоветом на общественных лошадях. Несмотря на плодородие низинных угодий, сейчас там росли только редкие посадки картофеля, а за ними — мелкие просяные колосья; но все растения были в изнеможении, они покрылись смертельной пылью знойных вихрей и клонились вниз, чтобы вернуться обратно в темноту праха и сжаться в свое первоначальное семя, уже мертвое теперь.

В этих же посевах с терпеньем росли купыри, репей, бледные цветы «златоуста», похожие на лицо человека с выражением сумасшествия, и прочие плевелы, которыми всегда зарастает земля во время действия сухих стихий.

Я попробовал почву; она была как зола, перегоревшая на солнце, и первый же ураган способен был поднять всю пыль плодородия и развеять ее бесследно в пространстве.

После установки мотоцикла мы с делопроизводителем задумались о насосе. Мы поискали его по сараям зажиточных мужиков, грабивших помещиков с наибольшим хладнокровием и жадностью, и нашли там много добра, даже картины Пикассо и женские мраморные биде, а никакого насоса не было.

— Потеха жить и наслаждаться,— сказал мне делопроизводитель,— насоса нет, но есть любовь и чашка, чтобы обмываться.

Подумав, я снял толстую железную бляху с мотоцикла, обозначавшую английскую интервенционную воинскую часть, и вырезал из нее в кузнице две лопасти. Затем по приказу делопроизводителя была раскрыта железная крыша с дома сельсовета, и то железо пошло на изделие остальных пяти лопастей, а также кожуха для насоса, трубы для всасывания и лотков для подачи воды на поле.

Еще трое суток мы с механиком электростанции поработали у мотоцикла, пока не посадили семь лопастей на спицы заднего колеса машины и не обрядили колесо в кожух. Таким образом мы соорудили центробежный насос из колеса мотоцикла. Мы организовали водокачку вместо электрической станции; однако насос ничему не помешал: когда вода не потребуется земле, можно опять вертеть динамо и давать свет в избушки.

Через пять дней мучительного труда без нужных инструментов и материалов, среди полевого неустройства, я и механик пустили мотор мотоцикла, и вода пошла на землю вдов и красноармейцев, но поток ее был слишком слаб — ведер сто в час, и необходимо было еще развезти воду по всем посевам, что требовало усердия населения. Кроме того, некоторое количество воды терялось из неплотных соединений наших самодельных лотков, что дополнительно нас огорчало. Однако делопроизводитель не огорчился на это и сказал:

— Пускай наука только каплю даст, мы выжмем море туловищем масс!

На другой день делопроизводитель и двадцать женщин с четырьмя пожилыми мужчинами-бедняками повели воду под лопату в глубь полей, но ручей воды иссох уже невдалеке от водокачки. Из расщелин земли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твердые мелкие насекомые, точно сделанные из меди,— они, следовательно, и должны наследовать землю, если тучи не соберутся в атмосфере, а люди вымрут.

Вдовы и замужние беднячки окружили нас и начали ругать за недостаток воды и за бедную силу машины. Мы выслушали их со стыдом, но без боязни, а делопроизводитель произнес им в утешение заключительное слово. Он глядел в туманное, томительное небо одичалого лета и говорил с просветленным лицом среди тишины ослепительной страшной природы:

— Все сохнет, лопается прочь — и почва, и трава!.. А жить охота во всю мочь, поскольку есть у человека голова. Она прибавлена вдобавок нам не зря... Нет, потому мы не железо, не скотина, не дресва, что надо нам всю жизнь стерпеть — и без победы нипочем не умереть!..

Делопроизводитель устал от жары и страдания, но лицо его стало теперь иным — ясным и задумчивым, хотя и не потеряло доброты своих складок. И он сказал прозой бабам-вдовам, смотревшим на него с удивлением и улыбкой сочувствия:

— Ступайте, женщины, копать канаву дальше. Машина эта — интервентка, она была за белых, теперь ей неохота лить воду в пролетарский огород...

Механик с жадностью страстного размышления наблюдал напряженную работу мотора; машина шла на сбавленных оборотах и тяжко упыхивалась от перегрузки. Я ощупал все тело

машины — оно сильно грелось и мучилось, крепкий самогон взрывался в цилиндрах с жесткой яростью, но плохое смазочное масло не держалось в трущихся частях и не обволакивало их облегчающей нежной пленкой. Мотор трепетал в раме, и неясный тонкий голос изнутри его механизма звучал как предупреждение о смертельной опасности.

Я понял машину и прекратил ее злобный сухой ход. Затем мы сняли кожух с колеса, служившего центробежным насосом, убавили число лопастей на колесе с семи до четырех и опять надели кожух. Я хотел разгрузить мотор, чтобы он дал лучшую скорость, и тогда четыре лопасти будут работать сильнее семи.

В это время настал вечер; все люди ушли на отдых, только товарищ Жаренов и я остались сидеть на берегу слабеющей, сочащейся реки. Я не спешил снова запускать мотор. Я хотел догадаться еще о чем-нибудь для более свободного движения машины.

Солнце зашло в раскаленном свирепом пространстве, а внизу на земле наступила тьма и остались озабоченные люди с трудным чувством в сердце, поникшие в своих избах без всякой защиты от беды и смерти. Вскоре к делопроизводителю пришли его дети — мальчик и девочка,— те самые, которых я видел в крестном ходе о дожде. Они оголтели от голода и бесприютности и бросились к отцу, радуясь, что нашли его и будут ночевать вместе с ним в страшной душной темноте; хлеба они уже не просили, радуясь тому, что хоть есть у них отец, который их любит и сам ничего не ест. Отец прижал к себе слабые тела своих детей и стал искать в карманах чего-нибудь, чтобы покормить их, но находил лишь мусор и отношения волисполкома. Тогда делопроизводитель решил успокоить детей своей теплотой; он обнял их обоих громадными richesse неписчими руками, приблизил к своему теплому животу, и все трое заснули на ночной земле. Наверно, у этих детей мать была умершая, и они жили сиротами около своего отца.

Я догадался, что мне надо сделать: нужно свернуть из пакли фитиль, опустить его одним концом в бачок с водой и обмотать фитилем цилиндры мотора,— тогда вода будет сочиться по фитилю, а машина почувствует прохладу и даст лишнюю мощность. Я нашел паклю в прицепной коляске, в ящике механика, и к полночи совершил работу до конца. Затем я подошел к спящему семейству Степана Жаренова и не знал, что делать — качать ли воду, чтобы обеспечить хотя бы на осень пищу этим детям, или подождать, потому что дети проснутся от шума мотора и немедленно начнут мучиться без еды.

Вскоре мне пришлось обернуться к деревне — там раздался взрыв какой-то бочки, а потом шипение пара, и стало тихо. Делопроизводитель проснулся, поднял спящую голову, сказал стих: «Дети в мозгу кричат агу», и снова уснул.

Учитывая крепкий сон семейства, проспавшего взрыв бочки, я пустил мотор. В черные угодья пошел толстый поток воды из устья нагнетательной трубы; мотор теперь вращался на хороших оборотах, грелся мало и не пел мучительным голосом утомления из глубины своего жесткого существа. Я тихо ходил вокруг бьющейся в напряжении машины и с удовлетворением наблюдал спокойное течение ночи в мире; пусть время теперь идет, оно проходит не напрасно: машина надежно качает воду в сухие поля бедняков.

Я смерил ведром подачу воды в минуту времени — оказалось, что насос теперь дает около двухсот ведер в час, в два раза больше прежнего. В кармане я нашел сухой кусочек городского хлеба и стал есть его, стараясь закончить еду поскорее. Втайне от самого себя я боялся внезапного пробуждения детей делопроизводителя, которые обязательно попросят у меня пищи... Уже дожевывая, я наклонился к детям — они смутно и неравномерно дышали в своем скучном сне, смирившем в них страдание голода. Только отец их лежал со счастливым, обычно приветливым лицом: он господствовал над своим телом и надо всеми мучающими силами природы; магическое напряжение гения беспрерывно радовало его сердце, верующее в могучую долю пролетарского человечества.

Видимо, что-то переполнило сознание делопроизводителя. Он нечаянно открыл глаза, увидел, что я чего-то дожевываю, и сразу сказал, как неспавший:

— Пора не только жизнь страдать, но также хлеб во рту жевать...

Я в испуге проглотил остаток пищи и задумался.

Из темноты речной долины вышли к машине два человека — выспавшийся механик и незнакомая старушка большого роста.

— Идите вот теперь,— сказала старушка,— идите мужика моего подымайте: мужчина весь обмер, свалился, и сердце в нем не стучит. Все для вас, чертей, кофей этот варил...

Я равнодушно обратился к механику мотоцикла, учась быть хладнокровным среди событий. Механик представил старушку как жену старичка, который варит круглые сутки самогон специальной крепости для снабжения мотора. Ввиду отсутствия прибора, измеряющего градусы крепости, старичок обычно брал в одну руку кружку, в другую — кусок посоленной закуски, что-нибудь вроде картошки, и ожидал со своей посудой у отводящей трубки змеевика, пока оттуда закапает. Но нынче старичок не сразу раскушал качество топлива; он завернул кран на трубке, подложил дров в огонь и заснул с опорожненной кружкой и картошкой в руках; котел накопил давление, взорвался, и мощный газ выбросил старичка из самогонной избушки вместе с дверью и двумя оконными рамами. Сейчас старик лежит и постепенно опоминается, а завтра начнет ремонт взорвавшейся установки.

— Чего же вы хотите? — спросил я у старушки.— Это авария, а мы здесь ни при чем.

— Льготы какой-нибудь,— ответила бранившаяся старуха.

— Хорошо, я запишу.

Я вынул записную книжку и написал там: «Пришли из города старушке пшена».

Старуха, только увидя, что я что-то записываю, сразу поверила мне и утешилась.

Я сказал механику устную инструкцию об уходе за мотором и насосом, постоял немного возле спящего на земле делопроизводителя Жаренова и его детей, а затем пошел пешком, по теплой ночи к себе домой, к своей матери. Я шел один в темном поле, молодой, бедный и спокойный. Одна моя жизненная задача была исполнена.

ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

1

Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глухого, забросанного песками городка Астраханской губернии. Это был молодой здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами.

Всем этим добром Мария Никифоровна была обязана не только родителям, но и тому, что ни война, ни революция ее почти не коснулись. Ее глухая пустынная родина осталась в стороне от маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху, когда социализм уже затвердел.

Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детство, боясь нанести глубокие незаживающие рубцы ее некрепкому растущему сердцу.

Мария видела волнующиеся от легчайшего ветра песчаные степи прикаспийского края, караваны верблюдов, уходящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от песчаной пудры, и дома в восторженном исступлении читала географические книжки отца. Пустыня была ее родиной, а география — поэзией.

Шестнадцати лет отец свез ее в Астрахань на педагогические курсы, где знали и ценили отца. И Мария Никифоровна стала курсисткой.

Прошло четыре года — самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются почки в молодой груди и распускается женственность, сознание и рождается идея жизни. Странно, что никто никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть мучащие его тревоги; никто не поддержит тонкого ствола, который треплет ветер сомнений и трясет землетрясение роста. Когда-нибудь молодость не будет беззащитной.

Была, конечно, у Марии и любовь, и жажда самоубийства,— эта горькая влага орошает всякую растущую жизнь.

Но все минуло. Настал конец ученья. Собрали девушек в зал, вышел завгубоно и разъяснил нетерпеливым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности. Девушки слушали и улыбались, неясно сознавая речь. В их годы человек шумит внутри и внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят блестящими глазами.

Марию Никифоровну назначили учительницей в дальний район — село Хошутово, на границе с мертвой среднеазиатской пустыней.

2

Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу — Марию Никифоровну, когда она очутилась среди безлюдных песков на пути в Хошутово.

В тихий июльский полдень открылся перед нею пустынный ландшафт.

Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солонца. А во время внезапной пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой лёссовой пыли и ветер с шипением гнал потоки стонущего песка. Чем сильнее становится ветер, тем гуще дымятся верхушки барханов, воздух наполняется песком и становится непрозрачным. Среди дня, при безоблачном небе, нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется мрачной лунной ночью.

Первый раз видела Мария Никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни.

К вечеру буря кончилась. Пустыня приняла прежний вид: безбрежное море дымящихся на верхушках барханов, сухое томящее пространство, за которым чудилась влажная, молодая, неутомимая земля, наполненная звоном жизни.

В Хошутово Нарышкина приехала на третий день к вечеру.

Она увидела селение в несколько десятков дворов, каменную земскую школу и редкий кустарник — шелюгу у глубоких колодцев. Колодцы на ее родине были самыми драгоценными сооружениями, из них сочилась жизнь в пустыне, и на устройство их требовалось много труда и ума.

Хошутово было почти совсем занесено песком. На улицах лежали целые сугробы мельчайшего беловатого песка, надутого с плоскогорий Памира. Песок подходил к подоконникам домов, лежал буграми на дворах и точил дыхание людей. Всюду стояли лопаты, и каждый день крестьяне работали, очищая усадьбы от песчаных заносов.

Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный труд,— потому что расчищенные места снова заваливались песком,— молчаливую бедность и смиренное отчаяние. Усталый голодный крестьянин много раз лютовал, дико работал, но силы пустыни его сломили, и он пал духом, ожидая либо чьей-то чудесной помощи, либо переселения на мокрые северные земли.

Мария Никифоровна поселилась в комнате при школе. Сторож-старик, очумевший от молчания и одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и хлопотал, не жалея здоровья, над устройством ее жилья.

3

Оборудовав кое-как школу, выписав самое необходимое из округа, Мария Никифоровна через два месяца начала ученье.

Ребята ходили неисправно. Придут то пять человек, то все двадцать.

Наступила ранняя зима, такая же злобная в этой пустыне, как лето. Застонали страшные снежные бураны, перемешанные с колким, жалящим песком, захлопали ставни в селе, и люди окончательно замолчали. Крестьяне заскорбели от нищеты.

Ребятам не во что было ни одеться, ни обуться. Часто школа совсем пустовала. Хлеб в селе подходил к концу, и дети на глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказкам.

К Новому году из двадцати учеников двое умерли, и их закопали в песчаные зыбкие могилы.

Крепкая, веселая, мужественная натура Нарышкиной начала теряться и потухать.

Долгие вечера, целые эпохи пустых дней сидела Мария Никифоровна и думала, что ей делать в этом селе, обреченном на вымирание. Было ясно: нельзя учить голодных и больных детей.

Крестьяне на школу глядели равнодушно, она им была не нужна в их положении. Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им поможет одолеть пески, а школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела.

И Мария Никифоровна догадалась: в школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую землю.

Тогда она созвала крестьян в школу и рассказала им про свое намерение. Крестьяне ей не поверили, но сказали, что дело это славное.

Мария Никифоровна написала большое заявление в окружной отдел народного образования, собрала подписи крестьян и поехала в округ.

В округе к ней отнеслись сочувственно, но кое с чем не согласились. Особого преподавателя по песчаной науке ей не дали, а дали книги и посоветовали самой преподавать песчаное дело. А за помощью следует обращаться к участковому агроному.

Мария Никифоровна рассмеялась:

— Агроном жил где-то за полтораста верст и никогда не бывал в Хошутове.

Ей улыбнулись и пожали руку в знак конца разговора и прощания.

4

Прошло два года. С большим трудом, к концу первого лета, удалось Марии Никифоровне убедить крестьян устраивать каждый год добровольные общественные работы — месяц весной и месяц осенью.

И уже через год Хошутова было не узнать. Шелюговые посадки защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов, длинными лентами окружили Хошутово со стороны ветров пустыни и зауютили неприветливые усадьбы.

Около школы Мария Никифоровна задумала устроить сосновый питомник, чтобы перейти уже к решительной борьбе с пустыней.

У нее было много друзей в селе, особенно двое — Никита Гавкин и Ермолай Кобозев,— настоящие пророки новой веры в пустыне.

Мария Никифоровна вычитала, что посевы, заключенные меж полосами сосновых насаждений, дают удвоенные и утроенные урожаи, потому что дерево бережет снежную влагу и хранит растение от истощения горячим ветром. Даже шелюговые посадки увеличили намного урожай трав, а сосна дерево попрочней.

Хошутово извека страдало от недостатка топлива. Топили почти одними смрадными кизяками и коровьими лепешками. Теперь шелюга дала жителям топливо. Крестьяне не имели никакого побочного заработка и страдали от вечного безденежья. Та же шелюга дала жителям прут, из которого они научились делать корзины, ящички, а особо искусные — даже стулья, столы и прочую мебель. Это дало деревне в первую зиму две тысячи рублей приработка.

Поселенцы в Хошутове стали жить спокойнее и сытее, а пустыня помалости зеленела и становилась приветливей.

Школа Марии Никифоровны всегда была полна не только детьми, но и взрослыми, которые слушали чтение учительницы про мудрость жить в песчаной степи.

Мария Никифоровна пополнела, несмотря на заботы, и еще больше заневестилась лицом.

5

На третий год жизни Марии Никифоровны в Хошутове, когда стоял август, когда вся степь выгорела и зеленели только сосновые и шелюговые посадки, случилась беда.

В Хошутове старики знали, что в этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами: через каждые пятнадцать лет они проходили здесь по своему кочевому кольцу в пустыне. Эти пятнадцать лет хошутовская степь паровала, и вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова, чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогла из себя. Но кочевники почему-то запоздали: они должны быть поближе к весне, когда еще была кое-какая растительность.

— Все равно придут,— говорили старики.— Беда будет.

Мария Никифоровна не все понимала и ждала. Степь давно умерла — птицы улетели, черепахи спрятались в норы, мелкие животные ушли на север, к естественным водоемам. 25 августа в Хошутово прибежал колодезник с дальней шелюговой посадки и начал обегать хаты, постукивая в ставни:

— Ко́чуй прискакали!..

Безветренная в этот час степь дымилась на горизонте: то скакали тысячи коней кочевников и топтались их стада.

Через трое суток ничего не осталось ни от шелюги, ни от сосны — все обглодали, вытоптали и истребили кони и стада кочевников. Вода пропала: кочевники ночью пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто.

Хошутово замерло, поселенцы лепились друг к другу и молчали.

Мария Никифоровна заметалась от этой первой, настоящей в ее жизни печали и с молодой злобой пошла к вождю кочевников.

Вождь выслушал ее молча и вежливо, потом сказал:

— Травы мало, людей и скота много: нечего делать, барышня. Если в Хошутове будет больше людей, чем кочевников, они нас прогонят в степь на смерть, и это будет так же справедливо, как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало травы. Кто-нибудь умирает и ругается.

— Все равно вы негодяй! — сказала Нарышкина.— Мы работали три года, а вы стравили посадки в трое суток... Я буду жаловаться на вас советской власти, и вас будут судить...

— Степь наша, барышня. Зачем пришли русские? Кто голоден и ест траву родины, тот не преступник.

Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умен, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом.

В округе ее выслушал завокроно и ответил:

— Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в Хошутове обойдутся и без вас.

— Это как же? — изумилась Мария Никифоровна и нечаянно подумала об умном вожде кочевников, не сравнимом с этим начальником.

— А так: население уже обучилось бороться с песками и, когда уйдут кочевники, начнет шелюгу сажать снова. А вы не согласились бы перевестись в Сафуту?

— Что это за Сафута? — спросила Мария Никифоровна.

— Сафута — тоже село,— ответил завокроно,— только там селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на оседлость. С каждым годом их становится все больше. В Сафуте пески были задернелые и не действовали, а мы боимся вот чего — пески растопчутся, двинутся на Сафуту, население обеднеет и снова станет кочевать...

— А при чем тут я? — спросила Нарышкина.— Что я вам, укротительница кочевников, что ли?

— Послушайте меня, Мария Никифоровна,— сказал заведующий и встал перед ней.— Если бы вы, Мария Никифоровна, поехали в Сафуту и обучили бы осевших там кочевников культуре песков, тогда Сафута привлекла бы к себе и остальных кочевников, а те, кто уже поселился там, не разбежались бы. Вы понимаете меня теперь, Мария Никифоровна?.. Посадки

же русских поселенцев истреблялись бы все реже и реже... Кстати, мы давно не можем найти кандидатку в Сафуту; глушь, даль — все отказываются. Как вы на это смотрите, Мария Никифоровна?..

Мария Никифоровна задумалась:

«Неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников и умереть в шелюговом кустарнике, считая это полумертвое деревцо в пустыне лучшим для себя памятником и высшей славой жизни?..»

А где же ее муж и спутник?..

Потом Мария Никифоровна второй раз вспомнила умного спокойного вождя кочевников, сложную и глубокую жизнь племен пустыни, поняла всю безысходную судьбу двух народов, зажатых в барханы песков, и сказала удовлетворенно:

— Ладно. Я согласна... Постараюсь приехать к вам через пятьдесят лет старушкой... Приеду не по песку, а по лесной дороге. Будьте здоровы — дожидайтесь!

Завокроно в удивленье подошел к ней.

— Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым народом, а не школой. Я очень рад, мне жалко как-то вас и почему-то стыдно... Но пустыня — будущий мир, бояться вам нечего, а люди будут благородны, когда в пустыне вырастет дерево... Желаю вам всякого благополучия.

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

I

Родители ее умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Ольге тогда было четырнадцать лет от роду, и она осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где отец ее работал составителем поездов. После того, как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, девочка жила еще несколько дней в пустой, выморочной квартире. Ольга вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что ей делать дальше и как теперь жить. Соседка-бабушка принесла девочке кулеш в чашке, чтобы сирота, бывшая худой и не по летам маленького роста, поела что-нибудь, и Ольга скушала все без остатка. А когда бабушка ушла, Оля начала стирать белье: рубашку матери и подштанники отца, что от них сохранилось из белья и верхней одежды. Вечером Ольга легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. Наутро она встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и сказала: «Опять надо жить!» — так часто говорила ее мать. Затем Ольга пошла в кухню и стала там хлопотать, точно она, подобно умершей матери, стряпала обед; стряпать было нечего, не было никаких продуктов, но Ольга все же поставила пустой горшок на загнетку печки, взяла чаплю, оперлась на нее и, вздохнув, пригорюнилась около печи, как делала мать. Потом она перетерла и поставила в ящик стола всю посуду, посмотрела на часы, подтянула гирю к циферблату и подумала: «Не то отец вовремя придет с дежурства, не то запоздает? Если будет формироваться маршрут, то опоздает...» — так обычно думала мать Ольги, называя своего мужа отцом. Теперь девочка-сирота тоже думала и поступала подобно матери, и ей от этого было легче жить одной. Когда она делала вместо матери все дела по хозяйству, когда она повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на кухне, девочка воображала, что мать ее еще жива в ней немного, она чувствовала ее вместе с собою.

Вечером Ольга зажгла лампу, в ней был на дне керосин, налитый когда-то отцом, и поставила огонь на подоконник. Так же делала и ее мать, когда ожидала отца в темное время. Отец, подходя к дому, еще издали кашлял и сморкался, чтобы жена и дочь слышали, что идет отец. Но теперь на улице было по-

стоянно тихо; народ разошелся по сельским хлебным местам либо лежал в своих жилищах, слабый и болезненный, а в некоторых дворах вовсе вымер. Ольга все же дотемна ожидала отца или кого-нибудь, кто бы пришел к ней, но никто не вспомнил о сироте — ни бабушка-соседка, ни другие люди, потому что у них была своя боль и своя забота. Тогда она легла в кровать родителей и уснула одна.

Девочка пожила дома еще два дня, переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко, в губернском городе на Волге, жила ее тетя; она приезжала два года тому назад гостить к матери и была в воображении Ольги богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом, и девочка хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если Ольге суждено жить, то пусть она едет к тетке, чтобы не оставаться одной на свете; сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в учение. Теперь дочь вспомнила мать и послушалась ее.

На вокзале было пустынно; война с буржуями отошла в южную сторону. На железнодорожном пути против вокзальной платформы стоял один небольшой, старый паровоз и два пустых товарных вагона. Из будки паровоза на девочку глядел помощник машиниста; он помнил ее отца и мать и знал, что они скончались, поэтому позвал сироту на машину. Девочка влезла по трапу на паровоз; механик развязал красный платок с пищей и вынул оттуда четыре печеных картошки; затем он погрел их на котле, посыпал солью и дал Ольге две картошки, а две съел сам. Ольге захотелось, чтобы механик взял ее к себе домой, она бы стала у него жить и привыкла бы к нему. Но паровозный механик ничего не сказал девочке доброго, он только покормил ее и спрятал обратно свой пустой красный платок. Он сам был многодетный человек и не мог решить, сможет ли он прокормить лишний рот.

Ольга просидела на паровозе до вечерних сумерек, пока не подъехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы.

— Я теперь пойду, мне к тетке ехать надо,— сказала Ольга механику.— Мне мать велела, когда она еще живая была.

— Раз надо, тогда езжай,— сказал ей механик.

Ольга сошла с паровоза и направилась к красноармейскому поезду. Все вагоны были открыты настежь, и почти все красноармейцы вышли наружу; некоторые из них ходили по вокзальной платформе и смотрели, что находится вокруг них — водонапорная башня, дома около станции и далее — простые хлебные поля. Четыре красноармейца несли суп в цинковых ведрах из станционной кухни; Ольга близко подошла к тем ведрам с супом и поглядела в них: оттуда пахло вкусным мясом и укропом, но это было для красноармейцев, потому что они ехали на

войну и им надо быть сильными, а Ольге кушать этот суп не полагалось.

Около одного вагона стоял задумчивый красноармеец; он не спешил идти обедать и отдыхал от дороги и от войны.

— Дядя, можно, я тоже с вами поеду? — попросилась Ольга.— Меня родная тетка ждет...

— А она где отсюда проживает? — спросил красноармеец.— Далече?

Ольга назвала город, и красноармеец согласился, что это — далеко, пешком не дойдешь, а с поездом завтра к утру, пожалуй, поспеешь туда.

В это время к вагону подошли два красноармейца с ведром супа, а позади них еще несколько красноармейцев несли в руках хлеб, махорку, кашу в кастрюле, мыло, спички и прочее довольствие.

— Вот тут девочка доехать до тетки просится,— сказал красноармеец своим подошедшим товарищам.— Надо бы взять ее, что ли.

— А чего нет — пускай едет! — сказал красноармеец, прибывший с двумя хлебами под мышками.— В невесты она не годится — мала, а в сестры — как раз...

Ольгу подсадили в вагон, дали ей ложку и большой ломоть хлеба, и она села среди красноармейцев, чтобы есть общий суп из цинкового чистого ведра. Вскоре один красноармеец заметил, что ей неловко есть, сидя на полу, и он велел ей встать на колени — тогда она будет доставать ложкой погуще со дна, будет видеть, где плавает жир и где находится говядина.

После ужина поезд тронулся. Красноармейцы уложили Ольгу на верхнее помостье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли ее двумя шинелями, чтобы она не продрогла от ночной или утренней прохлады.

II

Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции; незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и ломоть сала и опустили ее, под руки, из вагона на землю.

— Тут твоя тетка живет,— сказали они.— Ступай к ней, учись и вырастай большая, в твое время хорошо будет жить.

— А я не знаю, где тетка живет,— произнесла Ольга снизу; она стояла теперь одна, в бедной юбчонке, босая и с хлебом.

— Сыщешь,— ответил задумчивый красноармеец.— Люди укажут.

Но Ольга не уходила; ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. Она уже привыкла

к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной.

— Ну, иди помаленьку,— поторопили ее из вагона.

— А вы сказали, мне хорошо будет, а когда? — спросила она, боясь сразу уходить к тетке, неизвестно куда.

— Потерпи,— ответил ей прежний, задумчивый красноармеец.— Нам сейчас заботы много: белых надо покончить.

— Я потерплю,— согласилась Ольга.— А теперь до свиданья, я к тетке пошла.

Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга съела поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор — попросить напиться. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего.

— А я не побираюсь, я к тетке приехала,— сказала Ольга.

— А кто ж твоя тетка-то? — с подозрением спросила дворовая женщина.

Ольга подробно назвала свою тетку; тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти: направо в угол, и там будет третий дом по левой стороне с некрашеными ставнями, там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету.

— Нету? — спросила Ольга.

— Нету,— подтвердила женщина,— у этих людей дети рожаться не любят.

Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашеными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травою, и постучала в запертые сени. Оттуда послышался недовольный, тихий голос, затем шаги, и дверь отворилась — она была закрыта на засов и щеколду, как на ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела девочку. Ольга увидела перед собой тетку; она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, тогда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери, а теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота.

— Ты что сюда явилась? — спросила тетка.

— Мне мать велела,— произнесла Ольга.— Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу... Тетя, их больше нету!

Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза.

— Наша родня вся недолговечная,— сказала она.— Я ведь тоже — только на вид здорова, а сама не жилица... И-их, нет, не жилица!

Ольга с удивлением смотрела на тетку,— теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе.

— Живешь-живешь, и погоревать некогда,— вздохнула Татьяна Васильевна.— Ты ступай покуда посиди на улице,— указала она племяннице,— а то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда...

— А я на дворе побуду, тут трава у вас растет,— сказала Ольга.

Но Татьяна Васильевна рассердилась:

— Нечего тебе на дворе тут делать! Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь — сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя... Ступай по тропинке за ворота!

Ольга вышла на улицу; посредине ее лежали сложенные в штабель старые, ржавые рельсы, между ними уже много раз вырастала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы,— они находились как раз против окон того дома, где жила тетка,— и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и тогда ее позовут и накормят.

Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в свои деревни, и ломовые возчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить,— наступил вечер, и стало темно. У Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынущем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет, а на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Ольга побежала поскорее к тетке; калитка была закрыта, тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой; он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, что к нему пришли отнимать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у животных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола.

Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась калитка, и оттуда выглянула тетка.

— Ты что стучишь? — спросила она.— А мы уж думали, ты давно ушла...

— Я уморилась ждать, когда вы позовете,— сказала Ольга.— Я боюсь одна на улице...

— Ну, иди уж,— позвала тетка.

В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно, и пахло хорошо, как у богатых. «Здесь я жить не буду,— подумала Ольга.— Тут нельзя: скажут — ты испачкаешь все». Муж

Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин.

— От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает,— вздохнула Татьяна Васильевна.— Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пои, корми ее, одевай и обувай!..

— Изволь радоваться! — равнодушно, точно про себя сказал муж Татьяны Васильевны.— Ну, дай ей поесть и пускай она сегодня переночует... А то отвечать еще за нее придется!

— А чего ж я ей постелю-то? — воскликнула тетка.— У нас ведь нет ничего лишнего-то: ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой!

— Я так буду спать — на жестком, а покроюсь своим платьем,— согласилась Ольга.

— Пусть ночует,— указал жене дядя, Аркадий Михайлович.— А ты нынче не зверствуй, а то тебе Советская власть покажет!

Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление:

— Чем же это она мне покажет-то?.. Советская-то власть, она что, она думает, что люди — это ангелы-товарищи,— а они возьмут нарожают детей, а сами помрут,— вот пусть она их и кормит, власть-то Советская!..

— Прокормит,— уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки.

— «Прокормит»! — передразнила Татьяна Васильевна своего мужа.— Кто их прокормит, если у них родители рожают без удержу! Уж я-то знаю, как трудно оборачиваться Советской власти, уж я-то ей сочувствую!..

— Меня кормить не надо, я спать хочу,— сказала Ольга; она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином.

Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте:

— Садись, доедай,— тут осталось.

Ольга села к столу и начала понемногу есть пшенную кашу, подгребая ее со дна чашки.

— Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо, ты спать хочешь,— произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтоб девочка ложилась спать.

— Я немножко,— ответила Ольга; она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол.— Больше не буду,— сообщила она.

— Уже наелась? — добрым голосом спросила Татьяна Васильевна.

— Нет, я расхотела,— сказала Ольга.

— Ну, ложись теперь спать, отдыхай,— пригласила ее тетка

на сундук.— А то мы свет сейчас потушим: чего зря керосину гореть!

Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.

III

Утром дядя и тетка проснулись рано; дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу — кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, четыре вареных яйца — и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру.

— Так как же нам теперь жить-то? — шепотом спросила Татьяна Васильевна у мужа.

— А что? — сказал Аркадий Михайлович.

— Да, видишь, вон,— указала тетка на Ольгу,— лежит наше новое сокровище-то!

— Она — твоя родня,— ответил ей муж,— делай сама с нею что хочешь, а мне чтоб покой дома был.

После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала:

— Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуют, оденут и с приданым замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок,— вот я босая, в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная... Может, бог даст, вы скоро подохнете — дядя с тетей, так я тут хозяйкой и останусь: чтó вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пущу!.. Ну уж, милая, пускай черти кромешные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю, и куском моим ты подавишься!.. Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут нá тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня... Ольга, чего ты все спишь-то? — вдруг громко позвала Татьяна Васильевна.— Ишь уморилась, подумаешь,— вставать давно пора! Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя!..

Ольга лежала неподвижно, обратившись лицом к стене; она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее; изношенное серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней — она из него выросла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала тесно сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка, и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей.

— Ишь ты, разнежилась как! — раздражалась близ нее тетка.

— Я не сплю,— сказала Ольга.

— А что ж ты лежишь тогда, мне ведь горницу убирать пора!

— Я вас слушала,— отвечала девочка.

Тетка осерчала:

— Ты еще путем не выросла, а уж видать, что — ехидна!

Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей:

— Пойди умойся, потом я самовар поставлю. Небось кушать хочешь!

Ольга ничего не ответила; она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть.

За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот.

— Иль ты не сыта еще? — спросила тетка.— Тебя теперь и не прокормишь?.. Уйдешь из дому, а ты начнешь по шкафам крошки собирать да по горшкам лазить... А мне сейчас как раз на базар надо идти, как же я тебя одну-то во всем доме оставлю?

— Я сейчас пойду, я у вас не останусь,— ответила ей Ольга.

Тетка довольно улыбнулась.

— Что ж, иди,— значит, тебе есть куда идти... А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходить. Так-то будет лучше.

— Когда соскучусь, тогда приду,— пообещала Ольга, и она ушла.

На улице было утро, с неба светило теплое солнце; скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому, большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желаний, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие; ей стало теперь неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты, люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что́ там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по семиразрядной тарифной сетке; затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет,— она хотела жить в общежитии и учиться; она уже четыре зимы ходила в школу, когда жила при родителях.

В канцелярии университета никого не было, все ушли в столовую, но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами моченые ку-

сочки хлеба. Он сказал Ольге, что ее по малолетству и несознательности сейчас в университет не примут, пусть она сначала поучится добру в низшей школе.

— Я хочу жить в общежитии,— проговорила Ольга.

— Чего хорошего! — ответил ей старик.— Живи с родными, там тебе милее будет.

— Дедушка, дай мне тюрю доесть,— попросила Ольга.— У тебя ее немножко осталось, ты ей все равно не наешься, а моченки ты уже все повытащил...

Старик отдал свою кружку сироте.

— Похлебай: ты еще маленькая, тебе хватит, может — наешься... А ты чья сама-то будешь?

Ольга начала есть тюрю и ответила:

— Я ничья, я сама себе своя.

— Ишь ты, сама себе своя какая! — произнес старик.— А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром, жила бы в чистом поле...

Ольга отдала кружку обратно старику:

— Доедай сам, тут еще осталось... Меня в люди не принимают!

IV

Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии — койку и шкаф — рядом с другой такой же койкой в маленькой выбеленной комнате; далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся. Комендант велел Ольге на завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, оформить свое поступление посредством заполнения анкеты.

Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащейся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме.

Грусть и тревога перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна,— теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно роди-

тели ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся Советская власть считают ее необходимой для себя, и без нее им будет хуже.

И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь,— отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает.

Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки маневрового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутах. Но глаза ее понемногу привыкли к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом; ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие — будущая счастливая жизнь; из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей.

В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой: ее отца убили в империалистическую войну, а мать, нестарая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди; утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин, что такое революция,— и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотоле было бедным и несчастным, потому что она чувствовала жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью, в одиночестве своей комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и забывала приносить дочери хлеб...

Подруги, общежитие, обучение наукам, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой — это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу.

Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, почему здесь не нужно вдобавок к учению работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармонии, и читать книги, описывающие всю жизнь. И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприютных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни

в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобретала из книг и от учителей на курсах; ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным, тихим сердцем,— она хотела чувствовать все, что ей раньше было незнакомо.

На вечере в честь годовщины Октябрьской революции Ольга впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда, и она заплакала, оттого что это было хорошо, оттого что жизнь не может быть скучна и обыкновенна, она должна быть волшебной, похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце.

Ольга спросила у Лизы, которая была рядом с ней на стуле:

— Лиза, нас не прогонят отсюда домой? У меня ведь дома больше нет! Кто это все делает для нас?

— Это Ленин,— сказала Лиза.— Он нас никогда не тронет!

— А почему? — спросила Ольга.

Лиза удивилась:

— Почему?.. А потому, что он нас тоже любит, мы будущие люди, мы будем коммунизмом... Без нас всем станет плохо.

Ольга задумалась, она не поняла Лизу...

— А как же он будет — коммунизм? Надо ведь стараться!

— Ленин знает, как будет все! — легко ответила Лиза.

Ольга посмотрела на портрет Ленина. «Он уже старый,— подумала она,— как мой отец; мы много хлеба едим и одежду скоро носим, а вчера на курсы пять возов дров привезли,— нам надо скорее учиться и вырастать, чтоб самим работать». Она была мала ростом и несильная в теле, и сама это знала. «Как бы не помереть,— еще озаботилась она.— Недавно тиф и грипп ходили, а то на нас Ленин потратит последнее, а мы вдруг помрем от болезни и ничего не сделаем, и даже его никогда не увидим».

Ночью, укрывшись с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни; она представила себе Ленина, как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей,— и от этой мысли она почувствовала ясное, верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну, без надежды и без родства на свете?.. Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно,— так было ей лучше думать о нем и счастливее жить.

V

Ослабленным и худым учащимся в столовой давали обыкновенно добавок к обеду, если они его просили,— по второй тарелке супу или каши. В первое время ученья Ольга тоже часто брала себе добавок, чтобы сытнее наедаться, но теперь она пе-

рестала требовать добавки и с неудовольствием смотрела на Лизу, которая всегда съедала двойную порцию второго блюда. Ольга жалела общую пищу республики, чтобы осталось больше хлеба для красноармейцев и рабочих,— для всех, кто сейчас нужнее, чем она.

Но через несколько месяцев, к весне, столовой вдруг вовсе перестали выдавать продукты, а всем учащимся курсантам задержали выдачу стипендий. После оказалось, что в этом деле были повинны белые офицеры, служившие в губпродкоме и финотделе, и те, кто им доверил советскую службу.

Лиза, не поев всего два дня, на третий день заплакала, а Ольга не стала плакать. Ольга с утра пошла на третий этаж дома, где жили разные вольные жильцы, и попросила у хозяек работы по домашнему хозяйству,— уроки в этот день она пропустила. Но хозяйки из экономии всюду управлялись сами, и лишь в одной квартире полная женщина, Полина Эдуардовна, велела Ольге вымыть полы, потому что ей самой было трудно нагибаться от излишней полноты тела. За эту работу Ольга получила фунт хлеба, два куска сахару и еще немного денег.

Вернувшись в общежитие, Ольга подождала Лизу, когда окончатся дневные уроки, и разделила с ней пополам хлеб и сахар. Лиза скушала свою долю, но не наелась и опять стала печальной от голода.

— Скажи мне какие были сегодня уроки? — спросила у нее Ольга.

— Сегодня были неинтересные уроки! — ответила Лиза.

Ольга нахмурилась.

— Ты учись теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут,— сказала она.— А я буду тебя кормить и у тебя уроки записывать, а по вечерам стану их готовить...

Лиза спросила:

— А что ты будешь делать?

— Полы пойду у людей помою, за детьми посмотрю,— делов везде много,— грустно сказала Ольга.— А ты учись, я тебя одна прокормлю.

— Я есть хочу,— произнесла Лиза.— Я не наелась твоим хлебом и куском сахара.

— Я тебе сейчас еще хлеба принесу,— пообещала Ольга и ушла из комнаты.

Она отправилась к тетке, но побоялась пойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткиного дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находились на прежнем месте, и Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой. Она сидела долго и видела, что тетка два раза глядела на нее в окно, но тем более ей трудно было пойти в дом родных, хотя Ольга уже давно озябла на зимнем холоде.

Вечером Татьяна Васильевна вышла за калитку и позвала племянницу:

— Иди уж, чего сидишь!.. Потрескай моего кулешу...

Ольга вошла в дом и съела кулеш из жестяной чашки, которую подала ей тетка; Аркадия Михайловича дома не было, но Татьяна Васильевна торопила, чтоб Ольга ела скорее, потому что тетке надо было уходить, и она из-за спешки даже забыла дать сироте хлеба, из-за которого Ольга и пришла к тетке, с тем чтобы унести хлеб Лизе.

Накормив племянницу кулешом без хлеба, Татьяна Васильевна неожиданно сказала:

— Посиди еще, мне рано уходить,— и вдруг вытерла фартуком глаза, где не было слез или их было очень мало.

Затем тетка рассказала Ольге, что ей сейчас надо идти в железнодорожную столовую: муж ее, Аркадий Михайлович, теперь всегда, как сменится, то умывается прямо из паровоза и потом идет в столовую, где он спознался, на старости лет, с одной официанткой-подавалкой, Маруськой Вихревой, и ей надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену...

— Тетя,— обратилась Ольга,— дайте мне кусочек хлеба побольше.

Тетка молча поглядела на сироту и еще некоторое время подумала.

— Ну да бери уж,— произнесла тетка в раздражении от гибели всей своей жизни.— Все одно, жить теперь мне — не судьба... Горькая моя головушка!

Татьяна Васильевна заплакала и запричитала по самой себе, затем по мужу и по своему опустевшему дому, а Ольга самостоятельно открыла шкаф, где хранились продукты, и взяла оттуда ковригу печеного хлеба. Тетка глядела на нее, но ничего не говорила, только когда Ольга разрезала ковригу пополам и половину хлеба взяла на руки, Татьяна Васильевна вскрикнула и еще сильнее заплакала.

— Вот моей и жизни конец! — тихо сказала она.— Кого мне теперь кормить, кого питать, кого в доме ожидать!..

Ольга пообещала вскоре еще навестить родную тетку и попрощалась с нею; она спешила.

— Приходи хоть ты-то ко мне! — попросила ее Татьяна Васильевна.— Уж ты видишь, какая я стала,— совсем на человека не похожа...

В общежитии Ольга застала Лизу; она уже вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Ольга отдала ей хлеб и велела есть, а сама начала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать. Лиза жевала хлеб и говорила подруге, что́ сегодня было в классе, но она сама плохо усвоила уроки и не могла объяснить, что такое периодическое число.

— Надо стараться,— сказала ей Ольга.— Чего ты уроки не досиживаешь? А когда сидишь — о чем думаешь? Эх ты, горькая твоя головушка!

— Тебе какое дело! — обиделась Лиза.— Чего мы завтра будем есть? — вздохнула она.

— Что сегодня, то и завтра,— ответила Ольга.— Я достану. Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься и периодического числа не запомнила... Это прошедшие, буржуазные люди такие были — вздыхали и боялись, а сами жили по сорок и пятьдесят лет... Нам надо остаться целыми, нас Ленин любит!

Лиза перестала есть хлеб и сказала:

— Я больше не буду, давай уроки вместе делать, у меня в животе щипало, есть хотелось.

— Что у тебя, кроме живота, ничего нету, что ли? — рассердилась Ольга.— У тебя сознание должно где-нибудь быть!

Подруги сели делать уроки к общему столику, и долго еще светил свет на две их задумчивые склонившиеся головы, в которых работал сейчас человеческий разум, питаемый кровью из сердца. Но вскоре они нечаянно задремали и, встрепенувшись на мгновение, улыбнулись и легли на свои кровати в безмолвном детском сне.

Наутро Ольга снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу, а Лиза должна учиться пока одна за них обоих.

Ольге пришлось наняться приходящей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену,— другой домашней работы нигде не было. Ребенку было всего полтора года, звали его Юшкой, и Ольга должна находиться с ним в комнате по девять и десять часов в день, пока отец Юшки не возвращался под вечер с завода; за эту работу Ольга должна получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников Нарпита.

Ольга полюбила Юшку; это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми глазами, внимательно и добродушно наблюдавшими все явления и происшествия в комнате; он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Ольгу привлекла в ребенке одна его особенность: взяв сначала, он отдавал обратно ей все, что она ему дарила, и прибавлял к тому еще что-нибудь лишнее, что у него бывало под руками — в люльке или на полу, где он играл и ползал. Если Ольга давала ему старую погремушку, то мальчик дарил ей в ответ деревянную бочку, которой он играл до того, и норовил еще отдать и соску с пузырьком или прочую обиходную для него вещь. Когда Ольга кормила Юшку кашей, он ел с охотой в том случае, если нянька тоже ест с ним — одну ложку ей в рот, а другую ему, и так по очереди,— иначе ребенок есть не хотел. Не отвыкнув еще, вероятно, от матери и думая, что Ольга — это та же мать, возвратившаяся к нему с прежней любовью, Юшка шарил у няньки руками около груди и жалобно глядел на Ольгу. Нянька отводила ему ручки, отучала его, но Юшка не верил и льнул к материнскому молоку,

которого он, должно быть, не успел насосаться; тогда Ольга однажды не вытерпела просьбы ребенка и дала ему в рот одну свою грудь, хотя это было ей трудно, потому что грудь ее была еще в зачатке и очень мала. Но Юшка, не получая из груди никакого питания, жадно чмокал губами и остался затем все же удовлетворенным, точно он действительно наелся. Обхватив руку Ольги, Юшка вскоре заснул от своего счастья, забытого и возвращенного ему. Отплатить своей няньке за это счастье он пока еще ничем не мог.

Ровно месяц прожила Ольга в няньках, нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли, а потом нужда в работе миновала: курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии и в столовую начали возить продукты. Но Ольга уже не могла оставить Юшку одного без помощи; почти ежедневно она видела его, навещая ребенка в обеденный перерыв между уроками или вечером после занятий.

У Юшки уже была другая нянька, старуха, но Юшка признавал Ольгу выше, любимей старухи и всегда тянулся к ней, норовя найти у нее грудь, и Ольга втайне, если старуха копалась в стороне и не видела их, давала Юшке сосать свою сухую девичью грудь.

Отец Юшки, тридцатилетний механик-дизелист, молча глядел на Ольгу, когда она нянчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: «Как жаль, как жаль!» Ему было жалко, что Ольга никогда не сможет быть для Юшки приемной матерью, и он, отвернувшись от сына и Ольги, глядел в окно и видел, что оно становится смутным, потому что у него застилались глаза несдержанными слезами.

Ольге не понравилась новая нянька-старуха: она могла теперь доверить Юшку лишь с большой разборчивостью; поэтому Ольга отыскала детские ясли и уговорила отца устроить туда Юшку. Отец вначале колебался,— он не верил, что государственные няньки, члены профсоюзов, получающие зарплаты по тарифной сетке, могут заменить детям матерей, но Ольга возразила ему тем, что она тоже государственная, советская нянька и тоже получала у него зарплату по тарифу. Отец тогда подумал и согласился носить Юшку в детские ясли.

VI

Через три года, по окончании курсов, Ольгу и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Перед отъездом Ольга попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть Ольгу мамой; он обнял ее и долго не отпускал от себя, пока им не пришло время расстаться...

Ольге в ту пору стало семнадцать лет, а Лизе восемнадцать. Их отправили, как подруг, вместе, чтобы они не скучали и лучше работали.

Им назначили проходить практику на маленькой станции Серьга, невдалеке от города, где они учились. Здесь они должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом.

Стояло лето, жилого поселка вблизи станции не было, поэтому начальник станции поселил курсанток в оборудованный для перевозки войск товарный вагон, поданный в дальний тупик.

Сначала подруги захотели пройти практику на станционном паровозе, с чем согласился начальник станции,— они целые долгие летние дни дежурили на старом паровозе серии «О-в». Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск, его заменял теперь помощник Иван Подметко, молчаливый парень тридцати с лишним лет, а Ольга и Лиза вдвоем служили ему помощниками. Подметко стал учить девушек своим способом — как не надо на машине работать.

— Видишь, паровоз у меня сейчас не стронется с места, а пар я открою,— говорил Подметко. Он открывал регулятор, но машина не шла.

Ольге и Лизе нужно было догадываться, отчего это происходило.

— Отсечка мала, поверни реверс! — догадывалась Ольга.

— Ну, верно,— ухмылялся Подметко.— А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарахну реверсом назад, а регулятор оставлю на всем открытии,— предлагал Подметко,— то что у меня тогда получится?

— Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров порвешь, либо поршневой шток согнешь, либо дышла искалечишь,— сообщала ему Ольга.

— Всякой дурочке понятно,— соглашался Подметко.— А котел вы можете сжечь? Я вас научу... Ну, это после, а сейчас ступайте всю машину оботрите, чтоб блестела, и сами потом умойтесь,— что вы чумазые, как чумички, сидите на паровозе: грязь — ведь это лишнее трение и смерть!.. Смотрите на меня — и думайте!

После трех месяцев работы на паровозе Лиза стала работать в конторе у начальника станции — изучать искусство движения поездов по графику, а Ольга была направлена в пакгауз — в помощники к весовщику; она хотела в точности знать дело грузовых операций, главную работу железных дорог.

Поздней осенью практические занятия обеих курсанток кончились: они должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на постоянную, обыкновенную службу. Едва ли их назначат вместе, и подругам предстояла разлука. Они часто сидели по вечерам в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая их ожидает впереди. Перед ними была смутная степь, холодеющая в ночи,— большая, грустная, но добрая и

волшебная, как будущее время, ожидающее юность. У подруг заходилось сердце от предчувствия и воображения, и они обнимали друг друга, полные доверчивости.

Незадолго до отъезда навсегда со станции Серьга Ольга однажды проснулась на утренней заре. Лиза крепко спала рядом с нею, укутавшись с головой в серое железнодорожное одеяло, взятое из спального вагона. В воинской теплушке было привычно тепло и тихо, подруги успели обжить ее за длинное лето. И это их темное, тихое жилище начал заполнять далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра гудок паровоза. Тогда Ольга сообразила, отчего она проснулась: паровоз, наверно, кричал еще раньше, во время ее сна. Она сразу вскочила с места и побудила Лизу:

— Вставай... У него тормоза не держат!

Ольга схватила свою одежду с табуретки и оделась. Паровоз опять запел, приближаясь издалека. Ольга прислушалась к словам машины.

«Нет,— задумалась она.— Он говорит о том, что у него состав оборван...»

Она раскатила дверь, выпрыгнула из вагона и побежала к станции; Лизу ей ожидать уже было некогда, пусть она спит одна на заре и не раскрывает на себе одеяло.

Против вокзального здания на третьем пути стоял одинокий паровоз; он был единственным на станции, и больше ничего не было вокруг него; кроме здания вокзала, и степь тоже была сейчас светлой и пустой. Из паровоза глядели в направлении приближающегося поезда два человека — пожилой машинист и его помощник Иван Подметко; они ожидали, что случится, когда оборван состав поездного маршрута; по правилу все поездные маршруты миновали станцию Серьгу с ходу, без остановки, как и все пассажирские поезда, кроме почтовых.

В минувшую ночь на станции дежурил сам начальник станции. Он стоял сейчас на платформе и, сняв фуражку, вслушивался в сигналы приближающегося поезда, идущего с затяжного уклона.

Ольга подбежала к нему:

— Вы слышите — у него состав оборван!

— Я слышу,— недовольно ответил начальник станции, и вдруг он опечалился и рассерчал, как пожилой, уставший человек.— Ну отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покоя не полагается?..

Ольга ему не ответила; она глядела в сторону набегающей катастрофы; оробевший начальник станции поглядел туда же.

Вдали, на прямой, был виден путь, поднимавшийся от станции в крутой и долгий подъем, и оттуда, с затяжного уклона, шел грудью вперед паровоз — с открытым полным паром, на всей отсечке. Тот паровоз время от времени тревожно пел, то сигналя об обрыве, то прося сквозного прохода.

Начальник станции внимательно смотрел на Ольгу.

— Ведь это же воинский состав оборван!.. Надо поскорее принимать какое-либо решение!

Ольга попросила его:

— Командуйте!

— Сейчас,— в тревоге и поспешности сказал начальник,— сейчас мысль ко мне придет!

— Долго,— возразила Ольга.— Не надо, я сама знаю...

Она сошла с платформы вниз, перебежала пути, достигла маневрового паровоза и ухватилась за поручень трапа, ведущего в кабину машины. Затем она обернулась к начальнику станции:

— Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход! — и вбежала на тихо сипящий, мирный паровоз.

Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала.

— Сифон! — сразу сказала Ольга, войдя на паровоз.— Что же вы тут смотрите, сидите?

Иван Подметко молча повернул кран сифона, открыл дверцу в топку и начал кидать туда уголь полной лопатой. Пламя не поспевало высасываться тягой вон в атмосферу и забивалось длинными красно-черными языками внутрь паровозной будки через открытую шуровку.

— Поедешь со мной? — спросила Ольга у пожилого, спокойного машиниста, хозяина машины.

Механик ответил не враз: он подумал, потрогал гущу волос на подбородке и произнес:

— Уклон велик: расшибемся... Ведь и за Серьгой продолжается уклон к Волге,— тут только на станции одна маленькая площадка. А у меня семейство большое...

Выходной семафор открыл начальник станции. Паровоз воинского поезда пропел совсем близко. Ольга сказала механику:

— Ну, нам надо ехать — ты сходи, береги своих детей!

Подметко по-прежнему поспешно загружал топку.

— А ты? — спросила его Ольга.

— Мне можно,— ответил Подметко.— Давай! Я бездетный!

На платформу вокзала вышел начальник станции; он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг: осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова завыл о катастрофе.

Машинист станционного паровоза молча сошел на землю и помаленьку направился вдоль пути, якобы по текущему делу, касающемуся обслуживания машины.

Начальник станции был скрыт от Ольги набежавшим составом. Сначала промчался паровоз, за ним с воем и скрежетом, с лихою игрою рессор прошло немного вагонов, у которых были настежь открыты двери. «А где же Лиза? — подумала Ольга.— Неужели она спит и не слышит?..» Через открытые двери

вагонов на мгновение стали видны красноармейцы; они силою молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибали копытами доски из стен вагонов, так что видна была древесина на срезах досок.

Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный с паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку и прочел: «Оборвано двадцать — тридцать вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик А. Благих».

Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку Ольге.

Ольга взяла записку, прочла ее и поглядела туда, откуда прибыл паровоз с головной частью поезда.

Оттуда, с горизонта, без паровоза надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Сейчас была видна лишь передняя лобовая часть вагона — тупая, слепая стенка, от скорости увеличивающаяся на глазах.

Ольга, не найдя в себе места, куда спрятать записку начальника станции, взяла ее в рот, повернула несколько раз штурвал реверса вперед, до отказа, и двинула регулятор на открытие пара; паровоз тронулся.

Ольга взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед, пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке.

Маневровый станционный паровоз уже ушел со станции, но начальник, на всякий случай, поднял сигнал остановки — красный диск — и свободную руку ладонью к поезду. С вихрем и музыкой свободной скорости появился перед ним хвост поезда в двадцать — тридцать вагонов; большая часть вагонов была открытыми платформами. На этих платформах стояли легкие орудия, кухни и лежало, покрытое брезентами, разное воинское имущество. Красноармейцы спокойно сидели на тех платформах и пели свои песни. Лишь командир их, держась за стойку одного тормозного вагона, молча глядел вперед, и тормоза под этим вагоном, как нечаянно заметил начальник станции, были зажаты намертвую, но одним вагоном удержать состав, несущийся под уклон, было невозможно.

Начальник станции сейчас же ушел в дежурную комнату — сообщать в отделение службы эксплуатации о назревающем происшествии.

Паровоз, который вела Ольга, сильно раскачало от скорости, но она не убавляла открытия пара и отсечки. Время от времени она глядела на водомерное стекло, на манометр и назад, где ее нагонял свободный оборванный состав, разгоняющийся под уклон. Иван Подметко беспрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед. Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться: оборванный хвост поезда их быстро нагонял.

— Не удержим состава, расшибемся,— сказал он.— Придется погибать.

— Прыгай! — посоветовала ему Ольга.

— А ты? — спросил Подметко.

— Я останусь одна,— ответила Ольга.

Подметко распахнул дверцу топки и снова начал швырять туда лопаты с углем.

— Я буду тоже с тобой,— сказал он.— Справимся.

Машина Ольги шла уже на предельной скорости; колесные дышла были почти незаметны от поспешности своего движения. Ольга одна видела сейчас положение своей машины. Слепой состав шел скорее, чем ее паровоз, и настигал убегающую машину почти в упор.

— Иван! — крикнула она.— Шуруй скорее топку! Ты завалил пламя углем,— что же ты со мной делаешь?

Подметко взял кочергу и засунул ее в бушующий огонь. Однако расстояние между паровозом и слепым составом все более сокращалось. «Неужели? — думала Ольга.— Неужели я сейчас умру? Не хочется!»

Вдруг она услышала красноармейскую песню, которую пели на открытых платформах нагоняющего ее бешеного поезда. «Не буду я умирать!»— решила она. Она высунулась из окна паровозной кабины далеко наружу и увидала, что ей будет сейчас трудно: вагоны с разгона собьют ее легкий паровоз под откос.

Она обернулась к Ивану Подметко.

— Уходи! Нас расшибет сейчас!

Иван еще немного подумал вдобавок.

«Надо воду выбить — шибче поедем»,— и он дернул штангу крана продувки цилиндров, а потом схватился за поручни трапа и исчез вниз: должно быть, прыгнул в песок балласта, чтобы спасти свою жизнь.

Ольга заметила, что Подметко ушел, и прошептала «боже мой!», как говорила когда-то ее покойная мать. Далее она не успела ничего подумать. Она почувствовала удар в машину, и паровоз ее прыгнул вперед, как живой и сознательный. Ольга обернулась через окно назад,— что случилось? — и тут же ощутила второй, громящий, тупой удар. «Ну же, бедная! — с испугом вслух сказала она самой себе.— Пусть песни поют без тебя!»— и Ольга закрыла регулятор, пустила песок под колеса, дала реверс назад, обратно открыла регулятором пар на полный ход и повела кран паровозного тормоза на все его открытие. Машина ее на мгновение стала вмертвую, уперлась на месте,— Ольга сейчас же отпустила воздушный тормоз, а затем сама, всею машиной, надавила задним ходом на ударивший в нее состав, но инерция задних, напирающих вагонов еще не погасла — и они своей мертвой силой разгона вглухую вдвинули тендер паровоза в его кабину, где находился одинокий механик. Ольга поняла, что происходит, и свернулась в комок на своем

месте машиниста: «Это теткин муж, сволочь Благих, Аркадий Михайлович,— это он оборвал состав! У меня записка в зубах была, где я ее потеряла? Где Лиза, неужели все спит?»

Ольгу сжало в машине. Она почувствовала, как ей стало душно, как всю ее — без остатка, вместе с одеждой — вдавливает чужая сила в железное тело горячего котла и у нее лопается грудь, которую некогда сосал Юшка.

Маневровый паровоз даже не сошел с рельсов, в машину только вдвинулся тендер — на котел, но зато оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Теперь весь поезд мирно стоял на высокой насыпи, среди чистого поля, освещенного безветренным утренним солнцем. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала во сне или в смерти незнакомая, одинокая женщина. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили женщину из машины и опустили ее оттуда на руки красноармейцев.

После того командир отошел в сторону и громко сказал:

— Четверо остаются здесь! Остальные — бегом, назад к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четвертым людям, а те — следующим! Все.

Через полчаса Ольга была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серьгу. С нею же прибыл командир эшелона, не оставлявший ее в пути. Он соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие: у механика ранена голова и грудь; все красноармейцы невредимы, имущество цело; в случае дальнейшего развития свободной скорости оборванный состав неминуемо сошел бы с рельсов на закруглении перед волжским мостом или на самом мосту; либо же состав был бы сокрушен на станции, расположенной по ту сторону реки, за мостом, куда поезд должен был ворваться. Из военного округа сообщили, что высылают санитарный автомобиль «скорой помощи» с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения; автомобиль пойдет по шоссе напрямую и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз. Командир склонился к Ольге, лежавшей на диване в телеграфной комнате:

— Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем. Может быть, родственников или друзей?

— Юшку,— сказала Ольга.— А больше никого не надо, пусть за меня все люди на свете живут...

— Хорошо,— ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче.— А это кто — Юшка?

— Ребенок,— произнесла Ольга.

Командир удивился молодости матери, но ничего не сказал.

Ольга долго и терпеливо болела, но выздоровела, стала жить и живет до сих пор.

РЕКА ПОТУДАНЬ

Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире, по губерниям снова стало тихо и малолюдно: некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны, а кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели, с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке,— шел по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть — она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге; душа их уже переменилась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы,— они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-четыре года назад, потому что они превратились совсем в других людей — они выросли от возраста и поумнели, они стали терпеливей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас стала идеей их пока еще небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны.

Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные красноармейцы. Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ремеслом и тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни.

По взгорью, что далеко простерто над рекою Потудань, уже вторые сутки шел ко двору, в малоизвестный уездный город, бывший красноармеец Никита Фирсов. Это был человек лет двадцати пяти от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом,— но это выражение его лица происходило, может быть, не от грусти, а от сдержанной доброты характера либо от обычной сосредоточенности молодости. Светлые, давно не стриженные волосы его опускались из-под шапки на уши, большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу однообразной страны, точно пешеход был нездешний.

В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, текущего из родника по дну балки в Потудань. И пеший человек задремал на земле под солнцем, в сентябрьской траве,

уже уставшей расти здесь с давней весны. Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов уснул в тишине глухого места. Насекомые летали над ним, плыла паутина, какой-то бродяга-человек переступил через него и, не тронув спящего, не заинтересовавшись им, пошел дальше по своим делам. Пыль лета и долгого бездождия высоко стояла в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет, но все равно время мира, как обычно, шло вдалеке вослед солнцу... Вдруг Фирсов поднялся и сел, тяжко, испуганно дыша, точно он запалился в невидимом беге и борьбе. Ему приснился страшный сон, что его душит своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая пóтом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи.

Фирсов умылся в ручье и прополоскал рот, а потом пошел скорее дальше; дом его отца уже был близко, и к вечеру можно успеть дойти до него.

Как только смерклось, Фирсов увидел свою родину в смутной, начавшейся ночи. То было покатое, медленное нагорье, подымавшееся от берегов Потудани к ржаным, возвышенным полям. На этом нагорье расположился небольшой город, почти невидимый сейчас благодаря темноте. Ни одного огня не горело там.

Отец Никиты Фирсова спал сейчас: он лег, как только вернулся с работы, когда еще солнце не зашло. Он жил в одиночестве, жена его давно умерла, два сына исчезли на империалистической войне, а последний сын, Никита, был на гражданской: он, может быть, еще вернется,— думал про последнего сына отец,— гражданская война идет близко около домов и по дворам, и стрельбы там меньше, чем на империалистической. Спал отец помногу,— с вечерней зари до утренней,— иначе, если не спать, он начинал думать разные мысли, воображать забытое, и сердце его мучилось в тоске по утраченным сыновьям, в печали по своей скучно прошедшей жизни. С утра он сразу уходил в мастерскую крестьянской мебели, где он уже много лет работал столяром — и там, среди работы, ему было более терпимо, он забывался. Но к вечеру ему делалось хуже в душе, и, вернувшись на квартиру, в одну комнату, он поскорее, почти в испуге, засыпал до завтрашнего утра; ему и керосин был не нужен. А на рассвете мухи начинали кусать его в лысину, старик просыпался и долго, помаленьку, бережно одевался, обувался, умывался, вздыхал, топтался, убирал комнату, бормотал сам с собою, выходил наружу, смотрел там погоду и возвра-

щался — лишь бы потратить ненужное время, что оставалось до начала работы в мастерской крестьянской мебели.

В нынешнюю ночь отец Никиты Фирсова спал, как обычно, по необходимости и от усталости. Сверчок, уже которое лето, жил себе в завалинке дома и напевал оттуда в вечернее время — не то это был тот же самый сверчок, что и в позапрошлое лето, не то внук его. Никита подошел к завалинке и постучал в окошко отца; сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это пришел — незнакомый, поздний человек. Отец слез с деревянной старой кровати, на которой он спал еще с покойной матерью всех своих сыновей, и сам Никита родился когда-то на этой же кровати. Старый, худой человек был сейчас в подштанниках, от долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал своего сына, но все еще смотрел и смотрел на него, желая наглядеться. Потом он побежал, небольшой и тощий, как мальчик, кругом через сени и двор — отворять запертую на ночь калитку.

Никита вошел в старую комнату, с лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. Здесь пахло тем же запахом, что и в детстве, что и три года назад, когда он ушел на войну; даже запах материнского подола еще чувствовался тут — в единственном месте на всем свете. Никита снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним, босой и в подштанниках, не смея еще ни поздороваться как следует, ни заговорить.

— Ну как там буржуи и кадеты? — спросил он немного погодя.— Всех их побили иль еще маленько осталось?

— Да нет, почти всех,— сказал сын.

Отец кратко, но серьезно задумался: все-таки ведь целый класс умертвили, это большая работа была.

— Ну да, они же квелые! — сообщил старик про буржуев.— Чего они могут, они только даром жить привыкли...

Никита встал перед отцом, он был теперь выше его головы на полторы. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Никита положил руку на голову отца и привлек его к себе на грудь. Старый человек прислонился к сыну и начал часто, глубоко дышать, словно он пришел к своему отдыху.

На одной улице того же города, выходившей прямо в поле, стоял деревянный дом с зелеными ставнями. В этом доме жила когда-то вдовая старушка, учительница городского училища; вместе с нею жили ее дети — сын, мальчик лет десяти, и дочь, белокурая девочка Люба, пятнадцати лет.

Отец Никиты Фирсова хотел несколько лет тому назад жениться на вдовой учительнице, но вскоре сам оставил свое на-

мерение. Два раза он брал с собою в гости к учительнице Никиту, тогда еще мальчика, и Никита видел там задумчивую девочку Любу, которая сидела и читала книжки, не обращая внимания на чужих гостей.

Старая учительница угощала столяра чаем с сухарями и говорила что-то о просвещении народного ума и о ремонте школьных печей. Отец Никиты сидел все время молча; он стеснялся, крякал, кашлял и курил цигарки, а потом с робостью пил чай из блюдца, не трогая сухарей, потому что, дескать, давно уже сыт.

В квартире учительницы, во всех ее двух комнатах и в кухне, стояли стулья, на окнах висели занавески, в первой комнате находились пианино и шкаф для одежды, а в другой, дальней, комнате имелись кровати, два мягких кресла из красного бархата и там же на стенных полках помещалось много книг,— наверно, целое собранье сочинений. Отцу и сыну эта обстановка казалась слишком богатой, и отец, посетив вдову всего два раза, перестал к ней ходить. Он даже не управился ей сказать, что хочет на ней жениться. Но Никите было интересно увидеть еще раз пианино и читающую, задумчивую девочку, поэтому он просил отца жениться на старушке, чтобы ходить к ней в гости.

— Нельзя, Никит! — сказал в то время отец.— У меня образованья мало, о чем я с ней буду говорить! А к нам их позвать— стыдно: у нас посуды нету, харчи нехорошие... Ты видал, у них кресла какие? Старинные, московские! А шкаф? По всему фасу резьба и выборка: я понимаю!.. А дочь! Она, наверно, курсисткой будет.

И отец теперь уже несколько лет не видел своей старой невесты, лишь иногда он, может быть, скучал по ней или просто размышлял.

На другой день после возвращения с гражданской войны Никита пошел в военный комиссариат, чтобы его отметили там в запас. Затем Никита обошел весь знакомый, родной город, и у него заболело сердце от вида устаревших, небольших домов, сотлевших заборов и плетней и редких яблонь по дворам, многие из которых уже умерли, засохли навсегда. В его детстве эти яблони еще были зелеными, а одноэтажные дома казались большими и богатыми, населенными таинственными умными людьми, и улицы тогда были длинными, лопухи высокими, и бурьян на пустырях, на заброшенных огородах представлялся в то давнее время лесною, жуткою чащей. А сейчас Никита увидел, что маленькие дома жителей были жалкими, низкими, их надо красить и ремонтировать, бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями, и все улицы скоро кончались волевой землей, светлым небесным пространством,— город стал небольшим. Никита подумал, что, значит, им уже много жизни прожито, ес-

ли большие, таинственные предметы обратились в маленькие и скучные.

Он медленно прошел мимо дома с зелеными ставнями, куда он некогда ходил в гости с отцом. Зеленую краску на ставнях он знал только по памяти, теперь от нее остались одни слабые следы,— она выцвела от солнца, была вымыта ливнями и дождями, вылиняла до древесины; и железная крыша на доме уже сильно заржавела — теперь, наверно, дожди проникают через крышу и мокнет потолок над пианино в квартире. Никита внимательно посмотрел в окно этого дома; занавесок на окнах теперь не было, по ту сторону стекол виднелась чужая тьма. Никита сел на скамейку около калитки обветшалого, но все же знакомого дома. Он думал, что, может быть, кто-нибудь заиграет на пианино внутри дома, тогда он послушает музыку. Но в доме было тихо, ничего не известно. Подождав немного, Никита поглядел в щель забора на двор, там росла старая крапива, пустая тропинка вела меж ее зарослями в сарай и три деревянные ступеньки подымались в сени. Должно быть, умерли уже давно и учительница-старушка, и ее дочка Люба, а мальчик ушел добровольцем на войну...

Никита направился к себе домой. День пошел к вечеру,— скоро отец придет ночевать, надо будет подумать с ним, как жить дальше и куда поступать на работу.

На главной улице уезда было небольшое гулянье, потому что народ начал оживать после войны. Сейчас по улице шли служащие, курсистки, демобилизованные, выздоравливающие от ран, подростки, люди домашнего и кустарного труда и прочие, а рабочий человек выйдет сюда на прогулку позже, когда совсем смеркнется. Одеты люди были в старую одежду, по-бедному, либо в поношенное военное обмундирование времен империализма.

Почти все прохожие, даже те, которые шли под руку, будучи женихами и невестами, имели при себе что-нибудь для хозяйства. Женщины несли в домашних сумках картофель, а иногда рыбу, мужчины держали под мышкой пайковый хлеб или половину коровьей головы либо скупо хранили в руках требуху на приварок. Но редко кто шел в унынии, разве только вовсе пожилой, истомленный человек. Более молодые обычно смеялись и близко глядели в лица друг другу, воодушевленные и доверчивые, точно они были накануне вечного счастья.

— Здравствуйте! — несмело со стороны сказала женщина Никите Фирсову.

И голос тот сразу коснулся и согрел его, будто кто-то, дорогой и потерянный, отозвался ему на помощь. Однако Никите показалось, что это ошибка и это поздоровались не с ним. Боясь ошибиться, он медленно поглядел на ближних прохожих. Но их сейчас было всего два человека, и они уже миновали его. Никита оглянулся,— большая, выросшая Люба остановилась и

смотрела в его сторону. Она грустно и смущенно улыбалась ему.

Никита подошел к ней и бережно оглядел ее — точно ли она сохранилась вся в целости, потому что даже в воспоминании она для него была драгоценность. Австрийские башмаки ее, зашнурованные бечевой, сильно износились, кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверно, не хватило материала,— и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело. Поверх платья был надет старый дамский жакет,— наверно, его носила еще мать Любы в свою девичью пору,— а на голове Любы ничего не было, одни простые волосы, свитые пониже шеи в светлую прочную косу.

— Вы меня не помните? — спросила Люба.

— Нет, я вас не забыл,— ответил Никита.

— Забывать никогда не надо,— улыбнулась Люба.

Ее чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо, и его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой.

Никита пошел с Любой одной к ее дому,— она жила все там же. Мать ее умерла не так давно, а младший брат кормился в голод около красноармейской полевой кухни, потом привык там бывать и ушел вместе с красноармейцами на юг против неприятеля.

— Он кашу там есть привык, а дома ее не было,— говорила Люба про брата.

Люба теперь жила лишь в одной комнате,— больше ей не надо. С замершим чувством Никита осмотрелся в этой комнате, где он в первый раз видел Любу, пианино и богатую обстановку. Сейчас здесь не было уже ни пианино, ни шкафа с резьбою по всему фасу, остались одни два мягких кресла, стол и кровать, и сама комната теперь перестала быть такою интересной и загадочной, как тогда, в ранней юности,— обои на стенах выцвели и ободрались, пол истерся, около изразцовой печи находилась небольшая железная печка, которую можно истопить горстью щепок, чтобы немного согреться около нее.

Люба вынула общую тетрадь из-за пазухи, потом сняла башмаки и осталась босая. Она училась теперь в уездной академии медицинских наук: в те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание; бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?

— Они мне ноги трут,— сказала Люба про свои башмаки.—

Вы посидите еще, а я лягу спать, а то мне очень сильно есть хочется, а я не хочу думать об этом...

Люба, не раздеваясь, залезла под одеяло на кровати и положила косу себе на глаза.

Никита молча просидел часа два-три, пока Люба не проснулась. Тогда уже настала ночь, и Люба встала в темноте.

— Моя подруга, наверно, сегодня не придет,— грустно сказала Люба.

— А что — она вам нужна? — спросил Никита.

— Даже очень,— произнесла Люба.— У них большая семья и отец военный, она мне приносит ужин, если у нее что-нибудь останется... Я поем, и мы с ней начинаем заниматься...

— А керосин у вас есть? — спросил Никита.

— Нет, мне дрова дали... Мы печку зажигаем — мы на полу садимся и видим от огня.

Люба беспомощно, стыдливо улыбнулась, словно ей пришла на ум жестокая и грустная мысль.

— Наверно, ее старший брат, мальчишка, не заснул,— сказала она.— Он не велит, чтоб меня его сестра кормила, ему жалко... А я не виновата! Я и так не очень люблю кушать: это не я — голова сама начинает болеть, она думает про хлеб и мешает мне жить и думать другое...

— Люба,— позвал около окна молодой голос.

— Женя! — отозвалась Люба в окно.

Пришла подруга Любы. Она вынула из кармана своей куртки четыре больших печеных картошки и положила их на железную печку.

— А гистологию достала? — спросила Люба.

— А у кого ее доставать-то? — ответила Женя.— Меня в очередь в библиотеке записали...

— Ничего, обойдемся,— сообщила Люба.— Я две первых главы на факультете на память выучила. Я буду говорить, а ты запишешь. Пройдет?

— А раньше-то! — засмеялась Женя.

Никита растопил печку для освещения тетради огнем и собрался уходить к отцу на ночлег.

— Вы теперь не забудете меня? — попрощалась с ним Люба.

— Нет,— сказал Никита.— Мне больше некого помнить.

* * *

Фирсов полежал дома после войны два дня, а потом поступил работать в мастерскую крестьянской мебели, где работал его отец. Его зачислили плотником на подготовку материала, и расценок его был ниже, чем у отца, почти в два раза. Но Никита знал, что это временно, пока он не привыкнет к мастерству, а тогда его переведут в столяры и заработок станет лучше.

Работать Никита никогда не отвыкал. В Красной Армии тоже люди не одной войною занимались,— на долгих постоях и

в резервах красноармейцы рыли колодцы, ремонтировали избушки бедняков в деревнях и сажали кустарник в вершинах действующих оврагов, чтобы земля дальше не размывалась. Война ведь пройдет, а жизнь останется, и о ней надо было заранее позаботиться.

Через неделю Никита снова пошел в гости к Любе; он понес ей в подарок вареную рыбу и хлеб — свое второе блюдо от обеда в рабочей столовой.

Люба спешила читать по книжке у окна, пользуясь тем, что еще не погасло солнце на небе; поэтому Никита некоторое время сидел в комнате у Любы молчаливо, ожидая ночной темноты. Но вскоре сумрак сровнялся с тишиной на уездной улице, а Люба потерла свои глаза и закрыла учебную книгу.

— Как поживаете? — тихо спросила Люба.

— Мы с отцом живем, мы — ничего,— сказал Никита.— Я вам там покушать принес,— вы съешьте, пожалуйста,— попросил он.

— Я съем, спасибо,— произнесла Люба.

— А спать не будете? — спросил Никита.

— Не буду,— ответила Люба.— Я же поужинаю сейчас, я буду сыта!

Никита принес из сеней немного мелких дровишек и разжег железную печку, чтобы был свет для занятий. Он сел на пол, открыл печную дверцу и клал щепки в худые короткие поленья в огонь, стараясь, чтоб тепла было поменьше, а света побольше. Съев рыбу с хлебом, Люба тоже села на пол, против Никиты и около света из печки, и начала учить по книжке свою медицину.

Она читала молча, однако изредка шептала что-то, улыбалась и записывала мелким, быстрым почерком несколько слов в блокнот,— наверно, самые важные вещи. А Никита только следил за правильным горением огня, и лишь время от времени — не часто — он смотрел в лицо Любы, но затем опять подолгу глядел на огонь, потому что боялся надоесть Любе своим взглядом. Так время шло, и Никита думал с печалью, что скоро оно пройдет совсем и ему настанет пора уходить домой.

В полночь, когда пробили часы на колокольне, Никита спросил у Любы, отчего не пришла ее подруга, по имени Женя.

— А у нее тиф повторился, она, наверно, умрет,— ответила Люба и опять стала читать медицину.

— Вот это жалко! — сказал Никита, но Люба ничего не ответила ему.

Никита представил себе в мысли больную, горячую Женю,— и, в сущности, он тоже мог бы ее искренне полюбить, если б узнал ее раньше и если бы она была немного добра к нему. Она тоже, кажется, прекрасная: зря он ее не разглядел тогда во тьме и плохо запомнил.

— Я уже спать хочу,— прошептала Люба, вздыхая.

— А поняли все, что прочитали-то? — спросил Никита.

— Все чисто! Хотите, расскажу? — предложила Люба.

— Не надо,— отказался Никита.— Вы лучше берегите при себе, а то я все равно забуду.

Он подмел веником сор около печки и ушел к отцу.

С тех пор он посещал Любу почти каждый день, лишь иногда пропуская сутки или двое, ради того, чтоб Люба поскучала по нем. Скучала она или нет — неизвестно, но в эти пустые вечера Никита вынужден был ходить по десять, по пятнадцать верст, несколько раз вокруг всего города, желая удержать себя в одиночестве, вытерпеть без утешения тоску по Любе и не пойти к ней.

У нее в гостях он обыкновенно занимался тем, что топил печь и ожидал, когда она ему скажет что-нибудь в промежуток, отвлекшись от своего учения по книге. Каждый раз Никита приносил Любе на ужин немного пищи из столовой при мастерской крестьянской мебели; обедала же она в своей академии, но там давали кушать слишком мало, а Люба много думала, училась и вдобавок еще росла, и ей не хватало питания. В первую же свою получку Никита купил в ближней деревне коровьи ноги и затем всю ночь варил студень на железной печке, а Люба до полночи занималась с книгами и тетрадями, потом чинила свою одежду, штопала чулки, мыла полы на рассвете и купалась на дворе в кадушке с дождевой водой, пока еще не проснулись посторонние люди.

Отцу Никиты было скучно жить все вечера одному, без сына, а Никита не говорил, куда он ходит. «Он сам теперь человек,— думал старик.— Мог же ведь быть убитым или раненным на войне, а раз живет — пусть ходит!»

Однажды старик заметил, что сын принес откуда-то две белых булки. Но он их сразу же завернул в отдельную бумагу, а его не угостил. Затем Никита, как обычно, надел фуражку и пошел до полночи, и обе булки тоже взял с собой.

— Никит, возьми меня с собой! — попросил отец.— Я там ничего не буду говорить, я только гляну... Там интересно,— должно быть, что-нибудь выдающееся!

— В другой раз, отец,— стесняясь, сказал Никита.— А то тебе сейчас спать пора, завтра ведь на работу надо идти...

В тот вечер Никита не застал Любы, ее не было дома. Он сел тогда на лавочку у ворот и стал ожидать хозяйку. Белые булки он положил себе за пазуху и согревал их там, чтоб они не остыли до прихода Любы. Он сидел терпеливо до поздней ночи, наблюдая звезды на небе и редких прохожих людей, спешивших к детям в свои жилища, слушал звон городских часов на колокольне, лай собак по дворам и разные тихие, неясные звуки, которые днем не существуют. Он бы мог прожить здесь в ожидании, наверно, до самой своей смерти.

Люба неслышно появилась из тьмы перед Никитой. Он встал перед ней, но она сказала ему: «Идите лучше домой»,— и за-

плакала. Она пошла к себе в квартиру, а Никита обождал еще снаружи в недоумении и пошел за Любой.

— Женя умерла,— сказала Люба ему в комнате.— Что я теперь буду делать?..

Никита молчал. Теплые булки лежали у него за пазухой — не то их надо вынуть сейчас, не то теперь уж ничего не нужно. Люба легла в одежде на кровать, отвернулась лицом к стене и плакала там сама для себя, беззвучно и почти не шевелясь.

Никита долго стоял один в ночной комнате, стесняясь помешать чужому грустному горю. Люба не обращала на него внимания, потому что печаль от своего горя делает людей равнодушными ко всем другим страдающим. Никита самовольно сел на кровать в ногах у Любы и вынул булки из-за пазухи, чтобы деть их куда-нибудь, но пока не находил для них места.

— Давайте я с вами буду теперь! — сказал Никита.

— А что вы будете делать? — спросила Люба в слезах.

Никита подумал, боясь ошибиться или нечаянно обидеть Любу.

— Я ничего не буду,— ответил он.— Мы станем жить как обыкновенно, чтоб вы не мучились.

— Обождем, нам нечего спешить,— задумчиво и расчетливо произнесла Люба.— Надо вот подумать, в чем Женю хоронить,— у них гроба нету...

— Я завтра его принесу,— пообещал Никита и положил булки на кровать.

На другой день Никита спросил разрешения у мастера и стал делать гроб; их всегда позволяли делать свободно и за материал не высчитывали. По неумению он делал его долго, но зато тщательно и особо чисто отделал внутреннее ложе для покойной девушки; от воображения умершей Жени Никита сам расстроился и немного покапал слезами в стружки. Отец, проходя по двору, подошел к Никите и заметил его расстройство.

— Ты что тоскуешь: невеста умерла? — спросил отец.

— Нет, подруга ее,— ответил он.

— Подруга? — сказал отец.— Да чума с ней!.. Дай я тебе борта в гробу поровняю, у тебя некрасиво вышло, точности не видать!

После работы Никита понес гроб к Любе; он не знал, где лежит ее мертвая подруга.

В тот год долго шла теплая осень, и народ был доволен. «Хлебу вышел недород, так мы на дровах сбережем»,— говорили экономические люди. Никита Фирсов загодя заказал сшить из своей красноармейской шинели женское пальто для Любы, но пальто уже приготовили, а надобности, за теплым временем, в нем все еще не было. Никита по-прежнему ходил к Любе на квартиру, чтобы помогать ей жить и самому в ответ получать питание для наслаждения сердца.

Он ее спрашивал один раз, как они дальше будут жить —

вместе или отдельно. А она отвечала, что до весны не имеет возможности чувствовать свое счастье, потому что ей надо поскорее окончить академию медицинских знаний, а там — видно будет. Никита выслушал это далекое обещание, но не требовал большего счастья, чем оно уже есть у него благодаря Любе, и он не знал, есть ли оно еще лучшее, но сердце его продрогло от долгого терпения и неуверенности — нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек. Люба иногда с улыбкой смотрела на него своими светлыми глазами, в которых находились большие, черные, непонятные точки, а лицо ее вокруг глаз было исполнено добром.

Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: «Ну будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива».

Никита поспешил уйти к отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к Любе несколько дней подряд. «Я буду читать,— решал он,— и начну жить по-настоящему, а Любу забуду, не стану ее помнить и знать. Что она такое особенное — на свете великие миллионы живут, еще лучше ее есть. Она некрасивая!»

Наутро он не встал с подстилки, на которой спал на полу. Отец, уходя на работу, попробовал его голову и сказал:

— Ты горячий: ложись на кровать! Поболей немножко, потом выздоровеешь... Ты на войне нигде не раненный?

— Нигде,— ответил Никита.

Под вечер он потерял память; сначала он видел все время потолок и двух поздних предсмертных мух на нем, приютившихся греться там для продолжения жизни, а потом эти же предметы стали вызывать в нем тоску, отвращение,— потолок и мухи словно забрались к нему внутрь мозга, их нельзя было изгнать оттуда и перестать думать о них все более увеличивающейся мыслью, съедающей уже головные кости. Никита закрыл глаза, но мухи кипели в его мозгу, он вскочил с кровати, чтобы прогнать мух с потолка, и упал обратно на подушку: ему показалось, что от подушки еще пахло материнским дыханием — мать ведь здесь же спала рядом с отцом,— Никита вспомнил ее и забылся. Через четыре дня Люба отыскала жилище Никиты Фирсова и явилась к нему в первый раз сама. Шла только середина дня; во всех домах, где жили рабочие, было безлюдно — женщины ушли доставать провизию, а дошкольные ребятишки разбрелись по дворам и полянам. Люба села на кровать к Никите, погладила ему лоб, протерла глаза концом своего носового платка и спросила:

— Ну что, где у тебя болит?

— Нигде,— сказал Никита.

Сильный жар уносил его в своем течении вдаль ото всех людей и ближних предметов, и он с трудом видел сейчас и помнил

Любу, боясь ее потерять в темноте равнодушного рассудка; он взялся рукой за карман ее пальто, сшитого из красноармейской шинели, и держался за него, как утомленный пловец за отвесный берег, то утопая, то спасаясь. Болезнь все время стремилась увлечь его на сияющий, пустой горизонт — в открытое море, чтоб он там отдохнул на медленных, тяжелых волнах.

— У тебя грипп, наверно, я тебя вылечу,— сказала Люба.— А может, и тиф!.. Но ничего — не страшно!

Она подняла Никиту за плечи и посадила его спиной к стене. Затем быстро и настойчиво Люба переодела Никиту в свое пальто, нашла отцовский шарф и повязала им голову больного, а ноги его всунула в валенки, валявшиеся до зимы под кроватью. Обхватив Никиту, Люба велела ему ступать ногами и вывела его, озябшего, на улицу. Там стоял извозчик. Люба подсадила больного в пролетку, и они поехали.

— Не жилец народ живет! — сказал извозчик, обращаясь к лошади, беспрерывно погоняя ее вожжами на уездную мелкую рысь.

В своей комнате Люба раздела и уложила Никиту в кровать и укрыла его одеялом, старой ковровой дорожкой, материнскою ветхою шалью — всем согревающим добром, какое у нее было.

— Зачем тебе дома лежать? — удовлетворенно говорила Люба, подтыкая одеяло под горячее тело Никиты.— Ну зачем!.. Отец твой на работе, ты лежишь целый день один, ухода ты никакого не видишь и тоскуешь по мне...

Никита долго решал и думал, где Люба взяла денег на извозчика. Может быть, она продала свои австрийские башмаки или учебную книжку (она ее сначала выучила наизусть, чтобы не нужна была), или же она заплатила извозчику всю месячную стипендию... Ночью Никита лежал в смутном сознании: иногда он понимал, где сейчас находится, и видел Любу, которая топила печку и стряпала пищу на ней, а затем Никита наблюдал незнакомые видения своего ума, действующего отдельно от его воли в сжатой, горячей тесноте головы.

Озноб его все более усиливался. Время от времени Люба пробовала ладонью лоб Никиты и считала пульс в его руке. Поздно ночью она напоила его кипяченой, теплой водой и, сняв верхнее платье, легла к больному под одеяло, потому что Никита дрожал от лихорадки и надо было согреть его. Люба обняла Никиту и прижала к себе, а он свернулся от стужи в комок и прильнул лицом к ее груди, чтобы теснее ощущать чужую, высшую, лучшую жизнь и позабыть свое мученье, свое продрогшее пустое тело. Но Никите жалко было теперь умирать,— не ради себя, но ради того, чтоб иметь прикосновение к Любе и к другой жизни,— поэтому он спросил шепотом у Любы, выздоровеет он или помрет: она ведь училась и должна знать.

Люба стиснула руками голову Никиты и ответила ему:

— Ты скоро поправишься... Люди умирают потому, что они болеют одни и некому их любить, а ты со мной сейчас...

Никита пригрелся и уснул. Недели через три Никита поправился. На дворе уже выпал снег, стало вдруг тихо повсюду, и Никита пошел зимовать к отцу; он не хотел мешать Любе до окончания академии, пусть ум ее разовьется полностью весь, она тоже из бедных людей. Отец обрадовался возвращению сына, хотя и посещал его у Любы из двух дней в третий, принося каждый раз для сына харчи, а Любе какой бы то ни было гостинец. Днем Никита опять стал работать в мастерской, а вечером посещал Любу и зимовал спокойно: он знал, что с весны она будет его женой и с того времени наступит счастливая, долгая жизнь. Изредка Люба трогала, шевелила его, бегала от него по комнате, и тогда — после игры — Никита осторожно целовал ее в щеку. Обычно же Люба не велела ему напрасно касаться себя.

— А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить! — говорила она.— Я ведь не такая вкусная: тебе это кажется!..

В дни отдыха Люба и Никита ходили гулять по зимним дорогам за город или шли, полуобнявшись, по льду уснувшей реки Потудани — далеко вниз по летнему течению. Никита ложился животом и смотрел вниз под лед, где видно было, как тихо текла вода. Люба тоже устраивалась рядом с ним, и, касаясь друг друга, они наблюдали укромный поток воды и говорили, насколько счастлива река Потудань, потому что она уходит в море, и эта вода подо льдом будет течь мимо берегов далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы. Подумав об этом немного, Люба велела Никите тотчас же вставать со льда; Никита ходил теперь в старом отцовском пиджаке на вате, он ему был короток, грел мало, и Никита мог простудиться.

И вот они терпеливо дружили вдвоем почти всю долгую зиму, томимые предчувствием своего близкого будущего счастья. Река Потудань тоже всю зиму таилась подо льдом, и озимые хлеба дремали под снегом,— эти явления природы успокаивали и даже утешали Никиту Фирсова: не одно его сердце лежит в погребении перед весной. В феврале, просыпаясь утром, он прислушивался — не жужжат ли уже новые мухи, а на дворе глядел на небо и на деревья соседнего сада: может быть, уже прилетают первые птицы из дальних стран. Но деревья, травы и зародыши мух еще спали в глубине своих сил и в зачатке.

В середине февраля Люба сказала Никите, что выпускные экзамены у них начинаются двадцатого числа, потому что врачи очень нужны и народу некогда их долго ждать. А к марту экзамены уже кончатся,— поэтому пусть снег лежит и река течет подо льдом хоть до июля месяца! Радость их сердца наступит раньше тепла природы.

На это время — до марта месяца — Никита захотел уехать из города, чтобы скорее перетерпеть срок до совместной жизни с Любой. Он назвался в мастерской крестьянской мебели идти с бригадой столяров чинить мебель по сельсоветам и школам в деревнях.

Отец тем временем — к марту месяцу — сделал не спеша в подарок молодым большой шкаф, подобный тому, который стоял в квартире Любы, когда еще ее мать была приблизительной невестой отца Никиты. На глазах старого столяра жизнь повторялась уже по второму или по третьему своему кругу. Понимать это можно, а изменить пожалуй что нельзя, и, вздохнув, отец Никиты положил шкаф на санки и повез его на квартиру невесты своего сына. Снег потеплел и таял против солнца, но старый человек был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли. Он думал втайне, что и сам бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери ее постеснялся, но стыдно как-то и нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девицу. И отец Никиты полагал отсюда, что жизнь далеко не нормальна. Сын вот только явился с войны и опять уходит из дома, теперь уж навсегда. Придется, видно, ему, старику, взять к себе хоть побирушку с улицы — не ради семейной жизни, а чтоб, вроде домашнего ежа или кролика, было второе существо в жилище: пусть оно мешает жить и вносит нечистоту, но без него перестанешь быть человеком.

Сдав Любе шкаф, отец Никиты спросил у нее, когда ему нужно приходить на свадьбу.

— А когда Никита приедет: я готова! — сказала Люба.

Отец ночью пошел на деревню за двадцать верст, где Никита работал по изготовлению школьных парт. Никита спал в пустом классе на полу, но отец побудил его и сказал ему, что пора идти в город — можно жениться.

— Ты ступай, а я за тебя парты доделаю! — сказал отец.

Никита надел шапку и сейчас же, не ожидая рассвета, отправился пешком в уезд. Он шел один всю вторую половину ночи по пустым местам; полевой ветер бродил без порядка близ него, то касаясь лица, то задувая в спину, а иногда и вовсе уходя на покой в тишину придорожного оврага. Земля по склонам и на высоких пашнях лежала темной, снег ушел с нее в низы, пахло молодою водой и ветхими травами, павшими с осени. Но осень уже забытое, давнее время,— земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать все сначала и лишь те существа, которые никогда не жили. Никита даже не спешил идти к Любе; ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой беспамятной ранней земле, забывшей всех умерших на ней и не знающей, что она родит в тепле нового лета.

Под утро Никита подошел к дому Любы. Легкая изморозь легла на знакомую крышу и на кирпичный фундамент,— Лю-

бе, наверно, сладко спится сейчас в нагретой постели, и Никита прошел мимо ее дома, чтобы не будить невесту, не остужать ее тела из-за своего интереса.

К вечеру того же дня Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записались в уездном Совете на брак, затем они пришли в комнату Любы и не знали, чем им заняться. Никите стало теперь совестно, что счастье полностью случилось с ним, что самый нужный для него человек на свете хочет жить заодно с его жизнью, словно в нем скрыто великое, драгоценное добро. Он взял руку Любы к себе и долго держал ее; он наслаждался теплотой ладони этой руки, он чувствовал через нее далекое биение любящего его сердца и думал о непонятной тайне: почему Люба улыбается ему и любит его неизвестно за что. Сам он чувствовал в точности, почему дорога для него Люба.

— Сначала давай покушаем! — сказала Люба и выбрала свою руку от Никиты.

Она приготовила сегодня кое-что: по окончании академии ей дали усиленное пособие в виде продуктов и денежных средств.

Никита со стеснением стал есть вкусную, разнообразную пищу у своей жены. Он не помнил, чтобы когда-нибудь его угощали почти задаром, ему не приходилось посещать людей для своего удовольствия и еще вдобавок наедаться у них.

Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему: «Ну!»

Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил: «Подождите, у меня сердце сильно заболело»,— и Люба оставила мужа.

На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: «Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба». Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать.

Наутро Никита встал спозаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы скипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился: Люба теперь, наверно, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде.

Люба проснулась и глядела на мужа.

— Не унывай, не стоит,— сказала она, улыбаясь.— У нас все с тобой наладится!

— Давай я пол вымою,— попросил Никита,— а то у нас грязно.

— Ну, мой,— согласилась Люба.

«Как он жалок и слаб от любви ко мне! — думала Люба в кровати.— Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой!.. Я протерплю. А может — когда-нибудь он станет любить меня меньше, и тогда будет сильным человеком!»

Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люба смеялась над ним с постели.

— Вот я и замужняя! — радовалась она сама с собой и вылезла в сорочке поверх одеяла.

Убравшись с комнатой, Никита заодно вытер влажной тряпкой всю мебель, затем разбавил холодную воду в ведре горячей и вынул из-под кровати таз, чтобы Люба умывалась над ним.

После чая Люба поцеловала мужа в лоб и пошла на работу в больницу, сказав, что часа в три она возвратится. Никита попробовал на лбу место поцелуя жены и остался один. Он сам не знал, почему он сегодня не пошел на работу,— ему казалось, что жить теперь ему стыдно и, может быть, совсем не нужно: зачем же тогда зарабатывать деньги на хлеб? Он решил кое-как дожить свой век, пока не исчахнет от стыда и тоски.

Обследовав общее семейное имущество в квартире, Никита нашел продукты и приготовил обед из одного блюда — кулеш с говядиной. А после такой работы лег вниз лицом на кровать и стал считать, сколько времени осталось до вскрытия рек, чтобы утопиться в Потудани.

— Обожду, как тронется лед: недолго! — сказал он себе вслух для успокоения и задремал.

Люба принесла со службы подарок — две плошки зимних цветов; ее там поздравили с бракосочетанием врачи и сестры милосердия. А она держалась с ними важно и таинственно, как истинная женщина. Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей, одна же искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы — правда или нет, что любовь — это нечто чарующее, а замужество по любви — упоительное счастье? Люба ответила ей, что все это чистая правда, оттого и люди на свете живут.

Вечером муж и жена беседовали друг с другом. Люба говорила, что у них могут появиться дети и надо заранее об этом подумать. Никита обещал начать в мастерской делать сверхурочно детскую мебель: столик, стул и кроватку-качалку.

— Революция осталась навсегда, теперь рожать хорошо,— говорил Никита.— Дети несчастными уж никогда не будут!

— Тебе хорошо говорить, а мне ведь рожать придется! — обижалась Люба.

— Больно будет? — спрашивал Никита.— Лучше тогда не рожай, не мучайся...

— Нет, я вытерплю, пожалуй! — соглашалась Люба.

В сумерках она постелила постель, причем, чтоб не тесно было спать, она подгородила к кровати два стула для ног, а

ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала, она услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом простыни, а утром, проснувшись, он не запомнил своей ночной печали.

С тех пор их общая жизнь пошла по своему времени. Люба лечила людей в больнице, а Никита делал крестьянскую мебель. В свободные часы и по воскресеньям он работал на дворе и по дому, хотя Люба его не просила об этом,— она сама теперь точно знала, чей этот дом. Раньше он принадлежал ее матери, потом его взяли в собственность государства, но государство забыло про дом — никто ни разу не приходил справляться в целости дома и не брал денег за квартиру. Никите это было все равно. Он достал через знакомых отца зеленой краски-медянки и выкрасил заново крышу и ставни, как только устоялась весенняя погода. С тем же прилежанием он постепенно починил обветшалый сарай на дворе, оправил ворота и забор и собирался рыть новый погреб, потому что старый обвалился.

Река Потудань уже тронулась. Никита ходил два раза на ее берег, смотрел на потекшие воды и решил не умирать, пока Люба еще терпит его, а когда перестанет терпеть, тогда он успеет скончаться — река не скоро замерзнет. Дворовые хозяйственные работы Никита делал обычно медленно, чтобы не сидеть в комнате и не надоедать напрасно Любе. А когда он отделывался начисто, то нагребал к себе в подол рубашки глину из старого погреба и шел с ней в квартиру. Там он садился на пол и лепил из глины фигурки людей и разные предметы, не имеющие подобия и назначения,— просто мертвые вымыслы в виде горы с выросшей из нее головой животного или корневища дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать. Никита нечаянно, блаженно улыбался во время своей глиняной работы, а Люба сидела тут же, рядом с ним на полу, зашивала белье, напевала песенки, что слышала когда-то, и между своим делом ласкала Никиту одною рукой — то гладила его по голове, то щекотала под мышкой. Никита жил в эти часы со сжавшимся кротким сердцем и не знал, нужно ли ему еще что-либо более высшее и могучее, или жизнь на самом деле невелика,— такая, что уже есть у него сейчас. Но Люба смотрела на него утомленными глазами, полными терпеливой доброты, словно добро и счастье стали для нее тяжким трудом. Тогда Никита мял свои игрушки, превращал их снова в глину и спрашивал у жены, не нужно ли затопить печку, чтобы согреть воду для чая, или сходить куда-нибудь по делу.

— Не нужно,— улыбалась Люба.— Я сама сделаю все...

И Никита понимал, что жизнь велика и, быть может, ему

непосильна, что она не вся сосредоточена в его бьющемся сердце — она еще интересней, сильнее и дороже в другом, недоступном ему человеке. Он взял ведро и пошел за водой в городской колодец, где вода была чище, чем в уличных бассейнах. Никита ничем, никакой работой не мог утомить свое горе и боялся, как в детстве, приближающейся ночи. Набрав воды, Никита зашел с полным ведром к отцу и посидел у него в гостях.

— Что ж свадьбу-то не сыграли? — спросил отец.— Тайком, по-советски управились?..

— Сыграем еще,— пообещал сын.— Давай с тобой сделаем маленький столик со стулом и кровать-качалку,— ты поговори завтра с мастером, чтоб дали материал... А то у нас дети, наверно, пойдут!

— Ну что ж, можно,— согласился отец.— Да ведь дети у вас скоро не должны быть: не пора еще...

Через неделю Никита поделал для себя всю нужную детскую мебель; он оставался каждый вечер сверхурочно и тщательно трудился. А отец начисто отделал каждую вещь и покрасил ее.

Люба установила детскую утварь в особый уголок, убрала столик будущего ребенка двумя горшками цветов и положила на спинку стула новое вышитое полотенце. В благодарность за верность к ней и к ее неизвестным детям Люба обняла Никиту, она поцеловала его в горло, прильнула к груди и долго согревалась близ любящего человека, зная, что больше ничего сделать нельзя. А Никита, опустив руки, скрывая свое сердце, молча стоял перед нею, потому что не хотел казаться сильным, будучи беспомощным.

В ту ночь Никита выспался рано, проснувшись немного позже полуночи. Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе — половина первого, час, половина второго: три раза по одному удару. На небе, за окном, началось смутное прозябание — еще не рассвет, а только движение тьмы, медленное оголение пустого пространства, и все вещи в комнате и новая детская мебель тоже стали заметны, но после прожитой темной ночи они казались жалкими и утомленными, точно призывая к себе на помощь. Люба пошевелилась под одеялом и вздохнула: может быть, она тоже не спала. На всякий случай Никита замер и стал слушать. Однако больше Люба не шевелилась, она опять дышала ровно, и Никите нравилось, что Люба лежит около него живая, необходимая для его души и не помнящая во сне, что он, ее муж, существует. Лишь бы она была цела и счастлива, а Никите достаточно для жизни одного сознания про нее. Он задремал в покое, утешаясь сном близкого милого человека, и снова открыл глаза.

Люба осторожно, почти неслышно плакала. Она покрылась с головой и там мучилась одна, сдавливая свое горе, чтобы оно умерло беззвучно. Никита повернулся лицом к Любе и увидел, как она, жалобно свернувшись под одеялом, часто дышала и

угнеталась. Никита молчал. Не всякое горе можно утешить; есть горе, которое кончается лишь после истощения сердца, в долгом забвении или в рассеянности среди текущих житейских забот.

На рассвете Люба утихла. Никита обождал время, затем приподнял конец одеяла и посмотрел в лицо жены. Она покойно спала, теплая, смирная, с осохшими слезами...

Никита встал, бесшумно оделся и ушел наружу. Слабое утро начиналось в мире, прохожий нищий шел с полной сумою посреди улицы. Никита отправился вослед этому человеку, чтобы иметь смысл идти куда-нибудь. Нищий вышел за город и направился по большаку в слободу Кантемировку, где спокон века были большие базары и жил зажиточный народ; правда, там нищему человеку подавали всегда мало, кормиться как раз приходилось по дальним, бедняцким деревням, но зато в Кантемировке было праздно, интересно, можно пожить на базаре одним наблюдением множества людей, чтобы развлеклась на время душа.

В Кантемировку нищий и Никита пришли к полудню. На околице города нищий человек сел в канавку, открыл сумку и вместе с Никитой стал угощаться оттуда, а в городе они разошлись в разные стороны, потому что у нищего были свои соображения, у Никиты их не было. Никита пришел на базар, сел в тени за торговым закрытым рундуком и перестал думать о Любе, о заботах жизни и о самом себе.

Базарный сторож жил на базаре уже двадцать пять лет и все годы жирно питался со своей тучной, бездетной старухой. Ему всегда у купцов и в кооперативных магазинах давали мясные, некондиционные остатки и отходы, отпускали по себестоимости пошивочный материал, а также предметы по хозяйству, вроде ниток, мыла и прочего. Он уже и сам издавна торговал помаленьку пустой, бракованной тарой и наживал деньги в сберкассу. По должности ему полагалось выметать мусор со всего базара, смывать кровь с торговых полок в мясном ряду, убирать публичное отхожее место, а по ночам караулить торговые навесы и помещения. Но он только прохаживался ночью по базару в теплом тулупе, а черную работу поручал босякам и нищим, которые ночевали на базаре; его жена почти всегда выливала остатки вчерашних мясных щей в помойное место, так что сторож всегда мог кормить какого-нибудь бедного человека за уборку отхожего места.

Жена постоянно наказывала ему — не заниматься черной работой, ведь у него уж борода седая вон какая отросла,— он теперь не сторож, а надзиратель.

Но разве бродягу либо нищего приучишь к вечному труду на готовых харчах: он поработает однажды, поест, что дадут, и еще попросит, а потом пропадает обратно в уезд.

За последнее время уже несколько ночей подряд сторож прогонял с базара одного и того же человека. Когда сторож толкал его, спящего, тот вставал и уходил, ничего не отвечая, а потом опять лежал или сидел где-нибудь за дальним рундуком. Однажды сторож всю ночь охотился за этим бесприютным человеком, в нем даже кровь заиграла от страсти замучить, победить чужое, утомленное существо... Раза два сторож бросал в него палкой и попадал по голове, но бродяга на рассвете все же скрылся от него,— наверно, совсем ушел с базарной площади. А утром сторож нашел его опять — он спал на крышке выгребной ямы за отхожим местом, прямо снаружи. Сторож окликнул спящего, тот открыл глаза, но ничего не ответил, посмотрел и опять равнодушно задремал. Сторож подумал, что это — немой человек. Он ткнул наконечником палки в живот дремлющего и показал рукой, чтоб он шел за ним.

В своей казенной, опрятной квартире — из кухни и комнаты — сторож дал немому похлебать из горшка холодных щей с выжарками, а после харчей велел взять в сенях метлу, лопату, скребку, ведро с известью и прибрать начисто публичное место. Немой глядел на сторожа туманными глазами: наверно, он был и глухой еще... Но нет, едва ли,— немой забрал в сенях весь нужный инструмент и материал, как сказал ему сторож, значит — он слышит.

Никита аккуратно сделал работу, и сторож явился потом проверить, как оно получилось; для начала вышло терпимо, поэтому сторож повел Никиту на коновязь и доверил ему собрать навоз и вывезти его на тачке.

Дома сторож-надзиратель приказал своей хозяйке, чтоб она теперь не выхлестывала в помойку остатки от ужина и обеда, а сливала бы их в отдельную черепушку: пусть немой человек доедает.

— Небось и спать его в горнице класть прикажешь? — спросила хозяйка.

— Это ни к чему! — определил хозяин.— Ночевать он наружи будет: он ведь не глухой пускай лежит и воров слушает, а услышит — мне прибежит скажет... Дай ему дерюжку, он найдет себе место и постелит...

На слободском базаре Никита прожил долгое время. Отвыкнув сначала говорить, он и думать, вспоминать и мучиться стал меньше. Лишь изредка ему ложился гнет на сердце, но он терпел его без размышления, и чувство горя в нем постепенно утомлялось и проходило. Он уже привык жить на базаре, а многолюдство народа, шум голосов, ежедневные события отвлекали его от памяти по самом себе и от своих интересов — пищи, отдыха, желания увидеть отца. Работал Никита постоянно; даже ночью, когда Никита засыпал в пустом ящике среди умолкшего базара, к нему наведывался сторож-надзиратель и приказывал ему подремывать и слушать, а не спать по-мертвому. «Мало

ли что,— говорил сторож,— намедни вон жулики две доски от ларька оторвали, пуд меда без хлеба съели...» А на рассвете Никита уже работал, он спешил убрать базар до народа; днем тоже есть нельзя было, то надо навоз накладывать из кучи на коммунальную подводу, то рыть новую яму для помоев и нечистот, то разбирать старые ящики, которые сторож брал даром у торгующих и продавал затем в деревню отдельными досками,— либо еще находилась работа.

Среди лета Никиту взяли в тюрьму по подозрению в краже москательных товаров из базарного филиала сельпо, но следствие оправдало его, потому что немой, сильно изнемогший человек был слишком равнодушен к обвинению. Следователь не обнаружил в характере Никиты и в его скромной работе на базаре как помощника сторожа никаких признаков жадности к жизни и влечения к удовольствию или наслаждению,— он даже в тюрьме не поедал всей пищи. Следователь понял, что этот человек не знает ценности личных и общественных вещей, а в обстоятельствах его дела не содержалось прямых улик. «Нечего пачкать тюрьму таким человеком!» — решил следователь.

Никита просидел в тюрьме всего пять суток, а оттуда снова явился на базар. Сторож-надзиратель уморился без него работать, поэтому обрадовался, когда немой опять показался у базарных рундуков. Старик позвал его в квартиру и дал Никите покушать свежих горячих щей, нарушив этим порядок и бережливость в своем хозяйстве. «Один раз поест — не разорит! — успокоил себя старый сторож-хозяин.— А дальше опять на вчерашнюю холодную еду перейдет, когда что останется!»

— Ступай, мусор отгреби в бакалейном ряду,— указал сторож Никите, когда тот поел хозяйские щи.

Никита отправился на привычное дело. Он слабо теперь чувствовал самого себя и думал немного, что лишь нечаянно появлялось в его мысли. К осени, вероятно, он вовсе забудет, что он такое, и, видя вокруг действие мира,— не станет больше иметь о нем представления; пусть всем людям кажется, что этот человек живет себе на свете, а на самом деле он будет только находиться здесь и существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии, как в домашнем тепле, как в укрытии от смертного горя...

Вскоре после тюрьмы, уже на отдании лета,— когда ночи стали длиннее,— Никита, как нужно по правилу, хотел вечером запереть дверь в отхожее место, но оттуда послышался голос:

— Погоди, малый, замыкать!.. иль и отсюда добро воруют?

Никита обождал человека. Из помещения вышел отец с пустым мешком под мышкой.

— Здравствуй, Никит! — сказал сначала отец и вдруг жалобно заплакал, стесняясь слез и не утирая их ничем, чтоб не считать их существующими.— Мы думали, ты покойник давно... Значит, ты цел?

Никита обнял похудевшего, поникшего отца,— в нем тронулось сейчас сердце, отвыкшее от чувства.

Потом они пошли на пустой базар и приютились в проходе меж двух рундуков.

— А я за крупой сюда пришел, тут она дешевле,— объяснил отец.— Да вот, видишь, опоздал, базар уж разошелся... Ну, теперь переночую, а завтра куплю и отправлюсь... А ты тут что?

Никита захотел ответить отцу, однако у него ссохлось горло, и он забыл, как нужно говорить. Тогда он раскашлялся и прошептал:

— Я ничего. А Люба жива?

— В реке утопилась,— сказал отец.— Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили, стали отхаживать,— она и в больнице лежала: поправилась.

— А теперь жива? — тихо спросил Никита.

— Да пока еще не умерла,— произнес отец.— У нее кровь горлом часто идет: наверно, когда утопала, то простудилась. Она время плохое выбрала,— тут как-то погода испортилась, вода была холодная...

Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться.

— А у тебя есть место? — спросил отец.— А то ложись на мешок, а я буду на земле, я не простужусь, я старый...

— А отчего Люба утопилась? — прошептал Никита.

— У тебя горло, что ль, болит? — спросил отец.— Пройдет!.. По тебе она сильно убивалась и скучала, вот отчего... Цельный месяц по реке Потудани, по берегу, взад-вперед за сто верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо...

Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой.

— Ты ночуй, отец, один,— сказал Никита.— Я пойду на Любу погляжу.

— Ступай,— согласился отец.— Сейчас идти хорошо, прохладно. А я завтра приду, тогда поговорим...

Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном легком воздухе по темным полям.

Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зеленой краской,— сейчас ставни казались синими от темной ночи. Он прильнул лицом к оконному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель, сделанную им с отцом,— она была цела. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила, она не подошла к окну, чтобы узнать его.

Никита перелез через калитку, вошел в сени, затем в комнату,— двери были не заперты: кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров.

На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись с головой.

— Люба! — тихо позвал ее Никита.

— Что? — спросила Люба из-под одеяла.

Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни или считала стук в окно и голос Никиты сном.

Никита сел с краю на кровать.

— Люба, это я пришел! — сказал Никита.

Люба откинула одеяло со своего лица.

— Иди скорей ко мне! — попросила она своим прежним, нежным голосом и протянула руки Никите.

Люба боялась, что все это сейчас исчезнет; она схватила Никиту за руки и потянула его к себе.

Никита обнял Любу с тою силою, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души; но он скоро опомнился, и ему стало стыдно.

— Тебе не больно? — спросил Никита.

— Нет! Я не чувствую,— ответила Люба.

Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно,— он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением.

Люба попросила Никиту,— может быть, он затопит печку, ведь на дворе еще долго будет темно. Пусть огонь светит в комнате, все равно спать она больше не хочет, она станет ожидать рассвета и глядеть на Никиту.

Но в сенях больше не оказалось дров. Поэтому Никита оторвал на дворе от сарая две доски, поколол их на части и на щепки и растопил железную печь. Когда огонь прогрелся, Никита отворил печную дверцу, чтобы свет выходил наружу. Люба сошла с кровати и села на полу против Никиты, где было светло.

— Тебе ничего сейчас, не жалко со мной жить? — спросила она.

— Нет, мне ничего,— ответил Никита.— Я уже привык быть счастливым с тобой.

— Растопи печку посильней, а то я продрогла,— попросила Люба.

Она была сейчас в одной заношенной ночной рубашке, и похудевшее тело ее озябло в прохладном сумраке позднего времени.

ФРО

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание: провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика — оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город; по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания.

Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света: за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства; она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью,— она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томилась и произрастала вторая, милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела,— сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других

помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то — жена его точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжко бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!», «Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?», «Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя — машина или баня?» При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника: «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.

В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером, худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Но недавно, когда устаревший механик, по обычаю, орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо.

Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь.— Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать...

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.

Фрося вынула горшок из духового шкапа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа; позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам: женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору — долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои кроткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет,— сказала Фрося,— я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик.— Он явится: пройдет один год — и он тут будет... Скучай себе, а то что ж! Я, бывало на сутки, на двое уеду — твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!

— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося.— Нет, наверно, я тоже мещанка...

Отец успокоил ее:

— Ну, какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...

— Папа, ступай в свою комнату,— сказала Фрося.— Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна...

— Ужинать сейчас пора! — согласился отец.— А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто, либо запьянствовал или в семействе драма-шутка, мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает — все как полагается!

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь, она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.

— Но, на дерьмо сошла! —тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!», «Ту-ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-пыр: ледокол... Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори ту-ту-ру-ру, шевелился каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель!..»

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась, ради радости, вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала

скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает чтó!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете,— спросила она его,— чтó курьерский поезд номер второй, он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет,— сказал уборщик.— Сейчас поездов не ожидается, идите в вокзал, гражданка... Постоянно тут публичность разная находится, лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти...

Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина — нарядчик или бригадир.

— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси.— Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется... Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась.

— Давай лопату! — сказала она.

— Нá тебе мою,— ответил бригадир и подал женщине инструмент.— Бабы! — сказал он прочим женщинам.— Ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой...

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — подругами — и видела большую, свободную ночь, освещенную

звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения. Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтобы отдыхать и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним полюбовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одёжу они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

— Уехал — не умер, назад возвернется! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга.— А я там, в аресте заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала... Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная... А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку: «Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюродную встретила... Ну, давай платформу кончать — в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю... Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси.— Много там осталось?

— Не,— ответила тамошняя Фрося,— тут малость, поскребышки одни...

— Лезай сюда,— велела ей жена берданочного сторожа.— Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Вокруг них с шумом набирались сил паровозы для дальнего пути или, наоборот, остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.

Пришел нарядчик.

— Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там,— деньги получите,— там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой — детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались: Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом, зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса «Рио-Рита» помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом: она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

— Только недавно кончился, почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

— Ах, как жалко! — сказала Фрося.

— Вам здесь нравится? — спросил кавалер.

— Ну конечно, да! — отвечала Фрося.— Здесь так прекрасно!

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

— Фрось, а Фрось! — прошептала она.— Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут ай нет?

— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося.— Ну, может, немножко только лучше.

— Это бы ничего! — согласилась Наталья Букова.

После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот «Мой бебе», диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо.— Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

— Фро! — ответила Фрося.

— Фро? Вы не русская?

— Ну конечно, нет!

Диспетчер размышлял.

— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Не важно,— прошептала Фрося.— Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.

— Вы плачете? — испугался диспетчер.

— Немножко,— прошептала Фро.— Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна миловидная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии.

На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».

Отца не было дома. Он ушел в депо: посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармонии; потом музыка утихала, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула,— и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье,— скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к ученью, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается,— во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.

Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предме-

тов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстна, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно». Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор может,— и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом...

На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному».

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно — он так предполагал.

— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.

— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец.— Я живо.

Дочь отказалась.

— Ну колбаски поджарю!

— Нет! — сказала Фрося.

Отец ненадолго умолкал; потом опять спрашивал, но более робко:

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею...

Дочь молчала.

— А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил...

— Да отстань ты, наконец! — говорила Фрося.— Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали...

— Просился — не берут, говорят — стар, зрение неважное — объяснял отец.

Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтоб она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он.— Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку...

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкапа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородой с макаронами.

В дверь постучали, Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные, он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одёжу, ране недели не обернешься...

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок — там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две. Дали паровоз серии «Щ»: он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел,— и закрыла дверь квартиры.

— Играй! Отчего ты не играешь? — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой.

Но он отправился, наверно, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блажен-

ных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал изо всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос; он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Федор,— она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать, он ведь рано встает — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья: старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: «Обойдемся так».

Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала,— шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила; к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой, Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад, казенное место,— сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

«Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь!» — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия: теперь ему надолго хватит, что́ вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей; где продают дешевые ягоды, а где их весною морозом побило. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шёлк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец.— Как же я ее зачал от жены? Не помню!»

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок,— Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, а внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки, Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь,

что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: «За девяносто два рубля в месяц работаете?» — «Да,— говорила Фрося.— Это с вычетами». Один получатель журнала «Красная ночь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю»,— ответила Фрося. «А вы не думайте! — советовал адресат.— Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит под редакцией редколлегии, там люди умные, вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка — это что́, одиночка, антиобщественница какая-то!»

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную, текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.

Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо.

После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слушала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чая, булку с маслом

и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаз в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо; он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

— Папа!

— Ты что, дочка? — Старик спал слабо и чутко.

— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

— А вдруг — я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.

— Обождет,— сказала Фрося.— Ты ведь недолго будешь ходить... Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.

— Не буду,— обещал старик.— А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

— Тебя не касается, что я писала... У тебя деньги есть?

У отца деньги были; он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. «Мало ли что,— решил он,— может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть».

Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».

«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая.— Неужели она заболела?

— Стало быть, так,— объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дома.

Через двое суток пришел ответ «молнией»: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор».

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед

Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу.

— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали,— тебе ведь скучно все время дома сидеть...

— Скучно,— согласился старик.— Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя! С приездом!

— Спасибо, Нефед Степанович...

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала,— говорила Фрося.— Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умираешь,— отвечал муж.— Я верил твоей телеграмме недолго...

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился,— грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру...

Федор поцеловал ее сбоку в лицо.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня,— сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность,— улыбнулся Федор; он любил ее высокие, ученые слова. Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «Кто сказал «а», должен говорить «б», «Камень, положенный во главу угла», «Если это так, а это именно так» — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы «а» обязательно говорить «б», а если не надо и я не хочу?»

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что́ есть и что́ пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку,— поэтому мечта́ древнего мира о небе теперь может быть исполнена,— и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека... Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дома ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа, у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили не разлучаясь уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно... Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор на следующий день.

— Скоро, скоро,— отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно, Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его.

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик.— Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто,— сказал отец,— она была открыта... Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале, что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.

— А что! Я там привык,— говорил отец.— Я думал — мешать вам буду...

— Ну уж ладно, ханжа! А где Федор, когда он явится?..

Отец затруднился.

— Он не явится,— сказал старик,— он уехал...

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китай проберусь — неизвестно.

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего,— ответил отец.— Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю,— произнес старик.— Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь.

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

— Мальчик! — позвала она.— Иди ко мне в гости.

— Сейчас,— ответил гармонист.

Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла одна среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

— Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

ТРЕТИЙ СЫН

В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: «Мать умерла приезжай отец».

Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу,— может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой.

И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание; даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.

После отправления телеграмм старый отец вернулся домой; он сел на табуретку около длинного стола, у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке, иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе,— то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, нетеплое, как звезда,— и старик ждал сыновей.

Первый, старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные пять сыновей собрались в течение двух следующих суток.

Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, шестилетней девочкой, никогда не видавшей своего деда.

Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими,— пока не умерла.

Громадные мужчины — в возрасте от двадцати до сорока лет — безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было шесть

человек, седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой, незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами.

Сыновья молча плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками — командирами кораблей, один — московским артистом, один, у которого была дочка,— физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро и седьмой отец бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда — через тысячи верст — находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильней от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала, как равнодушная чужая старуха.

Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе,— весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание.

Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома, а уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтоб они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв, при свете восковых свечей над ее посмертным лицом; она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец, привел под вечер одного человека — тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадило на цепочке. Он быстро уставил и возжег свечи

вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и с ходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, пел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился,— это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении.

Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверью. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений,— для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски,— но ему не дали оттуда ответа.

Вечером отец постелил шесть постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где сорок лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала, одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой.

Старик постоял над ней в ночном сумраке; выпавший снег на улице собирал скудный рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: «Отдыхай теперь». Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет — там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор.

Девочка от шума начала ворочаться, может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла — от страха перед ночью и мертвой старухой.

Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности го-

ворил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья-моряки рассказывали случаи в иностранных портах и затем хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями «голова», «ноги», чтобы стелить одеяло правильно и грязным, потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили все вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданью. Уже много лет они не съезжались все вместе и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул, тогда они на минуту притихли, но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса: он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал, что ему трудно начать ни с того, ни с сего, ни под слово. «Ну, закройте меня чем-нибудь»,— попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтобы не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали — так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала:

— Дедушка! А дедушка! Ты спишь?

— Нет, я не сплю, я ничего,— сказал старик и робко покашлял.

Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу: оно было мокрое.

— Ты что плачешь? — шепотом спросил старик.

— Мне бабушку жалко,— сказала внучка.— Все живут, смеются, а она одна умерла.

Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно, она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо, спросила:

— А почему ты тоже плачешь? Я перестала.

Дед погладил ей головку и шепотом ответил:

— Так... Я не плачу, у меня пот идет.

Девочка сидела на кровати около изголовья старика.

— Ты по старухе скучаешь? — говорила она.— Лучше не

плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать.

— Я не буду,— тихо отвечал старик.

В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого-физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука: он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать.

Вскоре оттуда открылась дверь и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому.

Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания.

Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и сам упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука,— закричала только его дочь.

Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго.

Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед; он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.

В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ

(МАШИНИСТ МАЛЬЦЕВ)

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был, вместо Драбанова, определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегуще-

го паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу,— даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станется после нас, куда он полетел.

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил,— сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

— А я сам хочу,— улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда,— лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно; Алек-

сандр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав, и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров, и ниже не сдавал, наоборот — на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стеккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могла идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости

не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед, в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния,— сказал он.— Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была,— произнес кочегар.

— Я не видел,— сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел! — удивился кочегар.— Я думал — котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали,— объяснил кочегар.— Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали,— они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещая машущий, дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давало расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко — нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я.— Мы петарды давим! — и протянул руки к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев!— сказал я.— Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Не сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя... Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травою улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя,— ответил я.— Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все — вон жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без,— ответил Мальцев.— Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри,— решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал,— что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии,— сказал я следователю.— Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю,— произнес следователь,— вы говорите точно. Это все возможно, но не достоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву,— рассуждал следователь.— Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнию Мальцев увидеть не мог,— сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии.

Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно,— улыбнулся следователь.— Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит,— подтвердил я.

— Был ли он слепым,— продолжал следователь,— когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был,— подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?

— Не знаю,— сказал я.

— Вот видите,— говорил следователь.— Взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

— Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было,— сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного,— в медленном размышлении сказал он.— Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич,— сказал я ему,— почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

— А я видел,— ответил он.— Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины — я все видел...

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу...

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал... Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал, я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю — о том, что после того, как он ослеп, он

еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

— А я ему говорил,— ответил Мальцев.

— А он что?

— «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение — было оно или нет — я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове; это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло,— это действие».

— Он прав,— сказал я.

— Прав, я сам знаю,— согласился машинист.— И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?

— В тюрьме сидеть будешь,— сообщил я ему.

4

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом — осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по Мальцеву.

Зимою я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них, в университете, есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное и еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга,— сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан,— может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас.— Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой...

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла,— говорил мне следователь.— Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света — это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении... Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зрение,— высказал я надежду,— как было тогда, после паровоза...

Следователь подумал.

— Едва ли... Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват... Зачем я послушался вас и, как глупарь, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали,— утешил я следователя.— Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья,— сказал следователь.— Это слишком дорогая цена.

— Вы следователь,— объяснил я ему.— Вы должны знать про человека все, и даже то, чего он сам про себя не знает...

— Я вас понимаю, вы правы,— тихо произнес следователь.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь... Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже,— сознался следователь.— Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя...

— Спасибо, но я занят: я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно

и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил — в том что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе,— я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

5

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала; детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился.

— Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь,— дай реверс подержать: я крутить его не буду.

— Крутить его ты не будешь! — подтвердил я.— Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали подобным же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать хода и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием...

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет,— сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет! — сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ:

— Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.

Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.

ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ

Лейтенанта германского военно-воздушного флота Эриха Зуммера днем вызвали в штаб части и предложили приготовиться к дальнему ночному перелету на боевой машине; задание — строго секретное, маршрут перелета и пункт его окончания Зуммер получит у командира своего отряда перед стартом.

Зуммер вышел из штаба на улицу южнобаварской деревни. Он улыбнулся, вспомнив сугубо серьезное, глубоко задумчивое выражение лица начальника штаба части, точно ему действительно было над чем задумываться, точно он не был всего лишь техническим исполнителем чужой воли, простым канцеляристом для чтения получаемых бумаг.

Зуммер улыбался так же, как и грустил,— безмолвно и не меняясь в лице; он привык молчать, и впечатления жизни, естественно вызывающие в человеке смех, печаль или живое искреннее действие, теперь в нем все более превращались во внутренние сдавленные переживания, не заметные ни для кого, безопасные и бесполезные. Ум и сердце молодого летчика попрежнему были способны воодушевляться людьми, событиями, полетом машин, он мог любить друзей и возлюбленных и ожесточаться в ненависти против врагов и тиранов, но эти свои обычные способности Эрих Зуммер обнаруживал теперь лишь очень скромно либо вовсе не обнаруживал их,— что самое лучшее, потому что открытые чувства и мысли человека становились для него все более смертельно опасными.

Даже любить для Зуммера стало невозможно. Год назад он жил в казарме под Лейпцигом, и ему понравилась Клара Шлегель, девушка, служившая на кухне в военной столовой, и он приблизился к ней, подружился с ее семейством — отцом и матерью — и ходил в ее дом по вечерам, чтобы беседовать и гулять с этой девушкой, считая ее своей невестой и желая приучить ее к себе, чтобы она затем тоже полюбила его. Может быть, для самой любви ничего и не нужно, кроме двух любящих людей, но каждому из них необходимо удостоверить перед другим свою ценность, чтобы укрепиться в его сердце, и для этого привлекаются в свидетели, в доказательство любые прекрасные факты из постороннего мира, самого по себе неинтересного для сосредоточенного чувства любящих.

Видимо, чтобы доказать свой ум и оригинальность, Эрих сказал однажды Кларе о русских, испанцах и китайцах. «Они теперь самые лучшие, самые одухотворенные люди на всей земле»,— произнес он. Клара проницательно посмотрела на Эриха и затем ответила ему, что офицеру с такими мыслями неуместно служить в германской армии и она сама позаботится, чтобы Эрих больше не работал в военной авиации.

«И вам будет безопасней, и мне спокойней,— улыбнулась Клара и добавила: — Если я выйду за вас замуж когда-нибудь».

Зуммер понял, что Клара сообщит о нем в тайную полицию, и стал ждать ареста. Он более не посещал свою невесту и не видел ее — не из боязни, а из грустного равнодушия, заполнившего Эриха, хотя жалость и приглушенная, опечаленная нежность к оставленной девушке сохранились у него. Но подобное, похожее чувство Эрих испытывал ко всем людям, которые ему были близкими или милыми когда-то и которых он утратил из виду; их голоса таились в его сердце и воспоминании и глухо, почти безмолвно шептали ему о себе, точно жалуясь на свое сиротство без него.

Арестован Эрих Зуммер не был — наверно, потому, что в тайной полиции тоже был непорядок и там руки не дошли до него или схватили кого-нибудь другого вместо него: им же все равно, была бы лишь деятельность. В благородство или в остаток человечности Клары Шлегель Эрих верил мало. Ей не от кого было научиться и привыкнуть к этим вещам,— ей, захваченной фашизмом в тринадцать лет от роду,— а он не успел ее ничему научить, потому что только любил ее и считал это достаточным. Любовь же его была не чем другим, как только заботой о своей пользе и о своей радости, о своем наслаждении прекрасным существом, а не работой для спасения женщины-ребенка, наивной и неопытной и уже теснимой жестокой враждебною силой в грустную долю постоянного робкого напряжения, где жалкий ум ее будет способен только молчать и слушаться, но не думать, и где ее сердце будет биться, чтобы происходило кровообращение в теле, но не сможет превратиться в душу...

Что же он сделал, Эрих Зуммер, ради облегчения будущей участи Клары Шлегель? Он рассердился на свою невесту и оставил ее; ему не понравилось, что она хочет сообщить о его антифашистских убеждениях в тайную полицию; он отказал ей в своей дружбе, обрек ее на одиночество и беспомощность, тогда как можно было бы приблизить к себе ее сердце столь тесно, что оно всю жизнь бы согревалось дыханием Эриха и никакие холодные, гибельные ветры не остудили бы его. Ее никто не взял за руку, чтобы увести с собою в новый будущий мир людей, существующий в Германии уже теперь в скрытых сердцах.

Но сейчас уже поздно заботиться о Кларе Шлегель. Прошел почти год, как Эрих Зуммер ее не видел, и восемь месяцев миновало со времени его отъезда из-под Лейпцига сюда, в Южную Баварию. И сегодня после захода солнца он улетит через Францию в Испанию, чтобы уничтожать своих друзей, чтобы громить народ бедняков, надеющийся, как сказал их земляк Дон-Кихот, на свет в будущем, а сейчас желающий лишь терпимой судьбы на своей земле.

Зуммер возвратился домой. Он снимал комнату в жилище крестьянина. В деревне, кроме Зуммера, жили еще человек двадцать офицеров из авиационных и танковых частей, расположенных поблизости. Крестьяне относились к военным терпеливо, но работали они теперь менее трудолюбиво и тщательно и жили как придется, лишь бы день прожить. Зуммер чувствовал тайное недовольство крестьян появлением военных частей в окрестности деревни. Огромная толпа вооруженных бездельников, занявшая пахотные поля под стоянки машин и постройку казарм, офицеры, поселившиеся жить в родных, отцовских домах земледельцев, гром и гул испытываемых машин в дотоле тихих, рожающих полях — все это угнетало крестьян, и они жили среди родной земли, как на чужбине, точно готовясь вот-вот переселиться отсюда навсегда или умереть.

До вечера нужно было бы выспаться, но Эрих решил не спать, ему не хотелось тратить на сон свое последнее прощальное время на родине. Он сел бриться к настольному зеркалу и увидел свое лицо: большой правильный нос, серые угрюмые глаза, светлые волосы с нехорошим рыжеватым оттенком, а нежная, слегка обветренная кожа усеяна мелкими коричневыми точками — Эрих был конопатый. В детстве поэтому Эриха дразнили «засиженным воробьями» и «дерьмом обрызганным».

«А ведь я похож на арийца,— подумал Зуммер.— Вот еще проклятое дело, надо бы нарочно изувечить себя, чтобы быть непохожим. Да и арийцев ведь нету на самом деле,— просто объявлено, что они есть, а кто скажет нет, того — железом по голове и в тюрьму. По такому способу можно заставить поверить и в гномов, и в кобольдов, и еще в кое-что невидимое, но однако злодейски действующее».

По стенам комнаты, которую снимал Зуммер, были развешаны фотографии и старые дагерротипы предков и родственников хозяина этого крестьянского дома, целые умершие поколения. Они были счастливее нынешних людей. Но почему?

Побрившись, Зуммер быстро сложил свои вещи в маленький, но емкий чемодан, вытер и проверил револьвер, положил его на виду и был уже готов к отъезду на аэродром. Прощающимися глазами он осмотрел комнату, в которой жил и которую едва ли когда посетит еще. Мучимый тоскующей мыслью, Эрих лег на кровать, чтобы отдохнуть, задуматься еще более и принять какое-либо решение, утешающее страдание.

Поколение крестьян, изображенных на фотографиях, смотрело на него со стены у кровати. Почему они были счастливее его?

«Я не понял Клары и оставил ее одну среди врагов. Я пришел в раздражение от одной ее случайной глупости, а где она могла научиться уму и чести?.. Ты и любить по-настоящему не можешь,— любят ведь только тогда, когда человек прощает любимому все, даже смерть от его руки, а ты не вытерпел, ты обиделся, ты подлец, ты ничего не понял, ты все превратил в свое обиженное настроение и ты сегодня улетаешь в Испанию бить народ тружеников, чтобы от него остались одни сироты и чтобы сирот затем превратить в рабов...»

Пустынный свет безмолвного летнего дня озарил окно. Зуммер подошел к стеклу и увидел полевую, рабочую дорогу, уходящую на дальние пашни,— простую дорогу с колеями от колес, проложенную по мякоти земли. Крестьянин поехал по ней из деревни в отдаление; Эрих ждал, когда он обернется, но крестьянин не обернулся и скоро скрылся из вида. Две ракиты росли у той дороги, на выходе ее из деревни в поле; теплый ветер медленно шевелил их листья, и хлеб задумчиво рос по краям дороги. Это было все близко к людям и родственно им, но столь чуждо, столь уединенно в собственной, глубокой жизни, что лишь общее солнце соединяло судьбу людей и растений. Рожь и деревья живут серьезно и по своей необходимости, и им нет дела до того, что люди употребляют их плоды и их тело на то, чтобы жить за чужой, за их счет. Хлебным зернам нет дела до этого потому, что когда их хотят уничтожить, они уже созрели и почти мертвы, они готовы пасть в землю, чтобы, разродившись, умереть там, и оттого действия людей для них не заметны.

— Но я ведь не мертв еще,— понимал Эрих Зуммер.— Мне двадцать восемь лет. И я хочу жить, потому что я умираю и потому что меня убивают.

Он знал, как обессилел его ум в молчании, в скрытности, в сдержанности, как оробело его сердце в скромности и страхе, неспособное утешить даже одного человека, например — Клару Шлегель, как одновременно с непосредственным чувством и ясной, истинной мыслью у него возникает торможение, подавление этого чувства и мысли, то покорное дрожание смирившейся согбенной жизни, которая даже свои бедствия ощущает как благо, как свою единственно возможную судьбу, и жизнь проходит в суете, но без действий, в заботе, но в бессмысленности, в ожидании окончательного смертельного удара — и в беззащитности.

Так что же это? Отчего в меня, в некоего Эриха Зуммера, весь мир посылает свои сигналы и природа сеет свои семена, а из меня ничего не происходит, не возрастает обратно в ответ, в отплату и в благодарность, точно я та нерожающая, мертвая

земля, в которой посеянные семена, не оживая в зачатье, лишь распадаются в прах и отравляют почву ядом погибшей, неистраченной силы, чтобы земля стала еще более бесплодной, чтобы она окаменела. Но трудно понять и правильно направить свою жизнь тому, кто не умирал ни разу и не был близок к смерти.

— Ничего, я и живу как умираю, поэтому я немного начинаю понимать, как мне следует теперь жить,— размышлял Эрих.

Он вспомнил сугубо секретный приказ о ночном дальнем перелете и улыбнулся глупости этих секретов. О том, что военные аэропланы посылаются отсюда в Испанию, знали все окрестные пастухи, их помощники и весь германский народ. Очевидное всегда делается по секрету, а явно сообщаются лишь никому не нужные, не интересные пустяки.

Эрих снова лег на кровать и забылся до вечера.

Вечером за ним прислали из штаба автомобиль, и он поехал на аэродром. До аэродрома было всего километров десять, по гудрону новой снивелированной трассы. Эрих ехал и удивлялся: где росло раньше дерево, оно было теперь срублено, где ничего раньше не росло, теперь кое-что появилось: не то трава, не то темная каменная одежда, хранящая землю от размывания. И он ехал по знакомым местам, но поражался, как чужестранец: ему было понятно, почему здесь срублено дерево, а там положен дерн для укрепления откосов, но он хотел бы здесь, в деревенских полях, видеть еще старый, смирный мир — ночные пашни, древние деревья у заросших канав, свет в окне деревенского жилища, где крестьянская семья сидит за столом и ужинает из общей чашки,— тот старый мир, возвращение в который означало бы по сравнению с фашизмом освобождение.

Зуммер велел остановить машину и вышел пеший на край дороги. Было уже темно, и огни нигде не светились из экономии керосина и электричества, лишь тревожный и вопящий голос пел где-то в отдалении, постоянный и волнообразный, похожий, что он поет из каменных недр природы, и поет оттуда вечно, так что, по привычке, его можно не слышать и жить, как в тишине. Это скулили на ближайшем опытном авиационном заводе испытуемые моторы и им подвывала аэродинамическая труба — там готовили новые конструкции истребителей и бомбардировщиков. Надо всем миром поют сейчас эти трубы и воют новые моторы на испытательных стендах. Скоро и бомбы на землю будут падать столь часто и постоянно, что люди привыкнут к ним, перестанут их слышать, и жизнь им снова покажется тихой, а смерть от осколка бомбы обычной и естественной.

Зуммер приказал шоферу ехать дальше. Километрах в двух от деревни, вправо от дороги, был расположен концентрацион-

ный лагерь — четыре длинных барака, лишь на метр возвышавшиеся над землей; стены бараков были сложены из речного мягкого камня, и ради экономии строительных материалов их всего клали в метр высоты, а остальным своим жилым объемом бараки уходили в грунт, так что они были, в сущности, большими землянками. Из сбережения железа никакой колючей проволоки вокруг концлагеря не имелось, и охрана лагеря состояла — про это слышал Эрих раньше — из старых прусских стражников и штурмовиков.

Заключенные в этом лагере работали на тяжелых земляных работах; они строили земляные насыпи для новых автомобильных дорог и планировали посадочные площадки для аэропланов. Эрих много раз видел, как работали арестованные: они рыли лопатами землю, и движения их походили на движения людей, живущих в сновидении. Глаза одних, побледневшие и выцветшие от постоянной тоски, испуганно и робко смотрели на постороннего, свободного человека, у других в глазах светилась жизненная ненависть к свободным, как своим врагам,— почти счастливое чувство.

Однако не за участие ли в улучшении жизни людей безвестные товарищи Эриха Зуммера томятся в этом тюремном лагере? Именно так, но тогда, следовательно, и само заточение людей, врагов фашизма, есть доказательство существования свободы в сердце и в мысли человека, и невольник представляет собою безмолвное обещание общего освобождения. Поэтому нынешняя неволя германского народа, может быть, есть лишь подготовка его близкой, будущей свободы.

— И мне бы надо быть в тюрьме,— желал Зуммер.— А я офицер фашистской армии.

На аэродроме стоял готовый к вылету отряд двухместных истребителей из пяти машин.

Отпив кофе со сливками, летчики и штурманы переоделись в летную одежду, снарядились и выстроились фронтом для получения инструкций от командования. Выслушав инструкцию, летчики пошли к машинам. Инструкция была проста и заранее всем известна: лететь через Францию в Испанию, держась приблизительно высоты потолка, садиться в Испании по указанию флагманской машины, в случае ж если какая-либо машина по непреодолимой причине вынуждена будет отделиться от группы машин, летчику следует достигнуть зоны генерала Франко самостоятельно, пользуясь расчетами своего штурмана.

На машину Зуммера штурманом был назначен Фридрих Кениг. Он должен не только сопровождать машину до Испании, но и остаться в экипаже вместе с Зуммером в качестве боевого штурмана, на все время войны. Зуммер знал Кенига около года: он летал с ним в тренировочных полетах и участвовал на маневрах. Как штурман Кениг был обыкновенный работник,

даже плохой,— однажды при дневном, безоблачном небе на высоте полутора тысяч метров он перепутал ориентиры и дал Зуммеру ошибочный курс. Но зато в чистых, младенческих, больших глазах Кенига постоянно горел энергичный свет искренней убежденности в истине фашизма, свет веры, а также проницательности и подозрительности, и он жил в беспричинной, но четко ощущаемой им яростной радости своего существования, непрерывно готовый к бою и восторгу.

Зуммер, наблюдая Кенига, чувствовал иногда содрогание — не оттого, что штурман верил в фашизм (вера в заблуждение постепенно обессиливает и умерщвляет верующего человека, так что пусть он верует), но оттого, что идиотизм его веры, чувственная, счастливая преданность рабству были в нем словно прирожденными или естественными,— Зуммер тогда содрогался.

Он думал со страхом и грустью, что во многих других людях существует такой же инстинктивный, радостный идиотизм, как у Фридриха Кенига. Зуммер вспомнил, что при прощании с генералом специального авиационного соединения, напутствовавшего летчиков, у Кенига стояли слезы в глазах, слезы радостной преданности и полной готовности обязательно умереть за этого генерала и за кого попало из начальства, которые все вместе составляли для штурмана отчизну.

— И ты умрешь за отчизну,— сказал про себя Эрих Зуммер, усевшись на свое место пилота,— но умрешь не за ту отчизну, которую ты себе выдумал, а за мою, за всемирную отчизну, за всю разноцветную и голубую землю, которую ты хочешь покрыть коричневой глиной могил.

Машины одна за другой пошли в воздух и после короткого построения легли на курс вслед за флагманом. С привычным, но никогда не надоедающим наслаждением чувствовал Зуммер точную напряженную работу мотора. Эрих, прежде, после окончания Мюнхенского политехникума, был механиком и затем конструктором в опытных авиамастерских. Он первый построил взрывобезопасные бензиновые баки для военных аэропланов. Эти баки состояли из системы трубок, заполняемых бензином, и походили на водяной автомобильный радиатор; каждая трубка имела два специальных автоматических клапана, которые в момент порчи трубки перекрывали ее и этим отделяли трубку от всей системы. Такой способ был необходим на случай, если в бак попадает пуля противника, тогда 909-й бензин вытечет лишь из одной трубки, и даже если топливо загорится, то едва ли по малому своему количеству подожжет всю машину. Кроме того, свой бензиновый бак Зуммер предлагал помещать в машине таким образом, чтобы система трубок продувалась потоком воздуха,— этим достигалось столь сильное охлаждение горючего, что поджечь его любой пулей или даже непосредственно пламенем было очень затруднительно. И еще Зуммер предложил сделать несколько улучшений в

моторной части аэроплана, не думая о пользе работы, но находя в ней утешение от своей тоски, точно занимаясь игрой, чтобы отвлечься от настоящей действительности.

Но спустя время это занятие творческой техникой ему надоело — нужно было или переменить одну игру на другую (например, начать улучшение автомобилей или радиоприемников), если хочешь чем бы то ни было утомить и растратить свою жизнь либо, наоборот, начать жизнь всерьез и без всякой игры. И Зуммер больше не стал заниматься улучшением аэропланных моторов, потому что ни хорошие, ни плохие моторы сами по себе не помогают правильно существовать человеку, если в человеке нет священной сущности или эта сущность убита или искалечена. Может быть, эта сущность — наша душа, неизвестно в точности, что такое, но известно, что без нее общая жизнь человечества не состоится, и это подтверждается тем, что мы страдаем...

Машина шла высоко над Францией, Фридрих Кениг сидел позади Зуммера, касаясь ручки дублированного управления. Тихий, скромный свет горел над доской приборов против Зуммера, и циферблаты приборов глядели оттуда на летчика с разным выражением своих лиц: одни нахмурясь, другие улыбаясь, третьи важно шевеля усами стрелок, будто они нарядились в стариков. Эрих улыбнулся на свои циферблаты; они показались ему детскими рожицами, потомством, которое он нарожал от верной, любимой жены.

Летчик поглядел вверх на небо Франции — какое оно было здесь, над чужой, но милой и еще свободной страной. Вечные звезды сияли на небе, подобно недостижимому утешению. Но если это утешение для нас недоступно, тем более, следовательно, земля под небом должна быть для человека прекрасной и согретой нашим дыханием, потому что люди на ней обречены жить безвыходно.

— Я его убью,— решил Зуммер участь Кенига.— Он и они хотят нас искалечить, унизить до своего счастливого идиотизма, чтобы мы больше не понимали звезд и не чувствовали друг друга, а это все равно что нас убить. Это — хуже: это ребенок с выколотыми глазами. А мы хотим подняться над самими собой, мы хотим приобрести то, чего не имеет сейчас и самый лучший человек на земле, потому что это для нас самое необходимое. Но чтобы приобрести это необходимое, следует перестать быть привычным к самому себе, постоянным, неподвижным, смирившимся человеком... Кениг вон ни в чем не чувствует нужды, и он летит сейчас со мной на завоевание мира, чтобы навсегда лишить земли и свободы тех, кто в них нуждается. Сам же он не нуждается ни в свободе, ни в душе, это ему не нужно, и поэтому он хочет уничтожить то, что ему не нужно. Ему вполне достаточно тюрьмы и могилы, но он оставил туда свободную дорогу только для нас. Он доволен, он уверен, что

добыл для себя мировую истину, и теперь питается ею себе на пользу. А я бедняк, я печальный человек; я полон нужды и тоски по свободным людям. В этом наша разница с ним, и поэтому я убью Фридриха Кенига... Мне почему-то кажется, что я прав, а Кениг неверно думает, что он прав, но я уже не могу сдержать свою жизнь и убью его. Пусть наша общая мысль и горе восстанут на их веру и одержимость.

Время ушло за полночь. Флагман вел сейчас группу машин с обычной крейсерской скоростью и на небольшой сравнительно высоте: он не желал изнашивать моторы форсировкой, экономил горючее и не опасался французов.

Французская земля лежала во тьме под машинами. Там, в деревнях и городах, в хижинах среди пшеницы и виноградников, спал сейчас уставший за день народ.

Зуммер долго вглядывался в далекую землю, стараясь различить на ней какой-нибудь свет, доказывающий существование человека. Наблюдению, должно быть, мешала ночная пелена тумана, поднявшаяся с возделанных полей, надышанная влажными устами культурных растений. Но вот Зуммер заметил слабо светящееся пятно, еле движущееся по земле поперек курса самолета. Что это может быть? Зуммер догадался: это прожектор французского курьерского паровоза, идущего либо на Ниццу, либо к Пиренеям.

На доске приборов вспыхнула маленькая красная лампочка с надписью «штурман». Зуммер склонился немного вправо, где висел микрофон, соединяющий его со штурманом.

— Мы подходим к испанской границе,— сказал ему Фридрих Кениг.— Под нами впереди, на пересечении нашего курса, идет французский ночной экспресс к Средиземному морю. Если бы у нас были бомбы, мы бы могли сейчас немного снизиться,— смеясь, шутил Кениг,— и испытать французский паровоз на запас его прочности и на пробой...

— Я военный летчик, а не авантюрист, — ответил Кенигу Зуммер.

— А никто бы не узнал,— говорил Кениг в микрофон.— У французских поездов хорошие скорости, нужно только сбить паровоз, а состав потом сам сокрушит себя. И никто бы не узнал, нельзя было бы доказать, чей бомбил самолет — решили бы, что красный испанский или итальянский... а потом похоронили бы пассажиров и забыли...

Зуммер помолчал и ответил:

— Красные испанцы воюют только со своими врагами и на своей земле... А итальянцы, они — наши союзники, но я передам нашему командованию, что вы их считаете способными на бандитизм, а меня подговаривали напасть на французский экспресс...

Кениг умолк. Зуммер улыбнулся и сказал в микрофон:

— Слушайте, Кениг... А ведь мы, если на бреющем полете

ударить изо всех наших трубок, мы можем перебить паровозную бригаду, повредить паровоз, и дальше поезд пойдет вслепую на свою смерть...

— Конечно, можно,— ободрился Кениг,— хорошо бы попробовать.

«Вот человек,— подумал Зуммер.— Нет, мне пора быть ангелом, человеком надоело, ничего не выходит».

Впереди от Зуммера, непоколебимо сохраняя дистанцию, шли четыре машины отряда, и гул мотора Зуммера сливался с ревом моторов всей группы машин, и это ровное, нерушимое пение походило на безмолвие, отчего летчика клонило в сон и спокойствие. Лишь патрубки моторов, извергая напряженное, рвущееся пламя, освещали на мгновение блестящие туловища мчащихся тяжелых птиц.

«Скоро Испания,— вспомнил Эрих Зуммер.— Мне пора». Он быстро вынул револьвер из кобуры и, полуобернувшись назад к штурману, почти не видя его, всадил в чужое тело пять пуль одной струею. Фридрих Кениг поник и привалился вправо к борту мертвой головой.

Флагманская машина стала набирать высоту. Пиренеи были покрыты мощным туманом; сверху, под звездами, туман казался черным: он собрался сюда на ночь из долин Франции и Каталонии, с теплых вод Средиземного моря и Атлантики.

Зуммер не последовал за флагманом; он шел на прежней высоте и сбавил обороты мотора, чтобы отстать. Выждав немного, Зуммер дал мотору максимальные обороты, затем нацелился своей машиной на удаляющуюся группу фашистских самолетов и помчался им вослед, быстро нагоняя их.

Подошедши к группе самолетов снизу на близкую дистанцию и по-прежнему форсируя мотор, Зуммер, находясь уже под флагманом, резко задрал машину вверх и одновременно взял гашетку пулеметов. Из передней кромки плоскостей засветилось пульсирующее пламя пулеметных трубок, машина словно украсилась в огни иллюминации. Пули секущим потоком ударили по головному самолету флагмана — от винта до хвоста,— потому что Зуммер не отдавал руля высоты, пока его машина, поворачиваясь вокруг своей поперечной оси, не легла навзничь. В течение, по крайней мере, половины фигуры, сделанной Зуммером, его пулеметы вели снизу вспарывающую борозду вдоль всего туловища флагманского самолета, а также громили его плоскости и рулевое устройство. Перевернувшись вниз головой, Зуммер выключил пулеметы и ушел по горизонтали в обратную сторону от прежнего курса.

Удалившись, Зуммер сделал вираж, выправил машину и снова пошел вслед своему отряду. Эрих заметил, что машина флагмана на мгновение приостановилась в воздухе, свободно вывесилась в нем и затем вертикально, набирая ускорение, пошла вниз на камни Пиренеев, темная и умолкшая насмерть.

Остальные три машины в воздухе обтекли своего флагмана и продолжали свой путь на сбавленной скорости, точно в размышлении, медленно выстраиваясь одна за другой. Зуммер погнался за ними, решив взять их пулеметами, с хвоста. Но штурман задней машины начал бить по Зуммеру со своего места из турельного пулемета. И вдруг он перестал стрелять, потеряв уверенность, очевидно, что он делает правильно, расстреливая немецкую машину и наблюдая, как напрямую, открыто, не защищаясь, его догоняет своя машина. «И Зуммер ли сбил машину флагмана? Может быть, это ошибка, и флагман сокрушен испанской машиной?» — предполагал хвостовой штурман, бездействуя и следя за Зуммером.

Приблизившись и взяв немного высоты, Эрих Зуммер слегка опустил нос машины, а потом вновь тронул гашетку и начал рассекать изо всех трубок своих пулеметов задний самолет отряда. Винт на фашистской машине с разгона стал вмертвую, и, колебнувшись в неустойчивости, машина беспомощно завалилась к земле рыть себе могилу. Но передняя машина группы, занявшая место флагмана, перешла с крейсерской на максимальную скорость и глубоким виражом заходила навстречу Зуммеру, становясь в атакующее положение. Зуммер, не прекращая огня, дал весь газ в мотор, поставил наиболее выгодное зажигание и пошел точным прямым курсом в лоб противника, желая уничтожить его своим пулеметным огнем и добить ударом винта в винт, тело в тело, взять врага в таран. Противник Эриха, не успев занять выгодной боевой позиции, понял маневр Зуммера и стал резко набирать высоту. Он решил, вероятно, поразить Зуммера сверху. Однако, запрокинув машину, Зуммер очутился в хвосте противника и неотступно последовал за ним.

Зуммер лучше владел тяговой работой мотора, чем его противник, поэтому Эрих догонял противника, идущего на машине той же серии. Ведя огонь и преследование, Зуммер вспомнил про последний, живой самолет, который еще может его ударить. Он поискал его глазами в небе и увидел темный силуэт машины и сверкание огня из патрубков ее мотора далеко в стороне. Машина ушла из боя в бегство. «Жаль,— подумал Эрих.— Темно, полночь, фашисты уже близко, не догоню».

Резкий свет, как безмолвный взрыв, вспыхнул впереди Зуммера, и летчик зажмурился: «Я горю? Нет»,— Эрих отпустил гашетку, потянул ручку управления, сделал крутой виток петли, вырываясь из гибели, пошел обратным курсом и опомнился. Машина противника, вращаясь и скручивая собственное пламя, бьющее из ее корпуса, уходила под ним вниз, чтобы вонзиться в землю или раздробиться о скалу. «Кончено»,— сказал Эрих и вздохнул с удовлетворением, как после выполненной мучительной работы. Он развернул машину и повел ее в Испанию. Небо теперь было пусто вокруг него.

По ту сторону Пиренеев лежал туман, Зуммер, сберегая горючее, не стал обходить его сверху, а вошел во влажную тьму и пошел сквозь нее прямым курсом. Он летел сейчас на уменьшенной скорости и рассчитывал свой путь, чтобы посадить машину на республиканскую землю. Можно было бы вскоре пойти на снижение, но по соображению летчика под ним находились предгорья Пиренеев, а туман, наверное, стлался до самой поверхности земли, стеснив тьму ночи в густой мрак.

Зуммер оглянулся на покойного штурмана; тот молчал, хотя еще недавно он был уверен в завоевании всего мира. Пусть спят спокойно и вечно все завоеватели мира — они жизнь хотели превратить в игру и в этой игре выиграть; они предполагали в своем жалком сознании, что действительность — лишь шутка, и у них недостало ни скромности, ни благородства, ни привязанности к людям,— так пусть же они спят мертвыми.

Зуммер увидел слабый свет. Он вышел туда, где светился свет, и увидел море, занимающееся рассветом будущего дня, первоначальной зарею нового времени. Зуммер повернул машину. Он понял, что вылетел в Средиземное море и миновал Каталонию.

Летчик пошел обратно к берегу земли. Клочья тумана, разрываемые винтом, проносились под машиной. Зуммер дал мотору полное, предельное число оборотов, и машина понесла его вперед с такою покорной и радостной мощью, точно Эрих летел в свое давно заслуженное, близкое, ожидающее его счастье.

Зуммер достиг земли и полетел над нею. Если море уже светилось перед рассветом, то здесь, над темными пашнями, было еще глухо и сумрачно, здесь шла ночь и продолжался сон народа, животных и растений...

Пролетев еще немного, Зуммер пошел на посадку. Туман действительно стлался до самой земли, словно рождался из нее, и Зуммер долго летел у поверхности почвы, почти бежал по ней, рискуя вонзиться либо в гору, либо в хижину земледельца или кочующего пастуха. Пролетев километра два, Зуммер повернул обратно и посадил машину на безвестное поле, осторожно притерев ее к неровной земле.

Было еще совсем темно и сумрачно в ночном тумане. Зуммер потушил мотор и свет над доской приборов, положил револьвер себе на колени и задремал до рассвета.

Очнувшись от сна, он услышал отдаленный гул орудий. Летчик вышел из машины и оглядел местную землю. Уже наступило утро, и низовой туман, снедаемый светом солнца, свертывался, подымался немного вверх и рассеивался; тихий свет уничтожал туман, как его уничтожает вихрь, и обнажал простую непокрытую землю. Это был картофельный огород, через который пролегала дорога, взрытая тяжелыми повозками. Ботва картофеля слабо развилась от засухи, и много картофельных кустов было преждевременно вырвано из почвы: очевидно, лю-

ди выбирали недозревшую картошку, чтобы кормиться. Зуммер направился по дороге, желая встретить кого-нибудь или разглядеть какой-либо признак, чтобы узнать, чья это земля — республиканская или фашистская, и не заблудился ли он.

Пока Зуммер шел, утро распространилось повсюду, и земля стала далеко видна. К северу на горизонте были горы, к югу, километров за пять отсюда, лежали мягкие возвышенности, и оттуда шел волнообразный постоянный гул работающей артиллерии, точно там было обычное промышленное предприятие.

Картофельное поле сменилось плантацией сахарной свеклы, а в стороне от дороги, среди зелени свеклы, Зуммер увидел бедный крестьянский дом, сложенный из известкового камня. Деревни поблизости не было видно, и в одиноком известковом доме жил, наверно, сторож этой плантации или ночевали крестьяне в рабочее время.

Эрих Зуммер пошел к тому жилищу. Еще не дойдя до него, он увидел ямы в земле от падавших сюда артиллерийских снарядов. Изгороди или каменной ограды вокруг дома не было, уцелевшая свекла росла прямо от стен жилища. Деревянная дверь лежала у крыльца дома, сброшенная наружу, и Зуммер сразу увидел, еще не войдя в дом, что внутри жилища ярко светит свет утреннего неба. Черепичная кровля и потолочный настил были снесены одним ударом артиллерийского снаряда, и теперь небо стало близким к глинобитному полу крестьянского дома.

Внутри дома была всего одна комната. В ней было сейчас прибрано, чисто, кто-то уже убрал сор и обломки от разрушенного потолка. У входа стоял деревянный стол с пустым ведром для воды и скамья для отдыха, а в глубине жилища находилась большая семейная кровать. На той кровати сидел ребенок, мальчик лет семи или восьми, и смотрел на вошедшего Эриха Зуммера. Большие глаза ребенка были широко открыты, как утренний рассвет, но они глядели пусто, точно в них было безоблачное, равнодушное небо. Мальчик уставился глазами на чужого человека, а сам не видел или не понимал летчика: во взоре ребенка не было ни страха, ни удивления, ни вопроса. Эрих близко подошел к мальчику и спросил его по-испански (Зуммер знал несколько обыденных фраз):

— Где твоя мама?.. Она ушла за водой?..

Мальчик не ответил ему. Он сидел босой, в одних штанах, державшихся на пуговице и на лямке через плечо, и без рубашки. Светлые глаза его, глядящие из большой младенческой головы, по-прежнему не выражали ничего, будто он находился в сновидении или видел что-то другое, отчего не мог оторваться и чего не видел Зуммер.

Эрих поднял ребенка к себе на руки и пошел с ним к машине. Мальчик покорно сидел на руках Эриха и даже прильнул к его плечу в утомлении. Солнечный день сиял над большими

полями, не оставив более нигде следа ночи и тумана. Артиллерия гудела вдали, и гул ее шел не только по воздуху, но и передавался через содрогание земли.

Мальчик тихо пробормотал что-то про себя на плече Эриха и умолк. Зуммер дошел с ним до самолета и усадил ребенка в кабину на свое место. Затем он дал мальчику шоколад и велел ему есть, а сам занялся штурманом.

Эрих размундировал штурмана, открепил его от кресла, выволок наружу и бросил прочь на землю, а потом спустился сам из машины и отволок труп в сторону, в картофельную ботву. Крови из Кенига ничего не вышло, и штурманское место осталось чистым.

Испанский мальчик покорно жевал шоколад, но забывал или не мог его глотать, поэтому весь рот ребенка был набит шоколадом, а он равнодушно жевал и жевал его дальше. Зуммер попросил мальчика глотать шоколад и показал ему, как нужно это делать, но ребенок не слушал летчика и не смотрел на него. Тогда Эрих достал фляжку с коньяком, полил его немного себе на пальцы, а остальное выпил. Вытерев пальцы, Эрих выбрал ими шоколад изо рта мальчика. Ребенок непонимающе смотрел перед собой, затем в глазах его появилось выражение внимания и даже интереса, и он начал бормотать неясные детские слова на родном языке. Поговорив, мальчик умолкал, как бы вслушиваясь, что ему говорит что-то изнутри его души, и опять начинал быстро говорить в ответ кому-то.

Зуммер сидел на полу кабины и слушал ребенка, стараясь понять его. А мальчик бормотал теперь почти не останавливаясь, он все более погружался в свой внутренний мир и в свое воображение; глаза его опять опустели, они смотрели открыто, но были как ослепшие, и ребенок уже вовсе не чувствовал сейчас ничего, что существует вокруг него. Вся его сила уходила в создание не видимого никому внутреннего мира, в переживание этого мира и в младенческое бормотание.

В тоске своей Зуммер видел, как этот ребенок, живой и дышащий, все более удалялся от него в свое безумие, навсегда скрываясь туда, умирая для всех и уже не чувствуя ничего живого вне себя, вне своего маленького сердца и сознания, съедающего самого себя в беспрерывной работе воображения. Зуммер понимал, что безумие мальчика было печальнее смерти: оно обрекало его на невозвратное, безвыходное одиночество.

Но что случилось в мире перед его глазами, от чего этот ребенок был вынужден забыть всю природу и всех людей, чтобы сжаться в жалость своего безумия, как в единственную самозащиту своей жизни? Этого Эрих не мог в точности узнать, хотя и понимал, что современный мир войны и фашизма редко будет дарить детям что-либо другое, кроме смерти и безумия, а взрослым — то слабоумие, которым обладал Фридрих Кениг и обладает и будет, скажем, обладать Клара Шлегель.

Мальчик перестал бормотать и потер себе глаза обеими руками, точно стараясь проснуться, а потом опять начал говорить что-то шепотом, спеша и сбиваясь, и в этом тревожном, спешащем шепоте была, как показалось Эриху, борьба с тайным страданием, желание утомить его и отдохнуть.

«Нет, я не оставлю его жить одного,— сказал Эрих.— Я буду терпеть все и жить, чтобы он не умер... Я буду работать и драться, я не устану и не погибну».

Он взял руку мальчика, погладил ее и поцеловал. Ребенок вдруг взглянул на Эриха, будто узнавая его, потом закрыл глаза и заплакал. Он опустился с кресла летчика на пол, доверчиво прикоснулся к Эриху и внятно сказал несколько слов, из которых Эрих понял, или ему так почудилось, что мальчик хочет увидеть свою маму и просит Эриха отыскать ему ее.

— Ты увидишь свою маму,— сказал Эрих наполовину по-испански, наполовину по-немецки.— Мы отыщем ее, и ты будешь жить вместе с нею всегда.

Мальчик задумчиво и спокойно посмотрел на Эриха, словно он понял его и поверил ему.

Странный свет сверкнул в глаза Зуммера, и тяжелый удар воздуха пошевелил плоскости машины. Летчик увидел невдалеке, на картофельном поле, куски темной земли, уж падавшие обратно с воздуха вниз. Землю только что разорил и выбросил павший туда снаряд. Видимо, Зуммера заметила республиканская артиллерия, и по типу машины его правильно приняла за немца. «Это хорошо,— подумал Эрих.— Следующим снарядом они разобьют меня».

Он усадил мальчика на место штурмана, прикрепил его лямками и поясом к сиденью, чтобы ребенок надежно держался на виражах и фигурах машины, а затем устроился сам на своем месте пилота. Эрих приготовился к взлету и уже хотел нажать кнопку самопуска мотора, но, внимательно поглядев вперед, он раздумал запускать мотор. Впереди машины, приближаясь к ней, ехали по полевой дороге какие-то всадники, человек сорок или больше. Эрих посмотрел на них в бинокль и догадался по одежде и темным лицам, что это марокканцы, их кавалерийский отряд.

Зуммер пустил мотор и пошел вразбег, держа направление прямо на марокканцев. Машина быстро приблизилась к всадникам, и тогда Эрих, не отрывая самолета от земли, взял гашетку пулеметов и начал сечь огнем заметавшихся кавалеристов. Но пулеметы Зуммера через несколько секунд стрельбы замолчали; они истратили весь свой боевой запас.

Эрих выбрал ручку управления, оторвал машину и ушел в высоту — искать вместе с мальчиком, сидящим за его спиной, республиканскую землю и мать этого ребенка или тех людей, которые заменят ему родителей и возвратят в его душу утраченный разум.

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования,— но лишь однажды ей удается неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни — иногда с небрежным мужеством — одолевал ее и отдалял от себя в будущее. Смерть победима,— во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда она соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть последнем, убежище в моем теле и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.

Я отогрелся под землею и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь и при самой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только все высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу.

Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутренности

мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочно,— им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз впивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии,— значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела невдалеке от той осыпи праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уже не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.

Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки, повернулся телом на живот и прополз в сухой раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять приподнялся, чтобы ползти помаленьку дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека. Я протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обессилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне,— я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит. Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти.

Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то соображал, затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.

— Вы свой автомат ищете? — спросил я у немца.

— Да,— ответил Вальц.— Где он?

— Не знаю, здесь темно,— сказал я,— и мы засыпаны землею.

Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе,

но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов. Мы прислушались к бою; каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес — русская или немецкая и кто из нас будет спасен, а кто уничтожен. Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточался и гремел все более яростно, не приближаясь к своему решению.

Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве боя, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов.

Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощупывал вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

— Для чего вам нужно сейчас оружие? — спросил я у него.

— Для войны с тобою,— сказал мне Вальц.— А где твоя винтовка?

— Фугасом вырвало из рук,— ответил я.— Давай биться врукопашную.

Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надышавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдышавшись, я потрогал немца — не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки. Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.

Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня.

Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата,— от его одежды пахло дезинфекцией и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитою овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне все время чувствовать врага, что он здесь, если б он захотел уйти, потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней,— и корнями ржи, и тлением отживших трав, и сопревшими семенами, зачавшими новые былинки,— и поэтому химический мертвый запах немец-

кого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли.

Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.

— Ты зачем сюда пришел? — спросил я у Рудольфа Вальца.— Зачем лежишь в нашей земле?

— Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа,— с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.

— А мы где будем? — спросил я.

Вальц сейчас же ответил мне.

— Русский народ будет убит,— убежденно сказал он.— А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смирный будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет; а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.

Все это было мне приблизительно известно; в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрывалось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха... Это я видел сам не однажды.

— Что ты делал в Германии до войны? — спросил я далее у Вальца.

И он с готовностью сообщил мне:

— Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества.

— В чем же будет спасение человечества? — спросил я у своего врага.

Помолчав, он ответил:

— Это знает один фюрер.

— А ты? — спросил я у лежащего человека.

— Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, созидающего новый мир на тысячу лет.

Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли. Я спросил его еще:

— А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?

Немец ответил:

— Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру.

— Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно — чтó жить, чтó не жить,— сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал убить Вальца, но мне негде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли. Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем.

Артиллерийская пальба наружи вновь переменилась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как говорили красноармейцы-горняки. Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно,— только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно — для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец; я взял его за ворот, рванул противника поближе к себе и сказал ему:

— Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?

Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе; он припал ко мне и тихо произнес:

— Я не знаю...

— Говори — все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори,— нас обоих, может, убьет и завалит здесь,— я хочу знать!

Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли, ощупывая одна другую для сокрушительного удара.

— Я не знаю,— повторил Вальц.— Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.

— Ты никуда не пойдешь! — предупредил я Вальца.— Ты у меня в плену!

— Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! — отчетливо и скоро сообщил мне Вальц.— Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! — воскликнул он вдобавок, точно обращался к тысячам людей.

— Говори,— приказал я немцу,— говори, отчего ты такой непохожий на человека, отчего ты нерусский.

— Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством Гитлера! — с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц: но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство надо всем миром.

В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует,— на самом же деле он один из тех ненастоящих, выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут лишь нарочно. Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существование; лицо Вальца было теплое, значит, этот человек действительно находился возле меня.

— Это все Гитлер тебя напугал и научил,— сказал я противнику.— А какой же ты сам по себе?

Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги — строго, как в строю.

— Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! — отрапортовал мне Рудольф Вальц.

— А ты бы жил по своей воле, а не фюрера! — сказал я врагу.— И прожил бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.

— Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону! — воскликнул немец.

Я не согласился:

— Стало быть, ты что же,— ты ветошка, ты тряпка на ветру, а не человек!

— Не человек! — охотно согласился Вальц.— Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот, кем назначит меня быть фюрер!

Бой сразу остановился на поверхности земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, будто бившиеся люди разошлись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я насторожился, потому что мне теперь было страшно; прежде я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и винтовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родных голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли.

Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

— Говори скорей! — сказал я Рудольфу Вальцу.— Мне некогда тут быть с тобой!

Он понял меня, что я должен убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И втихомолку, но мгновенно он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхание. Я не привык к такой манере воевать, и мне это не понравилось. Поэтому я ударил немца в подбородок, он отодвинулся от меня и замолк.

— Ты зачем так нахально действуешь! — заявил я врагу.— Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену,— значит, ты не уйдешь, и не царапайся!

— Я обер-лейтенанта боюсь,— прошептал неприятель.— Пусти меня, пусти меня скорей — я в бой пойду, а то обер-лейтенант не поверит мне, он скажет — я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского нужно убить.

Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.

— А если ты не убьешь русского?

— Убью,— говорил Вальц.— Мне надо убивать, чтобы самому жить. А если я не буду убивать, то меня самого убьют или посадят в тюрьму, а там тоже умрешь от голода и печали, или на каторжную работу осудят — там скоро обессилеешь, состаришься и тоже помрешь.

— Так тебя тремя смертями сзади пугают, чтобы ты одной впереди не боялся,— сказал я Рудольфу Вальцу.

— Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! — сосчитал немец.— Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! — вскричал Вальц.

Он теперь не боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.

— Где, где ты будешь жить? — спросил я у врага.— Гитлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся — он не думал.

— Долго,— сказал он.— Фюрер знает все, он все сосчитал — мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

— А если тебе одному она будет? — поставил я вопрос дурному врагу.— Тогда ты как обойдешься?

— Хайль Гитлер! — воскликнул Вальц.— Он не оставит мое семейство: он даст хлеб жене и детям — хоть по сто граммов на один рот.

— И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?

— Сто граммов — это тоже можно тихо, экономно жить,— сказал лежачий немец.

— Дурак ты, идиот и холуй,— сообщил я неприятелю.— Ты и детей своих согласен обречь на голод и смерть ради Гитлера.

— Я вполне согласен,— охотно и четко сказал Рудольф Вальц.— Мои дети получат тогда вечную благодарность и славу отечества.

— Ты совсем дурной,— сказал я немцу.— Неужели целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?

— Да,— сказал Вальц,— он будет кружиться, потому что он будет бояться.

— Тебя, что ль? — спросил я врага.

— Меня,— уверенно ответил Вальц.

— Не будет он тебя бояться,— сказал я противнику.— Отчего ты такой мерзкий?

— Потому что фюрер Гитлер теоретически сказал, что человек есть грешник и сволочь от рождения. А так как фюрер ошибаться не может, значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

— Все равно ты будешь убит на войне,— говорил мне Вальц.— Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая мать. Я должен быть храбрым на войне, чтоб их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет доволен, и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста. Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подарили, когда я кончил школу, я его берегу... Только давай скорее — я соскучился в России, я хочу в свой святой фатерлянд, я хочу домой в свое семейство, а ты все равно никогда домой не вернешься...

Я молчал; потом я ответил:

— Я не буду помирать за тебя.

— Будешь! — произнес Вальц.— Фюрер сказал: русским — смерть. Как же ты не будешь!

— Не будет нам смерти! — сказал я врагу, и с беспамятством ненависти, возродившей мощность моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовлетворение, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце — живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него,— у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью. Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветлился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

АФРОДИТА

«Жива ли была его Афродита?» — с этим сомнением и этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уже не к людям и учреждениям — они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты,— но к природе, к небу, к звездам и горизонту и к мертвым предметам. Он верил, что есть какой-либо косвенный признак в мире или неясный сигнал, указывающий ему, дышит ли еще его Афродита или грудь ее уже охладела. Он выходил из блиндажа в поле, останавливался перед синим наивным цветком, долго смотрел на него и спрашивал наконец: «Ну? Тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу,— жива или нет Афродита?» Цветок не менялся от его тоски и вопроса, он молчал и жил по-своему, ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль, на плывущие над горизонтом, сияющие чистым светом облака и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита. Он верил, что в природе есть общее хозяйство и по нему можно заметить грусть утраты или довольство от сохранности своего добра, и он хотел разглядеть через общую связь всех живых и мертвых в мире еле различимую, тайную весть о судьбе своей жены Афродиты — о жизни ее или смерти.

Афродита исчезла в начале войны среди народа, отходившего от немцев на восток. Сам Назар Иванович Фомин был в то время уже в армии и не мог помочь любимому существу для его спасения. Афродита была женщина молодая, смышленая, уживчивая и не должна потеряться без следа или умереть от голодной нужды среди своего народа. Допустим, конечно, несчастие на дальних дорогах или случайная гибель. Однако ни в природе, ни в людях нельзя было заметить никакого голоса и содрогания, отвечающего печальной вестью открытому, ожидающему сердцу человека, и Афродита должна быть живой на свете.

Фомин предался воспоминанию, повторяя в себе однажды пережитое с неподвижностью вечного остановленного счастья...

Он увидел памятью небольшой город, освещенный солнцем, ослепительные известковые стены и черепичные кровли его домов, фруктовые сады, растущие в теплом блаженстве под си-

ним небом. В полуденный час Фомин шел обычно завтракать в кафе, что было неподалеку от конторы огнестойкого строительства, в которой он служил производителем работ. В кафе играл патефон, Фомин подходил к буфету, просил себе сосисок с капустой и так называемую «летучку», то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом, и брал вдобавок кружку пива. Женщина, специально работающая на пиве, наливала напиток в кружку, а Фомин следил за пивной струей, принципиально требуя, чтобы ему наливали по черту и не заполняли емкости пустою пеной; в этой ежедневной борьбе с пивной пеной он ни разу внимательно не посмотрел в лицо женщины, служащей ему, и не помнил ее, когда уходил из кафе. Но однажды та женщина глубоко, нечаянно вздохнула в неурочное время, и Фомин долгим взором посмотрел на женщину за стойкой. Она тоже смотрела на него; пена переполнила кружку, а служащая, забывшись, не обращала на то внимания. «Стоп!» — сказал ей тогда Фомин и впервые обнаружил, что женщина была молодою, ясной на лицо, с темными блестящими глазами, странно соединяющими в своем выражении задумчивость и насмешку, с дремучими, с дикою силой растущими черными волосами на голове. Фомин отвел от нее свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины, и то чувство его не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, уводя человека к его счастью. Он смотрел тогда на пивную пену на столе и был уже равнодушен, что пена полнится напрасно на мраморной плоскости стойки. Позже он с улыбкой назвал Наталью Владимировну Афродитой, образ которой явился для него тоже поверх пены, хотя и не морской воды, а другой жидкости. И вместе со своей Афродитой Назар Иванович прожил, как муж с женой, двадцать лет, если не считать одного перерыва в два с половиной года, и лишь война разлучила их; а теперь он тщетно спрашивает о ее судьбе у растений, и у всех добрых тварей земли и даже всматривается с тем же вопросом в небесные явления облаков и звезд. Справочное бюро об эвакуированных усиленно и давно разыскивало Наталью Владимировну Фомину, но пока еще не отыскало ее. Ближе Афродиты у Назара Ивановича не было человека; он всю жизнь привык с ней беседовать, потому что это помогало его размышлению и внушало ему доверие к делу, которое он исполнял. И ныне, на войне, четвертый год находясь в разлуке с Афродитой, Назар Иванович Фомин в каждое свободное время пишет ей длинные письма и отправляет их в справочное бюро эвакуированных в Бугуруслан, с тем чтобы эти письма были вручены адресату по нахождении его. За войну уже много таких писем, наверное, скопилось в справочном бюро,— иные из них будут вручены, иные никогда, и сотлеют без прочтения. Назар Иванович писал жене спокойно и обстоятельно, веря в ее существование и в будущую встречу

с ней, но еще ни разу он не получил ответа от Афродиты. Красноармейцы и офицеры, которыми командовал Фомин, тщательно следили за почтой, чтобы не утратилось письмо, адресованное командиру, потому что он был чуть ли не единственный человек в полку, который не получал писем ни от жены, ни от родственников.

Теперь давно миновали те счастливые мирные годы. И они не могли длиться постоянно, ибо и счастье должно изменяться, чтобы сохраниться. В войне Назар Иванович Фомин нашел другое свое счастье, иное, чем прежний мирный труд, но тоже родственное ему; после же войны он надеялся узнать более высшую жизнь, чем та, которую он уже испытал, будучи тружеником и воином.

* * *

Наши авангардные части заняли тот южный город, в котором до войны жил и работал Фомин. Полк Фомина шел в резерве и не был пущен в дело за отсутствием в том нужды.

Полк Фомина расположился в районе города во втором эшелоне, чтобы двинуться затем в дальний марш на запад. Назар Иванович в первую же дневку написал письмо Афродите и пошел на побывку в самый милый город для него на всей русской земле. Город был раздроблен артиллерийским огнем, сожжен пламенем пожаров, а прочные здания его были взорваны врагом в прах. Фомин уже привык видеть истоптанные машинами хлебные нивы, израненную траншеями землю и срытые ударами огня поселения людей; это была пахота войны, где посевалось в землю то, что никогда не должно вновь произрасти на ней,— трупы злодеев и то, что было рождено для доброй деятельной жизни, но обречено лишь вечной памяти,— плоть наших солдат, посмертно стерегущих в земле павшего неприятеля.

Фомин прошел через фруктовый сад к тому месту, где находилось некогда кафе Афродиты. Был декабрь месяц. Голые плодовые деревья остыли на зиму и занемели в грустном сне, и протянутые ветви их, державшие в осень плоды, теперь были рассечены очередями пуль и беспомощно повисли книзу на остаточных волокнах древесины, и лишь редкие ветви сохранились в здоровой целости. Многие же деревья были вовсе спилены немцами прочь, как материал для постройки обороны.

Дом, где двадцать с лишним лет тому назад находилось кафе, а затем было жилище, сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор, убитый и умерший, выдуваемый ветром в пространство. Фомин еще помнил обличье этого дома, но скоро, за временем, и оно стушуется в нем, и он забудет его. Не так ли где-либо в дальнем, заглохшем поле лежит теперь холодное большое любимое тело Афродиты, и его снедают трупные твари, оно истаивает в воде и воздухе, и его сушит и уносит ве-

тер, чтобы все вещество жизни Афродиты расточилось в мире равномерно и бесследно, чтобы человек был забыт.

Он пошел далее на окраину города, где проживал в детстве. Безлюдье студило его душу, поздний посмертный ветер веял в руинах умолкших жилищ. Он увидел место, где жил и играл в младенчестве. Старый деревянный дом сгорел по самый фундамент, искрошившаяся от сильного жара черепица лежала поверх его детской обители на опаленной земле. Тополь во дворе, под которым маленький Назар спал в летнее время, был спилен и лежал возле своего пня, умерший, с истлевшей корой.

Фомин долго стоял у этого дерева своего детства. Онемевшее сердце его стало вдруг словно бесчувственным, чтобы не принимать больше в себя печали. Затем Фомин собрал несколько уцелевших черепиц и сложил их маленьким правильным штабелем, точно делая заготовку материала для будущего строительства или собирая семена, чтобы снова посеять Россию. Эта черепица и вся другая, что есть в округе, была сделана в мастерских, которые учредил здесь в старое мирное время Фомин и которыми он ведал целые годы.

Фомин пошел в степь; там в двух верстах от города он заложил и построил когда-то свою первую прудовую плотину. Он был тогда счастливым строителем, но сейчас грустно и пусто было поле его молодости, изрытое войной и бесплодное; незнакомые былинки изредка виднелись на талом мелком снегу и, равнодушные к человеку, покорно колебались под ветром... Земляная плотина была взорвана в середине своего тела, и водоем осох, а рыбы в нем умерли.

Фомин возвратился в город. Он нашел улицу имени Шевченко и дом, в котором он жил после возвращения из Ростова, когда окончил там политехническое училище. Дома не было, но осталась скамья. Она стояла раньше под окнами его квартиры; он сидел по вечерам на этой скамье, сначала один, а позже с Афродитой, и в этом, ныне погибшем доме они жили тогда вдвоем в одной комнате с окнами на улицу. Отец его, мастер литейного завода, скоропостижно умер, когда Фомин еще учился в Ростове, а мать вышла вторично замуж и уехала на постоянное жительство в Казань. Юный Назар Фомин остался жить тогда одиноким, но весь мир, освещенный солнцем, полный привлекательных людей, влекущий мир юности и нерешенных вечных тайн, мир, еще не устроенный и скудный, но одушевленный надеждой и волей рабочих-большевиков,— этот мир ожидал юношу, и знакомая родная земля, оголодалая, оголенная бедствиями первой мировой войны, лежала перед ним.

Фомин сел на скамью, где много летних тихих вечеров он провел в беседах и в любви с Афродитой. Теперь перед ним был пустой, разрушенный мир, и лучшего друга его уже, может быть, не стало на свете. Все надо теперь сделать сначала, чтобы продолжать задуманное еще четверть века тому назад.

* * *

Наверное, совсем иначе направилась бы жизнь Назара Фомина, если бы в минувшие дни юности его бы не воодушевила вера в смысл жизни рабочего класса. Он бы, возможно, прожил свою жизнь более спокойно, но уныло и бесплодно; он бы имел свою отдельную участь, но не узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно свое сердце, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному, и он сталь жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде,— тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтобы иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни.

Советская Россия тогда только начала свою судьбу. Народ направился в великий, безвозвратный путь — в то историческое будущее, куда еще никто впереди него не шествовал: он пожелал найти исполнение всех своих надежд, добыть в труде и подвигах вечные ценности и достоинство человеческой жизни и поделиться ими с другими народами... Фомин видел в молодости на Азовском море одно простое видение. Он был на берегу — и одинокое парусное рыбачье судно уходило вдаль по синему морю под сияющим светло-золотым небом; судно все более удалялось, белый парус его своим кротким цветом отражал солнце, но корабль долго еще был виден людям на берегу; потом он скрылся вовсе за волшебным горизонтом. Назар почувствовал тогда тоскующую радость, словно кто-то любящий его позвал за собою в сияющее пространство неба и земли, а он не мог еще пойти за ним вослед. И подобно тому кораблю, исчезающему в даль света, представилась ему в тот час Советская Россия, уходящая в даль мира и времени.

Он помнил еще какой-то полуденный час одного забытого дня. Назар шел полем, спускаясь в балку, заросшую дикой прекрасной травою; солнце с высоты звало всех к себе, и из тьмы земли поднялись к нему в гости растения и твари — они были все разноцветные, каждый — иной и не похожий ни на кого: кто как мог, тот так сложился и ожил в земле, лишь бы выйти наружу, дыша и торжествуя, и быть свой срок на всеобщем свидании всего существующего, чтобы успеть полюбить живущих и затем снова навсегда разлучиться с ними. Юный Назар Фомин почувствовал тогда великое немое горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность. Назар обрадовался в то время своему долгу человека; он знал наперед, что выполнит его, потому что рабочий класс и большевики взяли на себя все обязанности и бремя человечества, и посредством героической работы, силою правильного понимания своего смысла на земле — рабочий на-

род исполнит свое назначение, и темная судьба человечества будет осенена истиной. Так думал Назар Фомин в юности. Он тогда больше чувствовал, чем знал, он еще не мог изъяснить идею всех людей ясными словами, но для него было достаточно одной счастливой уверенности, что сумрак, покрывающий мир и затеняющий человеческое сердце,— не вечная тьма, а лишь туман перед рассветом.

Сверстники Назара Фомина, комсомольцы и большевики, были одушевлены тою же идеей создания нового мира, они так же как и Назар, были убеждены, что они призваны Лениным участвовать во всемирном подвиге человечества,— ради того, чтобы началось наконец на земле время истинной жизни, чтобы исполнились все надежды людей, чего они заслужили веками труда и смертных жертв, которые они сберегли в долгом опыте и в терпеливом размышлении...

По окончании специального училища в Ростове-на-Дону Назар Фомин вернулся на родину, в этот же город, где он сидел сейчас в одиночестве. Назар стал тогда техником-строителем, и началось деяние его жизни. Все материальное, серое и обыкновенное он принял столь близко к сердцу, что оно стало для него духовным и питало его страсть к работе. Сейчас он уже не помнил — сознавал ли он в то время, что все действительно возвышенное рождается лишь из житейской нужды; но он своими руками делал тогда это превращение материального в духовное, и он верил в правду революции, потому что сам совершал ее и видел ее действие на судьбе народа.

Назар Фомин заведовал вначале сельским огнестойким строительством в районе — это считалось небольшой должностью. Но он воодушевился этой работой, он принял ее в свое сердце не как службу, но как смысл своего существования, и он смотрел страстными глазами на впервые изготовленное в кустарной мастерской черепичное изделие; он погладил тогда первую черепичную плитку, понюхал ее и унес к себе в комнату, где жил, чтобы вечером и наутро еще раз рассмотреть ее — действительно ли она вполне хороша и прочна, чтобы на долгие годы лечь вместо соломы в кровлю сельских хат и тем сберечь крестьянские жилища от пожаров. Он тогда же изучил статистику пожаров в своем районе по земским сведениям и рассчитал, что если черепица заменит соломенную кровлю, то крестьянство от одной экономии на убытках от огня может, например, через три года построить в каждом селе по артезианскому колодцу с обильной здоровой водой или еще что-либо, а в последующие три-четыре года можно на те же средства, спасенные черепицей от огня, построить местную электрическую станцию с мельницей и крупорушкой. От этих соображений Назар Фомин мог, не скучая, долго смотреть на черепичную плитку и думать о том, как ее сделать еще прочнее и дешевле,— черепица была тогда его чувством и переживанием, она

заменяла ему книгу и друга — человека; позже он понял, что никакой предмет не может заместить ему человека, но в молодости ему хватало одного воображения человека.

Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданием перемены своей судьбы; бывает время, когда только воспоминание о прошлом утешает живущее поколение, и бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец. Назар Фомин был человеком счастливого времени своего народа, и вначале, как многие его сверстники и единомышленники, он думал, что наступила эпоха кроткой радости, мира, братства и блаженства, которая постепенно распространится по всей земле. Для того чтобы это было в действительности, достаточно лишь строить и трудиться: так верил тогда молодой человек Фомин.

И Назар Фомин создал себе душевный покой любовью к жене Афродите и своей верностью ей; он смирил тем в себе все смутные страсти, увлекавшие его в темные стороны чувственного мира, где можно лишь бесполезно, хотя, может быть, и сладостно расточить свою жизнь, и он отдал свои силы работе и служению идее, ставшей влечением его сердца,— тому, что не расточало человека, а вновь и непрерывно возрождало его, в чем стало состоять его наслаждение, не яростное и измождающее, но кроткое, как тихое добро.

Назар Фомин в те времена был занят, как и его поколение людей, одухотворением мира, существовавшего дотоле в убогом виде, в разрозненности и без общего ясного смысла.

В начале своей работы Фомин делал черепицу для огнестойких покрытий; затем его обязанности увеличились, и вскоре он был избран заместителем председателя поселкового Совета; по действительному значению своей деятельности он стал главным инженером всех работ в поселке и в окружающем его районе. Тогда еще этот город считался слободой, которая являлась районным или волостным центром.

Фомин строил плотины в сухой степи для водопоя скота, он рыл колодцы в поселках с креплением из бетонных колец и замащивал дороги по всей округе из местной породы камня, чтоб всеми средствами одолеть бедность хозяйства и приобщить ко всему народу одинокую крестьянскую душу.

Но он уже тогда думал о более существенном, и даже в сновидениях одна и та же дума продолжалась в нем, обнадеживая его счастьем. Два года Фомин готовил свое дело, пока районный исполком не доверил ему начать его. Это дело состояло в постройке в слободе электрической станции, с постепенным расширением электрической сети от нее на всю волость — район, чтобы дать народу свет для чтения книг, машинную силу в облегчение его труда и тепло в зимнее время для отопления жилищ и скотных помещений. От исполнения этой простой мечты весь уклад жизни населения должен изме-

ниться, и человек тогда почувствует освобождение от бедности и горя, от тягости труда, изможлающего его до костей и все же ненадежного, не дающего ему жизненного благополучия...

Тени воспоминания проходили сейчас по лицу полковника Фомина, сидевшего посреди руин поверженного города, который он некогда создал со своими товарищами. Воспоминания запечатлевали на его лице то улыбку, то грусть, то спокойное воображение давно минувшего.

Он построил тогда электрическую станцию. В клубе волполитпросвета был бал в честь открытия к действию мощной по тому времени силовой электроустановки, и Афродита тогда танцевала на том балу, освещенном сиянием электричества, под оркестр из трех баянов, и она была счастливее самого Назара, потому что дело ее мужа удалось.

Но трудно было тогда Фомину вести постройку. Волостных средств отпустили по бюджету мало; потребовалось поэтому разъяснить всему населению волости пользу электричества, чтобы народ вложил в постройку станции и электрической сети свой труд и свои сложенные вместе скопленные средства. Ради того Фомин организовал тогда тридцать четыре крестьянских товарищества по электрификации и объединил их в волостной союз. Это стоило ему много сердца, тревоги и беспокойного труда. Он вспомнил одну крестьянскую девушку-сироту, Евдокию Ремейко; родители оставили ей небольшое девическое приданое, она без остатка внесла его в свой пай и потом усерднее и охотнее многих работала как плотник второй руки на постройке здания станции. Сейчас Евдокия Ремейко если еще жива на свете, но она уже пожилая женщина, а была бы она молодая, то служила бы, наверное, в Красной Армии или воевала в партизанском отряде. Фомин вспомнил еще многих людей, работавших с ним тогда,— крестьян и крестьянок, слободских жителей, стариков и юношей. Они со всей искренностью и чистосердечием, изо всего своего уменья строили новый мир на земле. Их затаенные, сдавленные способности объявились тогда наружу и начали развиваться в осмысленной, благодатной работе; их душа, их понимание жизни светлели и росли тогда, как растут растения из земли, с которой сняты каменные плиты. Станция еще не была вполне достроена и оборудована, а Фомин уже видел с удовлетворением, что ее строители — крестьяне, работавшие добровольно сверх своего хлебного труда на полях, настолько углубились в дело и почувствовали через него интерес друг к другу и свою связь с рабочим классом, сделавшим машины для производства электричества, что убогое одиночество их сердец отошло от них, и единолично-дворовое равнодушие ко всему незнакомому миру и страх перед ним также стали оставлять их. Правда, в тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю вселенную, но надо бы-

ло найти посильные и доступные для всех пути для того. Старый крестьянин Еремеев выразил тогда Фомину свою смутную мысль о том же:

«Иль мы не чувствуем, Назар Иванович, что советская власть нам рыск жизни дает: действуй, мол, радуйся и отвечай сам за добро и за лихо, ты, мол, теперь на земле не посторонний прохожий. А прежде-то какая жизнь была: у матери в утробе лежишь — себя не помнишь, наружу вышел — гнетет тебя горе и беда, живешь в избе, как в каземате, и света не видать, а помер — лежи смирно в гробу и забудь, что ты был. Повсюду нам было тесное место, Назар Иванович,— утроба, каземат да могила — и одно беспамятство,— и ведь каждый всем мешал! А теперь каждый всем в помощь — вот она где, советская власть и кооперация!»

Где тот старик Еремеев теперь? Может быть, и существует еще; хотя — едва ли, уж много прошло времени...

Электрическая станция работала недолго; через семь дней после пуска ее в действие она сгорела. Назар Фомин был в тот час за сорок верст от слободы; он выехал, чтобы осмотреть плотину возле хутора Дубровка, размытую осенним паводком, и установить объем работ для ее восстановления. Ему сообщили туда о пожаре с верховым нарочным, и Фомин сразу поехал обратно.

На окраине слободы, где еще вчера было новое саманное здание электростанции, теперь стало пусто. Все сотлело в прах. Остались лишь мертвые металлические тела машин — вертикального двигателя и генератора. От жара из тела двигателя вытекли все его медные части; сошли и окоченели на фундаменте, как потоки слез, подшипники и арматура; у генератора расплавились и отекли контактные кольца, изошла в дым обмотка и выкипела в ничто вся медь.

Назар Фомин стоял тогда возле своих умерших машин, глядевших на него слепыми отверстиями своих выгоревших нежных частей, и плакал. Ненастный ветер уныло гремел железными листами на полу, свернувшимися от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо; поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия человеку, потому что вся природа, хотя она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в огне, было иное; тут был мир, созданный людьми в сочувствии друг другу, здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной гнетущей самое себя природы,— надежда, существующая, возможно, во всей вселенной только в сердце и сознании человека, и не всякого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в революции пробился к такому пониманию

своей судьбы. Как мала еще, стало быть, эта благая сила в размерах огромного мира и как ее надо беречь.

Для Назара Фомина наступило печальное время; следственная власть сообщила ему, что станция сгорела не по случайности или небрежности, а сожжена злодейской рукой. Этого не мог сразу понять Фомин — каким образом то, что является добром для всех, может вызвать ненависть и стать причиной злодейства. Он пошел посмотреть человека, который сжег станцию. Преступник на вид показался ему обыкновенным человеком, и о действии своем он не сожалел. В словах его Фомин почувствовал неудовлетворенную ненависть, ею преступник и под арестом питал свой дух. Теперь Фомин уже не помнил точно его лица и его слов, но он запомнил его нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного народного создания, и его объяснение своего поступка как действия, необходимого для удовлетворения его разума и совести. Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубедить его словом нельзя, а переубедить делом — можно, но только он никогда не даст возможности совершить дело до конца, он постоянно будет разрушать и уничтожать еще вначале построенное не им.

Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живет уже в немощном и безвредном состоянии. На самом же деле это существо жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину которого оно верило. И тогда вера Фомина в близкое блаженство на всей земле была нарушена сомнением; вся картина светлого будущего перед его умственным взором словно отдалилась в туманный горизонт, а под его ногами опять стлалась серая, жесткая, непроходимая земля, по которой надо еще долго идти до того сияющего мира, который казался столь близким и достижимым.

Крестьяне, строители и пайщики электростанции сделали собрание. На собрании они выслушали слова Фомина и задумались в молчании, не тая своего общего горя. Потом вышла Евдокия Ремейко и робко сказала, что надо снова собрать средства и снова отстроить погоревшую станцию; в год или полтора можно сызнова все сработать своими руками, сказала Ремейко, а может быть, и гораздо скорее. «Что ты, девка,— ответил ей с места повеселевший крестьянин, неизвестно кто,— одно приданое в огне прожила, другое суешь туда же: так ты до гробовой доски замуж не выйдешь, так и зачахнешь в перестарках!»

Обсудив дело, сколько выдаст Госстрах по случаю пожара, сколько поможет государство ссудой, сколько остается добавить из нажитого трудом, пайщики положили себе общей заботой построить станцию первоначально во второй раз. «Электричество потухло,— сказал кустарь по бочарному делу Евтухов,— а мы и впредь будем жить неугасимо! А тебе, Назар Иванович,

мы все в целости мерикандуем в карикатическом смысле строить по плану и масштабу, как оно было!» Евтухов любил и великие и малые дела рекомендовать к исполнению в категорическом смысле; он и жил категорически и революционно и изобрел круглую шаровую бочку. Словно теплый свет коснулся тогда омраченной души Назара Фомина. Не зная, что нужно сделать или сказать, он прикоснулся к Евдокии Ремейко и, стыдясь людей, хотел поцеловать ее в щеку, но осмелился поцеловать только в темные волосы над ухом. Так было тогда, и живое чувство счастья, запах волос девушки Ремейко, ее кроткий образ до сих пор сохранились в воспоминании Фомина.

И снова Назар Фомин на прежнем месте построил электрическую станцию, в два раза более мощную, чем погибшая в огне. На эту работу ушло почти два года. За это время Афродита оставила Назара Фомина; она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на монтаж радиоузла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афродиты он почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, в своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее ее верности и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил ее постоянно и единственно. Однако и после разлуки с Афродитой Назар Фомин не мог отвыкнуть от нее и любил ее, как прежде; он и не хотел бороться со своим чувством, превратившимся теперь в страдание; пусть обстоятельства отняли у него жену и она физически удалилась от него, но ведь не обязательно близко владеть человеком и радоваться лишь возле него — достаточно бывает чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца; это, правда, труднее и мучительней, чем близкое, удовлетворенное обладание, потому что любовь к равнодушному живет лишь за счет одной своей верной силы, не питаясь ничем в ответ. Но разве Фомин и другие люди его страны изменяют мир к лучшей судьбе ради того, чтобы властвовать над ним или пользоваться им затем как собственностью?.. Фомин вспомнил еще, что у него явилась тогда странная мысль, оставшаяся необъяснимой. Он почувствовал в разлуке с Афродитой, что злодейская сила снова вступила поперек его жизненного пути; в своей первопричине это была, может быть, та же самая сила, от которой сгорела электростанция. Он понимал разницу событий, он видел их несоответствие, но они равно жестоко разрушали его жизнь, и противостоял им один и тот же человек. Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой,— ведь бывает, что зло совершается без желания, невольно

и незаметно, и даже тогда, когда человек напрягается в совершении добра другому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое сердце разное с другим: одно, получая доброе, обращает его целиком на свою потребность, и от доброго ничего не остается другим; иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и силу — себе и другим.

После пожара и после утраты Афродиты Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Одолевая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин неожиданно почувствовал свободную радость, не зависимую ни от злодея, ни от случайности. Он понял свою прежнюю наивность, вся натура его начала ожесточаться, созревая в бедствиях, и учиться способности одолевать, срабатывать каменное горе, встающее на жизненном пути; и тогда мир пред ним, доселе, как ему казалось, ясный и доступный, теперь распространился в дальнюю таинственную мглу — не потому, что там было действительно темно, печально, или страшно, а потому, что он действительно был более велик во всех направлениях и сразу его нельзя обозреть — ни в душе человека, ни в простом пространстве. И это новое представление более удовлетворяло Фомина, чем то убогое блаженство, ради которого, как прежде он думал, только и жили люди.

Но он тогда, вместе со своим поколением, находился лишь у начала нового жизненного пути всего русского советского народа; и все, что переживал в то время Назар Фомин, было только вступлением к его трудной судьбе, первоначальным испытанием юного человека и его подготовкой к необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ. В сущности, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то низменное и непрочное; лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек, и в том состоит его высшее удовлетворение, или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние. Но тогда он не мог скрыть своей печали от своих несчастий, и если бы возле него не было людей, любивших его как единомышленника, может быть, он вовсе бы пал духом и не оправился. «Успокойся,— с грустью понимания сказал ему один близкий товарищ,— ты успокойся! Чего ты ожидал другого — кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, потому наша партия и совершает смысл жизни в мире... Наша партия — это гвардия человечества, и ты гвардеец! Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций... Перед нами будут все более возрастать задачи, мы подымемся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света! Чего же ты скулишь и скучаешь! Живи с нами,— что тебе,

все тепло от одной домашней печки да от жены, что ли! Ты сам умный, ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь! Другое время теперь наступило!» Фомин в первый раз услышал тогда слово «гвардия»... Жизнь его продолжалась далее. Афродита, жена Назара Фомина, оскорбленная неверностью второго мужа, встретила однажды Назара и сказала ему, что ей живется грустно и она тоскует по нем, что она неправильно понимала жизнь, желая лишь радоваться в ней и не знать ни долга, ни обязанностей. Назар Фомин молча выслушал Афродиту; ревность и уязвленное самолюбие еще существовали в нем, подавленные, почти безмолвные, но все еще живые, как бессмертные твари. Но радость его перед лицом Афродиты, близость ее сердца, бьющегося навстречу ему, умертвили его жалкую печаль, и он после двух с лишним лет разлуки поцеловал у Афродиты руку, протянутую к нему.

Пошли новые годы жизни. Много раз обстоятельства превращали Фомина в жертву, подводили на край гибели, но его дух уже не мог истощиться в безнадежности или в унынии. Он жил, думал и работал, словно постоянно чувствуя большую руку, ведущую его нежно и жестко вперед — в судьбу героев. И та же рука, что вела его жестко вперед, та же большая рука согревала его, и тепло ее проникало ему до сердца.

— До свиданья, Афродита! — вслух сказал Назар Фомин.

Где бы она ни была сейчас, живая или мертвая, все равно здесь, в этом обезлюдевшем городе, до сих пор еще таились следы ее ног в земле и в виде золы хранились вещи, которые она когда-то держала в руках, запечатлев в них тепло своих пальцев, здесь повсюду существовали незаметные признаки ее жизни, которые целиком никогда не уничтожаются, как бы глубоко мир ни изменился. Чувство Фомина к Афродите удовлетворялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала и воздух родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела, — ведь в мире нет бесследного уничтожения.

— До свидания, Афродита! Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю, живой и целой!..

Фомин встал со скамьи, поглядел на город, низко осевший в свои руины, свободно просматриваемый теперь из конца в конец, поклонился ему и пошел обратно в полк. Сердце его, наученное терпению, было способно снести, может быть, даже вечную разлуку, и оно способно было сохранить верность и чувство привязанности до окончания своего существования. Втайне же он имел в себе гордость солдата, который может исполнить любой труд и подвиг человека; и Фомин был счастливым, когда сбивал противника, вросшего в бетон и в землю, или когда отчаяние своей души превращал в надежду, а надежду — в успех и в победу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было: не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно — сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.

Теперь та женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца,— по крайней мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша — дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно до-

черью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии: однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии; ему казалось что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение либо, как он сам выражался, простую подручную радость,— и тем выходил из своего уныния.

Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

— Я чуть-чуть,— сказал Иванов,— а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только поэтому, что поезд опаздывает?— спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять; кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет; серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином,— теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином.

Иванов повторил свою просьбу.

— Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как... Так вы позволите...

— Отцы у дочерей не спрашивают,— засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал,— может быть, потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете... Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

— Дорогая моя Маша! Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого

не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба.

Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль?— спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе.— Знать, отец!

— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич!

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально,—сказал Петр.— Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей — одна сумка!

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тяжело?— спросил сын.

— Тому тяжело,— согласился отец.— С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовала ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем; у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами; обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, — кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку — стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке.

Этот запах был таким же и прежде, четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать, и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка.— Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка!

— Сейчас, Петруша, я сейчас,— послушно говорила мать.— Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его,— сказал Петрушка.— Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому — ишь, во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадает... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь,— кротко произнесла мать.— Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить и чтоб тебе тонко было, как у парикмахе-

ра, нигде мяса не задеть... К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

— Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите... У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

— Люба,— спросил Иванов жену,— ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?..

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу, ходить туда далеко...

— Где работаешь?— не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь — какие выросли. Сами всё умеют делать, как взрослые стали,— тихо произнесла Любовь Васильевна.— К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

— Там видно, будет Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо...

— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...

Иванов встал и прошелся по горнице.

— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку.

— Чего ты дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст! По старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар на поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем,— вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей,— тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр,— обратился к нему отец,— крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно,— нахмурившись, произнес Петрушка,— а мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть,— простосердечно сказала Любовь Васильевна,— а ему жалко.

— А вам ничего не жалко,— равнодушно сказал Петрушка.— А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

— А ты что плохо кушаешь?— спросил отец у маленькой Насти.— Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...

— Я выросла большая,— сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

— Ты зачем так делаешь?— спросила ее мать.— Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая стала...

— Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

— А кто этот дядя Семен?— спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть?— удивился Иванов.— Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папиросу.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет?— спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки,— сказала Настя отцу,— дядя Семен мне вслух их читает: вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь:

про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет...

Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв вьюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет...

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

— Чтой-то облака,— проговорил Петрушка,— свинцовые плывут — из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима спозаранку станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене,— но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя. А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами.

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные, с хлебом будем есть,— указал всем Петрушка.— А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.

— Я схожу,— покорно согласился отец.

— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.

— Нет, я не забуду,— пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой — наверно, пообносились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять,—

улыбнулась Любовь Васильевна.— Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать...

— Правильно сделала,— сказал Иванов,— детям ничего не жалей.

— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

— Ватник у нее короткий, она ходит — простудиться может,— высказался Петрушка.— Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил — приценялся, там есть подходящие...

— Без тебя, без твоей получки обойдемся,— сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе,— уже холодно стало, осень во дворе.

Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:

— Ты что балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..

— А я через очки гляжу, я не в них.

— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же,— я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки,— забыла уж, когда занималась!

— А Настя что́ — учится?— спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежавшая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал, и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глядеть глаза, а Петрушка захрапел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро — он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся,— тихо говорила мать.— Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

— Не нужно нам его любви,— сказал отец.— Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала,— зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь!— громко воскликнула мать.— Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...

— Ну и что же!..— говорил отец.— У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно,— подумал он,— пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах!»

— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал!— сказала мать.— А от грамоты он тоже не отстанет.

— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать,— серчал отец.

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать твоих детей...

— Ну дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я не знаю... А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Неважно, он взамен другую готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша,— заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы.— Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а почему? А он отвечал им: потому, что ты добрый...

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей! И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться? Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша,— поэтому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись без его подарков, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь...

— Все это чепуха какая-то!— сказал отец.— Не задуривай ты меня... Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.

— Живи с нами, Алеша...

— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

— А вы какие?— с обидой спросила мать.— Что значит — все мы такие? Я не такая... Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет. Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь, Петрушка тоже мальчиком был... И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь

живет совсем один. «Можно,— спрашивает меня,— я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?». Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам бывало лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

— Ну дальше, дальше что?— поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так,— сказал отец.— Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не угомонятся,— думал Петрушка на печи,— помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

— А этот Семен любил тебя?— спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка? Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась,— по-доброму произнес отец.

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

— Это все равно — куда.

— Нет, не все равно, Алеша... Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя...

— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от

горя тряслись, а работать, надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печи соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе,— говорила мать.— А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...

— Это кто, опять Семен-Евсей этот?— спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный...

— Ну черт с ним, кто он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая»,— прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой, и с тобою отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой?— спросил отец.

— Один только раз,— сказала мать.— Больше никогда не была. А сколько нужно?

— Сколько хочешь, дело твое,— произнес отец.— Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно...

— Это правда, Алеша...

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей своих не пожалею!..

— Обожди!— сказал отец.— Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась.

— Я не пропала,— прошептала мать,— я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь! Где же твоя правда?

— Не знаю,— шептала мать.— Я мало чего знаю.

— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты,— проговорил отец.— Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома,— сказал он.— Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа,— сказал он сам себе.— Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша!— добрым голосом сказала мать.— Алеша, прости меня!

Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил,— догадался Петрушка,— а стекол нету нигде».

— Ты руку себе порезал,— сказала мать.— У тебя кровь течет, возьми полотенце в комоде.

— Замолчи!— закричал отец на мать.— Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась.

— Мама!— позвала она.— Можно, я к тебе?

Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петрушка сел на печи, спустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду,— ответила мать.— И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо?— заговорил Петрушка.

— А тебе какое дело — чего мне надо!— отозвался отец.— Ишь ты, сержант какой!

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, а масло Настьке отдает.

— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась?— жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша!— кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю!— говорил Петрушка.— Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего!— рассерчал отец.— Вот вырос у нас отросток.

— Я все дочиста понимаю,— отвечал Петрушка с печки.— Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

— Большую волю ты дома взял,— сказал отец.— Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина...

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, а он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет,— сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: чего у тебя один безрукий был, ты дура баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и еще на добавок Магдалинка была. А сам смеется. И тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон ее хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было и Магдалинки на добавок не было, солдат — сын отечества,

ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой!— размышлял отец о сыне.— Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по-правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место!— сказал Петрушка сестре.— Где мать-то, на работу ушла?

— На работу,— тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся?— Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате.— Он взял свой мешок?

— Он взял свой мешок,— сказала Настя.

— А что он тебе говорил?

— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

— Так-так,— сказал Петрушка и задумался.

— Вставай с пола,— велел он сестре,— дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно; значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня,— думал Иванов.— Она мне говорила, что все равно забуду ее, и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети; не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, павшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и бóльший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Бóльший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему.

И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у бóльшего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу,— от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА

Долго шла девятилетняя Наташа со своим меньшим братом Антошкой из колхоза «Общая жизнь» в деревню Панютино, а дорога была длиною всего четыре километра, но велик мир в детстве... Наташа попеременно то несла брата на руках, когда он жалостно поглядывал на нее от усталости, то ставила его обратно на землю, чтобы он шел своими ножками, потому что брат был кормлёный, тяжелый, ему уже сравнялось четыре года, и она умаривалась от него.

По обочинам жаркой, июльской дороги росла высокая рожь, уже склонившая голову назад к земле, точно колосья почувствовали утомление от долгого лета и от солнца и стали теперь стариками. Наташа с испугом вглядывалась в эту рожь, не покажется ли кто-нибудь из ее чащи, где обязательно кто-нибудь живет и таится, и думала, куда ей тогда спрятать брата, чтобы он хоть один остался живым. Если ему надеть свой платок на голову, чтобы Антошка был похож на девочку,— девочек меньше трогают,— тогда бы лучше было; или спрятать его в песчаной пещере в овраге, но оврага тут нигде не встречалось, он был около их колхозной деревни. И старшая сестра повязала брату платок на голову, а сама пошла простоволосая, так ей было спокойнее на душе.

Рожь медленно шумела около тихо бредущих по дороге детей. Безоблачное небо, туманное и бледное от пустой полуденной жары, казалось Наташе скучным, она вспомнила ночь со звездами над избою и двором, где она жила в колхозе вместе с отцом и матерью, и решила, что ночь бывает интересней и лучше; ночью поют в колхозе одни добрые кроткие сверчки, квакают лягушки в запруде и сопит бык, ночующий в скотном сарае,— мать выходит на крыльцо и зовет ее на разные голоса, как будто причитает: «Наташа, иди ужинать, тебе спать пора, чего ты звезды считаешь, завтра опять день настанет, успеешь еще пожить!»

Наташа крепче взяла Антошку за руку и побежала с ним мимо ржи, чтобы скорее увидеть избы деревни Панютино, где жили бабушка и дедушка. Но брат скоро уморился, он упал в пыль и заплакал, а Наташа не догадалась сразу оставить его руку и нечаянно проволокла Антошку немного по земле. Взяв брата снова на руки, утешив его от слез, Наташа взошла с ним

на возвышенность кургана. Здесь рожь росла низкая, потому что земля была худая, и отсюда было далеко видно, как идут поверху ржаных полей темные волны ветра и как светится льющийся воздух над озаренными полосами хлеба, которых сейчас не покрывала тень ветра. Наташа огляделась вокруг — когда ж будет Панютино? — и увидела крылья мельницы, подымающиеся из-за ее дальних хлебов и вновь уходящие в них. Девочке теперь стало не так страшно находиться под безлюдным солнцем, в грустном шуме ржи и в тишине ровного полуденного ветра, доброту которого она ясно чувствовала своим лицом и всем телом. Наташа вздохнула с утешением,— вон уже видна мельница, там мелют зерно, это, наверно, дедушка привез мешок; он знает, что придут внучка со внуком и надо испечь блины из новой муки; старая мука ведь уже вся вышла у них, и из нее плохо всходит тесто, а блины получаются не такие праховые и ноздреватые, как из свежего помола.

Наташа понюхала воздух: пахло соломой, молоком, горячей землею, отцом и матерью. Это было ей знакомо и мило, и девочка понесла брата дальше; он теперь обнял сестру вокруг шеи и дремал, свесив голову за плечо Наташи.

И они пошли вдаль по дороге, пролегающей во ржи. Вдруг Наташа вскрикнула и остановилась. Из глубины хлебов вышел к детям худой, бедный старичок с голым, ничем не заросшим, незнакомым лицом; ростом он был не больше Наташи, обут в лапти, а одет в старинные, холщовые портки, заплатанные латками из военного сукна, и он нес за спиной плетеную кошелку. Старик также остановился против детей. Он грустно поглядел на Наташу бледными, добрыми глазами, уже давно приглядевшимися ко всему на свете, снял шапку, сваляннную из домашней шерсти, поклонился и прошел мимо. «Нестрашный!— подумала Наташа про старика.— А пусть бы только тронул, я бы сама ему дала изо всех сил, он сразу бы умер... Некормленый, маломочный какой-то, наверно — нездешний!»

А старичок тот, отошедши ко ржи, осторожно посмотрел на миновавших его детей. Ему запомнилось лицо Наташи — ее серые, чуткие, задумчивые глаза, внимательно открытый, дышащий детский рот, полные щеки и светлые волосы, обгоревшие на солнце и иссушенные полевым ветром. «Хорошая будет крестьянка!»— решил старик. Теперь он старался разглядеть ребенка, которого несла девочка. «И этот на нее похож,— увидел прохожий.— Сомлел и спит. А что ему!»— и старик пошел прочь, уставившись глазами в земляной сор и мелкую траву на дороге. Когда он видел лица детей, ему хотелось или тотчас умереть, чтобы не тосковать по молодой, по будущей, счастливой жизни, или уже остаться жить на свете постоянно, вечно. Ему казалось, что настоящая охота жить только и приходит в старости, а в молодых годах этого понятия нет, тогда человек живет без памяти...

Больше всего старику было жалко детей, и он чувствовал, как от них входит в его сердце томительное, болящее счастье, все еще и до сей поры мало знакомое и не прожитое, будто оно было забыто за недосугом, но само по себе давно ожидало его.

Прохожий старик сел в тень, поближе к растущему хлебу, чтобы одуматься. «Еще чего!— прошептал он вслух.— Живи, старый человек, старайся! О-го-го, я еще кум королю! Чего мне,— тело мое цело, оно при мне, харчей полна изба, я не пьющий, не болящий!..» И старый человек с удовлетворением прилег около ржи, положив свою голову на кошелку. Ходить ему сейчас было жарко и незачем; бумагу в колхоз «Общая жизнь» он отнес аккуратно и теперь уморился, а время у него еще есть впереди: летний день велик, ко двору успеет воротиться. Уже задремав, старик все еще чувствовал сладость в сердце, вспоминая встреченных детей, прошедших молча и робко мимо него, но точно призвавших его к бессмертной, далекой жизни вместе с собою.

Душный ветер умолк над рожью — стало тихо, как перед грозою или перед великой сушью; и старик тоже умолк,— он уже спал, снедаемый мухами и муравьями, ползавшими по его ко всему притерпевшемуся лицу.

Дед и бабушка Наташи жили в деревянной избушке на краю деревни Панютино. От их дворового плетня начиналось общее ржаное поле, и туда, в это поле, уходила дорога, ведущая сначала в колхоз, где жила дочь стариков, мать Наташи, а затем дальше — в другие большие поля, заросшие хлебом и лиственными лесами, орошаемые светлыми реками, утекающими в теплое море... Бабушка Наташи, Ульяна Петровна, с самого утра время от времени выглядывала за ворота, не идет ли ее внучка со внуком. Она еще третьего дня наказала бабе-почтальонше, чтоб почтальонша непременно зашла к ее дочери в колхозе с тем, чтобы дочь отпустила внучку со внуком погостить в Панютино. «Должно, почтарка забыла к дочке зайти,— думала Ульяна Петровна, вглядываясь в пустую жаркую дорогу во ржи.— А ведь ей полтора трудодня за день пишут: ишь ты, льготная какая! Ходит, пыль подолом сгребает,— только и делов... Либо в совет пожаловаться на нее, что ль!.. Да чума с ней, пускай ходит-мечется, бестолковая!» — и бабушка закрыла калитку.

Еще с утра, спозаранку она наложила солому в печь, а белое тесто стояло со вчерашнего вечера, и бабушке уже два раза приходилось откладывать его из горшка в глиняную чашку — за ночь тесто взошло своим избытком через край. Все было готово, чтобы начать печь блины, но гости еще не пришли и свой старик как ушел с самого утра на озеро рыбу ловить, так и пропал. Наверно, опять сидит в кузнице и разговаривает не о деле. Им чего же: один врет, другой поддакивает; ведь ее

старик всему верит, ему лишь бы самому было жить интересно и удивительно, а как другие на самом деле живут, он не знает. Он только и ждет, только и надеется, что в мире случится что-нибудь: либо солнце потухнет вдруг, либо чужая звезда близко подлетит к земле и осветит ее золотым светом на вечное загляденье всем, или на бросовом, неудобном поле вырастет сама по себе сладкая, питательная трава, которая пойдет на пользу людям, и ее не нужно будет сеять, а только жать.

Ульяна Петровна посмотрела тесто и тяжко вздохнула: «Как я жизнь прожила с таким мужиком!.. Ему никогда ничего и не надо было, а всего-навсего сидеть где попало да беседовать с людьми о самой лучшей жизни, что будет и чего не будет, а дома смотреть на свое добро и думать — когда ж это в огне сгорит или в воде потонет, когда все переменится, чтоб ему нескучно было!.. А так он добрый, непривязчивый и меня терпит».

Бабушка старательно помешала чистое тесто: уже пора была из него печь блины, а то оно перестоится и закиснет.

Ульяна Петровна запалила солому в печке, но тут услышала, что на дворе закричал чужой петух, постоянно приходивший от соседей, чтобы бить петуха бабушки и пользоваться ее курами. Ульяна Петровна была ревнива к своему добру,— она схватила веник и пошла отогнать хищника. Прогнав петуха, бабушка оглядела улицу и дорогу, ведущую в ржаное поле — может, кто-нибудь покажется. Но не было никого, лишь волнами плыла жара по земле да старые привычные избы стояли по деревне и копались пыльные соседские куры в дорожной колее. Тогда Ульяна Петровна затворила калитку и пошла печь блины. Первый блин сразу получился хорошим — и недаром: уж сколько их испекла бабушка на своем веку,— они сами у нее румянились и обратно из огня просились, только есть их сейчас было некому. Сама Ульяна Петровна свою стряпню всегда ела последней; она брала себе остатки и поскребышки и пекла из них, что выходило, чтоб не пропадало добро,— вся пища была для нее одинаково хороша.

В окно кто-то слабо постучал с улицы. «Либо побирушка!— подумала бабушка.— Да они теперь уж и ходить перестали, а то бы я дала блин человеку,— нынче урожаи большие пошли, говорить нечего». Она вынула сковороду из огня, чтобы блин не подгорел, и пошла к окошку. В окно смотрела внучка Наташа; за спиной у нее, обхватив ручками шею сестры, находился Антошка, и он спал сейчас, положив большую голову в сестрином платке на плечо Наташи, так что девочка вся согнулась от тяжести брата; одной своей рукой она удерживала обнимавшие ее руки Антоши, чтоб они не разлучились, а другой ухватилась за его штанину, чтоб ноги мальчика не висели в воздухе и он не сползал вниз. Наташа прислонила брата ногами к завалинке, освободила свою руку и еще раз тихо постучала в окно.

— Бабушка,— сказала она,— отворяйте, мы к тебе в гости пришли.

Ульяна Петровна заметила, что Наташа, чем более подрастает, тем делается лучше и задумчивей с лица и все более походит на нее, когда бабушка была девушкой. Тронутая такой добротой жизни, которая снова повторила ее во внучке, чтобы каждый, посмотрев на Наташу, вспомнил бы Ульяну Петровну после ее смерти,— утешенная и довольная, бабушка сказала:

— Ах вы, бедные мои! Ну, идите в избу скорее, чем же мне жить-то, кроме вас!

В избе бабушка хотела уложить Антошку на кровать, но он потянулся и открыл глаза.

— Бабушка,— сказал он,— испеки нам блины. А то мы шли-шли...

— Да уж они давно готовы,— ответила бабушка.— Садись на лавку, я сейчас тебе новых испеку, старые остыли.

— И холодную квашонку давай,— попросила Наташа,— мы в нее блины будем макать.

— Сейчас, сейчас... Сейчас я у печки управлюсь и в погреб схожу,— говорила бабушка,— а потом оладушек вам наделаю, чаю согрею, а дедушка придет — обедать будем; я квасу вчера поставила, холодец сварила: чего же еще надо-то!..

— Еще варенье земляничное и грибы,— сказала Наташа.

— И то, милая, и то, а то как же!— вспомнила Ульяна Петровна и пошла в выход за припасами, обрадованная, что добра у нее много и есть кого кормить.

В избе пахло горячей землей, сытными печеными блинами и дымом, а за окном светило солнце над незнакомой травою чужой деревни.

— Не сопи!— сказала Наташа Антошке.— Ты к бабушке в гости пришел, чего ты сопишь? Дай я тебе нос вытру...

Антошка умолк, он перестал сопеть и лишь понемножку дышал, сидя на лавке у пустого стола. Наташа заглянула в бабушкину светлую горницу. Там было чисто, скучно, две жирные мухи бились в оконное стекло, жужжа жарким жалящим звуком; большая керосиновая лампа висела над столом, убранным вышитой скатертью, как на праздник, кто-то стучал по сухой бочке далеко на деревне, нагоняя обруч, и заунывная жара светила в окно. Наташа подошла к углу, оклеенному газетами и картинками, чтобы посмотреть и почитать, что там есть. Одна картинка изображала дедушку, он был снят на карточке. Дедушка был молодым, с черными усами, в брюках, в жилетке, с цепочкой часов на груди, волосы на его голове были гладкие, как облизанные, и он был весь как богатый или городской, или как тракторист осенью, и глаза дедушки смотрели задумчиво вдаль по-умному... Дедушка сидел на голой высокой скамейке, сделанной из кирпичей или камня, как памят-

ник; одна нога дедушки доставала до земли, а другая нет, и он сидел неохотно, как будто нечаянно, не замечая вовсе, что на земле возле него валяется гитара, повязанная бантом. Позади дедушки росла роща, и в той роще был еще белый дом, красивый и большой, как Дворец пионеров, но дедушка не смотрел на него. Он поднял одну свою руку, в которой был револьвер, приставил револьвер к голове и держал его там, готовясь убиться, а другая его рука была положена на колено, где находился конверт с письмом, глаза же дедушки смотрели вперед хотя и задумчиво, но весело... Что ж это такое? Наташа еще не знала такой жизни больших людей...

Она села на стул у стола со скатертью и стала разглядывать рисунок вышивки; у них дома такой скатерти не было, а им и не надо: мать Наташи каждый день моет стол и скребет его ножом; у них и так чисто и хорошо. Петухи закричали на деревне, сначала один, потом другой и сразу все, и наседки заквохтали, собирая поближе к себе цыплят, поднялся ветер на дороге и понес душную пыль в пустые места.

— Наташка, меня мухи едят, иди сюда,— позвал сестру Антошка из другой комнаты.

— Пусть едят, сейчас приду,— ответила Наташа.

Она подошла к окну и прислонилась лицом к стеклу; ей хотелось увидеть на улице что-нибудь знакомое или родственное, как у них в колхозе были ей знакомы плетни, трава и деревья. Но под окном бабушки рос один только маленький куст; его листья были покрыты пылью, он слабо шевелил ветвями, он истомился от жары и суши и жил точно во сне.

— Отведи меня домой, я к маме хочу,— попросился Антошка.

Наташа вернулась к брату; он сидел скучный и оробевший.

— Я хочу к нам, домой,— сказал он.— Не надо блины, я кашу буду, ее мама вчера варила...

Наташа взяла один остывший блин с загнетки и спрятала его себе за пазуху.

— А то ты в дороге есть захочешь, ты всегда не вовремя просишь,— сказала Наташа брату и подняла его к себе на руки.

Бабушка еще была в погребе; низкая обомшелая дверь, ведущая в выход, обложенный сверху дерном, была открыта; старуха там говорила что-то себе на утешение и двигала кладью, доставая, наверно, варенье из потайной посуды. Наташа подошла к выходу и поглядела, куда скрылась бабушка. В погребе было темно, ничего не видно, и бабушка бормотала во тьме свои слова,— должно быть, о том, что ей не хочется умирать, но она и так все время живет и живет.

Чтобы не загреметь калиткой (она еще вдобавок жалобно скрипела в петлях, будто ей было больно отворяться), Наташа,

прижав к себе брата, направилась по тропинке на картофельный огород и оттуда через прясло вышла к ржаному полю.

Рожь росла тихо. В жаре и безмолвии колосья склонились обратно к земле, словно они уснули без памяти, и тень тьмы нашла на них с неба и покрыла их на покой. Наташа оглянулась в незнакомом поле, желая увидеть, что застило солнце. Дальняя молния в злобе разделила весь видимый мир пополам, и оттуда, с другой стороны, что за деревней Панютино, шел пыльный вихрь под тяжкой и медленной тучей; там раздался удар грома, сначала глухой и нестрашный, потом звук его раскатился и, повторившись, дошел до Наташи так близко, что она почувствовала боль в сердце.

Наташа вошла в рожь, чтобы спрятаться с Антошкой. Она хотела было наискось пробежать по ржи к дороге и по той дороге уйти от тучи домой к отцу и матери, но затем передумала, потому что боялась помять хлеб, и пошла по обочине ржи. Антошка уже заметил все, что делается вдали — и тучу, и вихрь, и молнию; он прижался к сестре и спрятал свою голову около ее горячей шеи, как у матери.

Наташа вышла на дорогу и побежала по ней домой от бабушки. У Антошки болтались ноги, он бил ими нечаянно по сестре, но старался сидеть спокойно и крепко держался,— больше ему сейчас некуда было деться.

Наташа спешила изо всех сил, ей лишь хотелось бы только донести Антошку домой, чтобы их не застала буря и гроза в чистом поле. Но рожь все еще была тихой, ветер сюда не дошел,— и, может быть, все обойдется, может быть, страшная туча истратится вся в дальнем месте и после нее откроется ясное прохладное небо. Наташа приостановилась, послушала, как все было смирно и сонно вокруг нее, как сухо звенели кузнечики, утихая постепенно, потому что тень и тишина все более покрывали землю и кузнечики думали, что наступает ночь, а затем Наташа пошла вперед помаленьку, Антошка молчал; он боялся того, что с ним будет теперь, но его интересовали туча и молния, и он хотел, чтобы случилось что-нибудь страшное, а он бы посмотрел, но только не умер. Антошка глядел через плечо сестры назад, на деревню, он еще видел избушку бабушки, и можно было туда вернуться, но он зажмурил глаза, испугавшись, что рожь вдалеке, начиная от бабушкина двора, вдруг пригнулась и полегла — на нее нашла буря.

— Наташка, спрячь меня поскорее куда-нибудь,— сердито сказал Антошка,— иль ты не видишь, что такое делается, полоумная какая!

— Дай вот домой дойти, я тебя там нашлепаю,— пообещала брату Наташа.

— Мы домой не дойдем, нас гром убьет,— прошептал Антошка.— Неси меня скорее, опять ты шагом идешь! Ты бежи!

Вихрь настиг детей и ударил в них песком, землей, листья-

ми, стеблями травы и деревенским сором. Наташа спряталась с братом в рожь и села там на землю; но ветер пригнетал рожь столь низко, что Наташа временами видела дом бабушки, деревню и то, что было далеко в полях и на небе.

Вместе с вихрем, сквозь его горячую пыль, пошел град и стал бить в хлеб, в землю и в Наташу с Антошкой по ее непокрытой голове; тогда она сейчас же укрыла Антошку собою, прилегши на него сверху, и спрятала прежде всего его голову в своих объятиях, тесно прижав всего брата к своему телу. Град бил по Наташе, по ее голове и по спине, но она молчала, зная, что Антошке теперь не больно и хорошо; он даже шевелился под нею немного, рассматривая там землю около ржаных корней и в старой пахоте.

Град переменился на крупный прохладный дождь. Антошка соскучился прятаться под сестрой, ему хотелось посмотреть, что делается наружи, хотелось намокнуть на дожде, и он сказал Наташе:

— Пусти меня, я выглянуть хочу.

— Лежи, а то тебя громом убьет,— ответила Наташа.

— Нет, он мимо,— сказал Антошка и вывернулся из-под сестры.

Наташа села и взяла на колени брата, укрыв руками его голову от ветра и дождя. Антошка приподнялся ногами на коленях Наташи и посмотрел вокруг, что где есть, терпеливо жмурясь от бури, от колосьев и водяных капель, бьющих его по лицу. Он увидел черное, близкое, бегущее небо, а ниже его неподвижно висели серые облака, опустившие из себя длинные волосы ливня, сдуваемые бурей в пустую сторону, как космы у нищей старухи, и эти облака быстро меняли свое тело, таяли и переставали жить на глазах у Антошки. Он решил подождать,— что еще будет,— но сестра велела ему спрятаться поближе около нее, а она согнется и сохранит его. Антошка хотел было и вправду зажмуриться и уткнуться головой в большую сестру, где у нее было тепло и сухо, но там ему было скучно, а здесь он все видел, и он, не послушав сестры, стал смотреть на небо и на землю еще лучше. Однако колосья ржи мешали ему видеть далеко, поэтому Антошка попросил Наташу, чтоб она подняла его высоко на руки, а он будет глядеть.

Наташа сняла с его головы свой платок, спрятала его себе за пазуху, вытерла рукавом платья мокрую голову Антошки и дала ему по затылку.

— Остудишься,— сказала она.— Ишь ты, бес какой: глядеть ему надо на вихрь! Я вот маме скажу, она тебя хлопнет по башке.

Антошка хотел ответить, что мать его по голове не бьет, а отец бьет только по лбу, но задохнулся от удара бури, от которой сразу полегла вся рожь и далеко стало видно вокруг, что там было сейчас. Антошка увидел деревню бабушки и луга за

деревней, уже по ту сторону речки, в синем свете грозы и в ветре, и под ветром бежала к нему испуганная дрожащая трава.

Дождь вдруг перестал идти, но ветер дул по-прежнему, набравшись силы в пустых местах полей. И хотя теперь на земле должно быть темно от страшной тучи, однако все было видно, только свет стал другой,— он был бледно-синий и желтый, но чистый и кроткий, как во сне; это светились травы, цветы и рожь своим светом, и они сейчас одни освещали поля и избы, потемневшие было под тучей, и сама туча была озарена снизу светлой землей. Увидя целыми и живыми траву, хлеб и избы, Антошка и сам тоже перестал бояться тучи и молнии.

Ветер упал, стало тихо повсюду, но тяжелая рожь более не поднялась. Антошка поглядел туда, где живет бабушка, и он увидел ее. Бабушка вышла на высокое крыльцо избы, что выходило во двор, и осмотрелась в непогоде. Она тревожилась о пропавших внуках. «Аль уж они соскучились у меня?— думала она.— Да где уж тут скучать, ведь они только пришли: не пора еще! Наверно, чужую деревню пошли поглядеть, сейчас назад явятся. Кабы их вот дождь не замочил — ишь темноты наволокло сколько!» О своем старике дедушке Ульяна Петровна не беспокоилась. Он теперь все равно не придет, пока гроза не начнется и не кончится: он на молнию будет глядеть.

— Пойти кур покликать, пусть в сарае побудут,— решила Ульяна Петровна, но тут же присела от удара грома, близко повторившегося, затем еще несколько раз, так что слабая дверь в избу сама отворилась и затворилась (если бы хозяин больше заботился о своем доме, дверь не стала бы распахиваться от одного звука), а бабушка как села, так и не встала, пока гром окончательно не угомонился, пока не утихли самые дальние его раскаты.

Антошка увидел молнию, вышедшую из тьмы тучи и ужалившую землю. Сначала молния бросилась вниз далеко за деревней, но там ей было плохо или некуда было ударить, потому что молния подобралась обратно в высоту неба, и оттуда она сразу убила одинокое дерево, что росло посреди сельской улицы, около деревянной закопченной кузницы. Дерево вспыхнуло синим светом, точно оно расцвело, а затем погасло и умерло, и молния тоже умерла в дереве.

От накатившего грома зашевелилась полегшая рожь, а бабушка опустилась совсем на крыльцо и перестала ходить по хозяйству туда-сюда, и Антошка засмеялся на бабушку, что она боится.

Вслед за молнией на землю пролился дождь, густой и скорый, так что стало сумрачно вокруг, и бабушки уже не было видно за шумной мглой дождя. Но высокая молния снова осветила рожь и деревню, и тогда Антошка увидел черный дым и красный огонь в середине дыма, который медленно подымался из-под крыши старой кузницы, но огонь не мог разогреться, по-

тому что его заливал дождь. Антошка понял, что молния, убив дерево, сама не умерла, но прошла через корни дерева в кузницу и снова стала огнем.

Наташа обхватила брата, прижала его к себе, как сумела, и вышла с ним изо ржи на дорогу; она хотела бежать поскорее обратно к бабушке, чтобы спрятать Антошку от дождя и молнии, но дождь перемежился, капли стали падать редко, опять начало парить теплом в воздухе, и снова было душно и скучно около чужой деревни. Наташа остановилась на дороге и опустила брата наземь.

Крыша кузницы теперь занялась живым огнем; пламя сушило намокшие доски и горело. Уже бежали люди на деревенский пожар, иные с ведрами воды, а другие с топорами, и скрипел ворот в ближнем колодце, а некоторые крестьяне стояли в отдалении у своих дворов и ничего не делали,— наверно, они думали, что пожар обойдется и перестанет сам по себе, потому что главная, большая туча, богатая грозой и ливнем, лишь подходила к деревне Панютино: она сейчас была за рекою, черная до синевы, тучная и тихая, и в ней сверкали молнии, но гром их был еще не слышен.

Оттуда, из-за реки, шла страшная, долгая ночь; в ней можно умереть, не увидев более отца с матерью, не наигравшись с ребятами на улице около колодца, не наглядевшись на все, что Антошка видел у отцовского двора. И печка, на которой Антошка спал с сестрой в зимнее время, будет стоять пустой. Ему было жалко сейчас смирную корову, приходящую каждый вечер домой с молоком, невидимых сверчков, кличущих кого-то перед сном, тараканов, живущих себе в темных и теплых щелях, лопухов на их дворе и старого плетня, которые, наверно, скучали по нем и ожидали его. И вот он живет среди них, чтоб они все были рады, и не хочет помереть, чтоб они опять не скучали.

Антошка прижался к сестре и заплакал от страха. Он боялся, что горит кузница, идет туча и снова сверкает гроза, которая ищет землю, чтобы убить дерево и зажечь их старую избу в колхозе. Приникнув к сестре, Антошка почувствовал, что она пахнет так же, как пахло все в их избе — и хлеб, и сени, и деревянные ложки, и подол матери.

Наташа осмотрелась вокруг. Она увидела, что туча еще далеко и она успеет уйти с Антошкой домой.

— На, трескай,— сказала она и, вынув из-за пазухи остывший блин, дала его брату.

Антошка сел к сестре за спину, обхватив одной рукой Наташу за горло, стал жевать блин и скоро сжевал его весь целиком; сестра же все время бежала домой, стараясь не упасть под тяжестью брата.

Она бежала в сумраке наступающей темной тучи между двумя стенами молчаливой ржи. Антошка смотрел на склонен-

ные колосья и понимал, что это растет хлеб, первое добро жизни, чем держатся люди.

Тьма и туча, однако, вскоре догнали детей и нашли на них. Опять начался дождь, и после каждого раздраженного света молнии, после каждого удара грома дождь шел все более густо и скоро. Из тьмы неба теперь проливался сплошной поток воды, который бил в землю с такой силой, что разрушал и разворачивал ее, словно дождь пахал поле.

Наташе стало трудно дышать в гуще ливня; она пересадила Антошку со спины к себе на руки, чтобы в него меньше попадал дождь и чтобы молния сверху сперва не ударила в него, и снова побежала вперед.

Чаща ливня срасталась перед нею все более непроходимо, даже идти шагом было сейчас трудно и больно, будто детей окружал сумрачный, твердый и жесткий лес, обдирающий их тело до костей.

Шум ливня заглушал удары грома, только молнии были видны. Иногда молний было столько много, что они сливали свой свет в долгое сияние, но это сияние освещало лишь бугры могучего мрака на небе, отчего было еще страшнее.

Наташа измучилась вся; она остановилась и опустила вымокшего Антошку на землю. Сейчас она не знала, что ближе: мать с отцом или бабушка, сколько она отошла от бабушкиной деревни и сколько осталось идти домой.

Наташа села возле ржи и изо всех сил прижала к себе Антошку. Но ей подумалось, что вдруг Антошка помрет, а она одна уцелеет,— и тогда Наташа закричала криком, как большая женщина, чтоб ее услышали и помогли.

Но маленький брат ее, посидев немного под дождем, сказал сестре:

— Давай яму копать, мы туда спрячемся и проживем. Ты гляди, тут песок... Не плачь, а то я боюсь без тебя...

Вымокшие, похудевшие дети стали рыть себе руками яму подле ржи, где была легкая почва. Но, вырыв небольшое углубление, брат и сестра увидели, что сильный дождь дальше сам копает им яму и своею силой вымывает и уносит ручьем песчаную землю, однако спрятаться им туда было нельзя.

Наташа и Антошка притаились под ливнем на голой земле, сжавшись и укрывая руками свои головы.

— Зачем ты меня к бабке-старухе в гости водила?— сказал Антошка сестре.— Дома лучше всего сидеть, я люблю дома... А ты девка-гулёна!

— Знай помалкивай лучше!— приказала Наташа.— Кто велел поскорей от бабушки домой идти? Я и блинов ничуть не покушала.

— Я у бабки соскучился,— смирно произнес Антошка.

Молния засветилась и вздрогнула несколько раз совсем рядом с Наташей и Антошкой, где-то в ближней полегшей ржи.

Брат и сестра, боясь грома, загодя схватились руками друг за друга и прильнули лицами один к другому,— Антошка к груди сестры, а она к его плечу, чтобы ничего больше не видеть. Но в шуме ливня гром прозвучал нестрашно.

— Опять мимо,— сказал Антошка.

Дети давно продрогли от дождя и теперь прижимались друг к другу, желая согреться; они уже начинали привыкать мучиться, и им дремалось ко сну.

— Вы ктой-то?— хрипло спросил их близкий, чужой голос.

Наташа подняла голову от Антошки. Склонившись на колени, возле них стоял худой старичок, с незнакомым, ничем не обросшим лицом, которого они встретили нынче, когда шли в гости к бабушке. Сейчас этот дедушка, хранясь от дождя, надел кошелку на голову.

— Сморились аль испугались, что ль?— спросил у Наташи старик, подвигаясь к детям еще ближе, чтоб они его слышали.

— Нам боязно стало,— сказала Наташа.

— Да как же не боязно-то?— согласился прохожий человек.— Ишь жуть какая и льется, и гремит, и сверкает. Я-то ведь не боюсь от старости лет, от глупости, а вам чего же: вы бойтесь, вам это надо.

— А мы уж привыкли бояться,— произнесла Наташа.— Теперь нам не страшно. А ты сам кто, ты откуда?

— Я — дальний,— ответил старичок.— Верст двадцать отсюда будет, племхоз «Победа», не слыхали?.. А я оттуда, я там по племенному делу рассыльным агентом служу: куда что пошлют, что скажут — я готов. А нынче в колхоз «Общая жизнь» ходил: мне велели сказать, чтоб колхоз племенного бычка себе взял. Им бык полагается. Пускай погонщика шлют.

— Сказал?— спросила Наташа.

— Сказал. А сейчас вот назад ворочаюсь.

Антошка встал на ноги и с интересом детства рассматривал чужого маленького деда, стоявшего на вымокшей земле на коленях, с кошелкой на голове. Ливень перешел в сплошной частый дождь с пузырями, и молнии вспыхивали уже далеко в стороне, откуда гром не успевал доходить сюда, умариваясь в дороге.

— Ну, иди, нам быка давно в колхоз надо,— сказала Наташа.

Старик молча глядел на детей под сумрачным долгим дождем.

— Сейчас тронусь,— неохотно произнес он.— Мне пора.

Дед встал с земли и стал заправляться в дальнюю дорогу. Он крепко привязал свою кошелку обратно за спину и снял шапку с головы.

— Вам не дойти,— сказал старик детям.— Там дорогу теперь распустило, там земля густая, добрая, а дождь опять, того гляди, припустится...

Он надел свою шапку на голову Антошки и, согнувшись, касаясь руками земли, велел ребенку полезать к нему в кошелку за спиной, а там сидеть и держаться. Антошка сейчас же забрался туда, и ему стало в кошелке мягко и хорошо.

— А куда ты понесешь-то его?— быстро спросила Наташа, готовясь изо всех сил вцепиться в лицо старика.— Тебе кто наказал его брать?

— Понесу к отцу-матери его, куда ж еще!— ответил дед.— На ваш колхоз. И тебя туда же.

Старик еще раз пригнулся, взял Наташу себе спереди на руки и пошел под дождем по дороге на «Общую жизнь», унося на себе двоих детей.

— Ты не бойся,— сказала Наташа брату, удобно сидевшему в кошелке против нее.— Я за ним буду глядеть.

— Он не как ты, он сильный,— сказал сестре Антошка.

У старика надулись жилы на шее, он сгорбился, дождь и пот обмывали его тело и лицо, но он шел привычно и терпеливо по грязи и по воде.

Дети молчали, ожидая, когда увидят свою избу в колхозе. Наташа боялась про себя, что, может быть, их двор уже сгорел от молнии. Старик из сбереженья сил тоже ничего не говорил, лишь однажды он прошептал про себя:

— Спасибо — град не пошел. Он бывает с голубиное яйцо — побил бы детей.

Дождь лил мелкими, частыми каплями; грозы уже не было. И вскоре Наташа увидела сквозь дождь прясло крайнего двора своего колхоза; здесь жили Чумиковы. Она не знала, что колхоз их так близко, и она улыбнулась от радости. Значит, все было цело и пожара нет, а то бы люди бежали на пожар. А может быть, их дом уже сгорел и потух,— и Наташа опять загорюнилась.

Но вон ветла стоит,— она растет около дома Наташи, она жива; вон соломенная крыша на ихней избе и труба с железным петушком... Наташа отвернула свое лицо от Антошки и осторожно терла его рукавом от дождя и слез.

Около отцовского двора Наташа спрыгнула на землю, Антошку же старик внес в кошелке за спиной в самые сени избы.

В горнице родителей Наташи, пережидая дождь, сидело много людей. Отец Наташи угощал их чаем с сеяным хлебом и наложил полную сахарницу колотого сахара. Здесь был председатель колхоза Егор Ефимович Провоторов, дедушка — муж бабушки — и незнакомый человек.

Мать Наташи раздела дочь и Антошку и дала им на смену сухую одежду, обещая, что больше никуда их в гости сроду не пустит. А старичок, выжав с себя немного воды в сенях, уже сидел за столом в горнице, пил чай и рассказывал, как было дело. Егор Ефимович его знал,— старик из племхоза только что был у него нынче относительно быка.

— Как же так!— сказал Егор Ефимович, председатель, говоря отцу Наташи.— На дворе гроза, ливень, буря была, а ты детей в Панютино послал?

— Они ушли — еще вёдро было,— тихо ответил отец.

— А после вёдра враз буря нашла и гроза,— говорил Егор Ефимович,— а ребятишки могли не успеть добежать до Панютина. Вишь ты как! А мы сидим здесь второй час, балакаем, а ты и не вспомнил про девчонку с мальчишкой ни разу.

— Чего зря говорить!— с досадой ответил отец.— Не сталось с ними ничего, целыми пришли.

— Да это-то хоть так!— согласился председатель и поглядел на Антошку с Наташей, которые теперь стояли у притолоки и глядели на гостей; мать их уже переодела во все чистое и сухое, и им было сейчас опять хорошо жить.— И родной дед, старый долдон,— говорил председатель,— знает, что к нему внук со внучкой в гости пошли, так он сам по грозе к зятю чай пить пришел и сидит — не беспокоится...

Дедушка Наташи молчал, и все другие люди тоже.

— Я спозаранку сюда в кооператив явился,— промолвил дедушка.— Хотел крючок сазаний купить, и к вашему шорнику у меня дело было, мы с ним кумовья... А в нашей многолавке нет тебе никаких крючков — вся рыба в реке цела живет, а мои снасти никуда стали. Думал в вашем кооперативе поджиться...

— Дело прошлое,— мирно произнес Егор Ефимович.— Дай-ка мне назад документ в племхоз, что я тебе давеча дал,— и председатель протянул руку к отцу Наташи.

Отец несмело выдал председателю бумагу.

— Гляди, Ефимыч, бык племенной, с ним надо уметь,— сказал отец.— Аль и быка теперь не доверяешь, что мои ребятишки намокли?

— Пока нет,— ответил председатель,— не доверяю.

— Так кто ж тебе погонит-то?— интересовался отец.— В колхозе, кроме меня, едва ли кто отвечать за такое дело возьмется...

— А я вон с ним, может, слажусь,— указал председатель на старичка из племхоза, хлебавшего чай внакладку.

— Право твое,— согласился отец.— Ишь ты — какой бдительный! Иль заботу о малолетних кадрах почувствовал? Но бык дело одно, а девчонка с мальчишкой — совсем другое.

— Верно,— произнес председатель, пряча документ к себе, прочитав его весь снова.— Ребятишки — дело непокупное, и для сердца они больны, как смерть, а бык не то, быка и второй раз можно за деньги купить...

— Ух ты, во, гляди-ко!— с радостью всей своей души сказал вдруг старичок из племхоза и, отодвинув блюдце, нечаянно бросил себе в рот еще кусок сахара.

Он перестал пить чай и засмотрелся на председателя, рыже-

ватого крестьянина лет сорока пяти, медленно глядящего на свет серыми, думающими глазами.

Наташе с Антошкой надоело слушать разговор, и они вышли на крыльцо.

Дождь еле-еле капал. Стало смирно и сумрачно кругом повсюду; листья деревьев и трав, уморившись, висели спящими до будущего утра. Лишь далеко-далеко, в чужих и темных полях, вспыхивали зарницы, точно это смежались глаза у усталой тучи.

— Давай опять завтра к бабке в гости пойдем,— сказал Антошка сестре.— Я не боюсь теперь. Я люблю грозу.

Наташа ничего не ответила брату. Ведь он еще маленький, измученный, и ругать его нельзя.

Мать отворила дверь и позвала своих детей есть. Мать уже сварила для них картошку и полила ее сверху яйцами, а потом сметаной. Пусть дети растут и поправляются.

ЕЩЕ МАМА

— А я, когда вырасту, я в школу ходить не буду!— сказал Артем своей матери, Евдокии Алексеевне.— Правда, мама?

— Правда, правда,— ответила мать.— Чего тебе ходить!

— Чего мне ходить? Нечего! А то я пойду, а ты заскучаешь по мне. Не надо лучше!

— Не надо,— сказала мать,— не надо!

А когда прошло лето и стало Артему семь лет от роду, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артем хотел было уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из ее руки; рука у матери теперь была твердая, а прежде была мягкая.

— Ну что ж!— сказал Артем.— Зато я домой скоро приду! Правда, скоро?

— Скоро, скоро,— ответила мать.— Поучишься чуть-чуть и домой пойдешь.

— Я чуть-чуть,— соглашался Артем.— А ты по мне дома не скучай!

— Не буду, сынок, я не буду скучать.

— Нет, ты немножко скучай,— сказал Артем.—Так лучше тебе будет, а то что! А игрушки из угла убирать не надо: я приду и сразу буду играть, я бегом домой прибегу.

— А я тебя ждать буду,— сказала мать,— я тебе оладьев нынче испеку.

— Ты будешь ждать меня?— обрадовался Артем.— Тебе ждать не дождаться! Эх, горе тебе! А ты не плачь по мне, ты не бойся и не умри смотри, а меня дожидайся!

— Да уж ладно!— засмеялась мать Артема.— Уж дождусь тебя, милый мой, авось не помру!

— Ты дыши и терпи, тогда не помрешь,— сказал Артем.— Гляди, как я дышу, так и ты.

Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там, в конце улицы, стояла новая большая рубленая школа — ее целое лето строили,— а за школой начинался темный лиственный лес. До школы отсюда еще было далеко, до нее протянулся долгий порядок домов — дворов десять или одиннадцать.

— А теперь ступай один,— сказала мать.— Привыкай один ходить. Школу-то видишь?

— А то будто! Вон она!

— Ну иди, иди, Артемушка, иди один. Учительницу там слушайся, она тебе вместо меня будет.

Артем задумался.

— Нету, она за тебя не будет,— тихо произнес Артем,— она чужая.

— Привыкнешь, Аполлинария Николаевна тебе как родная будет. Ну, иди!

Мать поцеловала Артема в лоб, и он пошел далее один.

Отошедши далеко, он оглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артему хотелось заплакать по матери и вернуться к ней, но он опять пошел вперед, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать Артема, взять его за руку и вернуться с ним домой, но она только вздохнула и пошла домой одна.

Вскоре Артем снова обернулся, чтобы поглядеть на мать, однако ее уже не было видно.

И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и защемил клювом штанину у Артема, а заодно захватил и живую кожу на его ноге. Артем рванулся прочь и спасся от гусака. «Это страшные дикие птицы,— решил Артем,— они живут вместе с орлами».

На другом дворе были открыты ворота. Артем увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями, животное стояло к Артему хвостом, но все равно оно было сердитое и видело его.

«Ктой-то это?— подумал Артем.— Волк, что ли?» Артем оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать,— и не видать ли ее там, а то этот волк побежит туда. Матери не было видно, она уже дома, должно быть, это хорошо, волк ее не съест. Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскалило на Артема пасть с зубами.

Артем узнал собаку Жучку.

— Жучка, это ты?

— Р-р-р!— ответила собака-волк.

— Тронь только!— сказал Артем.— Ты только тронь! Ты знаешь, что тебе тогда будет? Я в школу иду. Вон она виднеется!

— Ммм,— смирно произнесла Жучка и шевельнула хвостом.

— Эх, далече еще до школы!— вздохнул Артем и пошел дальше.

Кто-то враз и больно ударил Артема по щеке, словно вонзился в нее, и тут же вышел вон обратно.

— Это ктой-то еще?— напугался было Артем.— Ты чего дерешься, а то я тебе тоже... Мне в школу надо. Я ученик — ты видишь!

Он поглядел вокруг, а никого не было, один ветер шумел павшими листьями.

— Спрятался?— сказал Артем.— Покажись только!

На земле лежал толстый жук. Артем поднял его, потом положил на лопух.

— Это ты на меня из ветра упал. Живи теперь, живи скорее, а то зима настанет.

Сказавши так, Артем побежал в школу, чтобы не опоздать. Сначала он бежал по тропинке возле плетня, да оттуда какой-то зверь дыхнул на него горячим духом и сказал: «Ффурфурчи!»

— Не трожь меня: мне некогда!— ответил Артем и выбежал на середину улицы.

На дворе школы сидели ребята. Их Артем не знал, они пришли из другой деревни, должно быть, они учились давно и были все умные, потому что Артем не понимал, что они говорили.

— А ты знаешь жирный шрифт? Ого!— сказал мальчик из другой деревни.

А еще двое говорили:

— Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал!

— А мы их прошли уже. Мы птиц учили до кишок!

— Вы до кишок только, а мы всех птиц до перелета проходили.

«А я ничего не знаю,— подумал Артем,— я только маму люблю! Убегу я домой!»

Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница Аполлинария Николаевна и сказала, когда отзвенел звонок:

— Здравствуйте, дети! Идите сюда, идите ко мне.

Все ребята пошли в школу, один Артем остался во дворе.

Аполлинария Николаевна подошла к нему:

— А ты чего? Оробел, что ли?

— Я к маме хочу,— сказал Артем и закрыл лицо рукавом.— Отведи меня скорее ко двору.

— Нет уж, нет!— ответила учительница.— В школе я тебе мама.

Она взяла Артема под мышки, подняла к себе на руки и понесла.

Артем исподволь поглядел на учительницу: ишь ты, какая она была,— она была лицом белая, добрая, глаза ее весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая. И пахло от нее так же, как от матери, теплым хлебом и сухою травой.

В классе Аполлинария Николаевна хотела было посадить Артема за парту, но он в страхе прижался к ней и не сошел с рук. Аполлинария Николаевна села за стол и стала учить детей, а Артема оставила у себя на коленях.

— Эк ты, селезень толстый какой на коленях сидит!— сказал один мальчик.

— Я не толстый!— ответил Артем.— Это меня орел укусил, я раненый.

Он сошел с коленей учительницы и сел за парту.

— Где?— спросила учительница.— Где твоя рана? Покажи-ка ее, покажи!

— А вот тута!— Артем показал ногу, где гусак его защемил.

Учительница оглядела ногу.

— До конца урока доживешь?

— Доживу,— обещал Артем.

Артем не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно на далекое белое облако; оно плыло по небу туда, где жила его мама в родной их избушке. А жива ли она? Не померла ли от чего-нибудь — вот бабушка Дарья весною враз померла, не чаяли не гадали. А может быть, изба их без него загорелась, ведь Артем давно из дому ушел, мало ли что бывает.

Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него:

— А ты чего, Федотов Артем, ты чего думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь?

— Я пожара боюсь, наш дом сгорит.

— Не сгорит. В колхозе народ смотрит, он потушит огонь.

— Без меня потушат?— спросил Артем.

— Без тебя управятся.

После уроков Артем первым побежал домой.

— Подожди, подожди,— сказала Аполлинария Николаевна.— Вернись назад, ты ведь раненый.

А ребята сказали:

— Эк, какой — инвалид, а бегает!

Артем остановился в дверях, учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собою. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах у Аполлинарии Николаевны пахло цветами, тихо звенела посуда в шкафу, и всюду было убрано чисто, хорошо.

Аполлинария Николаевна посадила Артема на стул, обмыла его ногу теплой водой из таза и перевязала красное пятнышко — щипок гусака — белой марлей.

— А мама твоя будет горевать!— сказала Аполлинария Николаевна.— Вот горевать будет!

— Не будет!— ответил Артем.— Она оладьи печет!

— Нет, будет. Эх, скажет, зачем Артем в школу нынче ходил? Ничего он там не узнал, а пошел учиться — значит, он маму обманул, значит, он меня не любит, скажет она и сама заплачет.

— И правда!— испугался Артем.

— Правда. Давай сейчас учиться.

— Чуть-чуть только,— сказал Артем.

— Ладно уж, чуть-чуть,— согласилась учительница.— Ну, иди сюда, раненый.

Она взяла его к себе на руки и понесла в класс. Артем боялся упасть и прильнул к учительнице. Снова он почувствовал

тот же тихий и добрый запах, который он чувствовал возле матери, а незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были несердитые, точно давно знакомые. «Не страшно»,— подумал Артем.

В классе Аполлинария Николаевна написала на доске одно слово и сказала:

— Так пишется слово «мама».— И велела писать эти буквы в тетрадь.

— А это про мою маму?— спросил Артем.

— Про твою.

Тогда Артем старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что и на доске. Он старался, а рука его не слушалась; он ей подговаривал, как надо писать, а рука гуляла сама по себе и писала каракули, не похожие на маму. Осерчавши, Артем писал снова и снова четыре буквы, изображающие «маму», а учительница не сводила с него своих радующихся глаз.

— Ты молодец!— сказала Аполлинария Николаевна.

Она увидела, что теперь Артем сумел написать буквы хорошо и ровно.

— Еще учи!— попросил Артем.— Какая это буква: вот такая — ручки в бочки?

— Это Ф,— сказала Аполлинария Николаевна.

— А жирный шрифт что́?

— А это такие вот толстые буквы.

— Кормлёные?— спросил Артем.— Больше не будешь учить — нечему?

— Как так «нечему»? Ишь ты какой!— сказала учительница.— Пиши еще!

Она написала на доске: «Родина».

Артем стал было переписывать слово в тетрадь, да вдруг замер и прислушался.

На улице кто-то сказал страшным заунывным голосом: «У-у!», а потом еще раздалось откуда-то, как из-под земли: «Н-н-н!».

И Артем увидел в окне черную голову быка. Бык глянул на Артема одним кровавым глазом и пошел к школе.

— Мама!— закричал Артем.

Учительница схватила мальчика и прижала его к своей груди.

— Не бойся!— сказала она.— Не бойся, маленький мой. Я тебя не дам ему, он тебя не тронет.

— У-у-у!— прогудел бык.

Артем обхватил руками шею Аполлинарии Николаевны, а она положила ему свою руку на голову.

— Я прогоню быка.

Артем не поверил.

— Да. А ты не мама!

— Мама!.. Сейчас я тебе мама!

— Ты еще мама? Там мама, а ты еще, ты тут.

— Я еще. Я тебе еще мама!

В классную комнату вошел старик с кнутом, запыленный землей; он поклонился и сказал:

— Здравствуйте, хозяева! А что, нету ли кваску испить либо воды? Дорога сухая была...

— А вы кто, вы чьи? — спросила Аполлинария Николаевна.

— Мы дальние,— ответил старик.— Мы скрозь идем вперед, мы племенных быков по плану гоним. Слышите, как они нутром гудят? Звери лютые!

— Они вот детей могут изувечить, ваши быки!— сказала Аполлинария Николаевна.

— Еще чего!— обиделся старик.— А я-то где? Детей я уберегу!

Старик пастух напился из бака кипяченой воды — он полбака выпил,— вынул из своей сумки красное яблочко, дал его Артему. «Ешь,— сказал,— точи зубы»,— и ушел.

— А еще у меня есть еще мамы?— спросил Артем.— Далеко-далеко, где-нибудь?

— Есть,— ответила учительница.— Их много у тебя.

— А зачем много?

— А затем, чтоб тебя бык не забодал. Вся наша Родина — еще мама тебе.

Вскоре Артем пошел домой, а на другое утро он спозаранку собрался в школу.

— Куда ты? Рано еще,— сказала мать.

— Да, а там учительница Аполлинария Николаевна!— ответил Артем.

— Ну что ж, что учительница. Она добрая.

— Она, должно, уже соскучилась, — сказал Артем. — Мне пора.

Мать наклонилась к сыну и поцеловала его на дорогу.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК

(СКАЗКА-БЫЛЬ)

Жил на свете маленький цветок. Никто и не знал, что он есть на земле. Он рос один на пустыре; коровы и козы не ходили туда, и дети из пионерского лагеря там никогда не играли. На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни, и меж ними была сухая мертвая глина. Лишь один ветер гулял по пустырю; как дедушка-сеятель, ветер носил семена и сеял их всюду — и в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь. В черной доброй земле из семян рождались цветы и травы, а в камне и глине семена умирали.

А однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно в ямке меж камнем и глиной. Долго томилось это семечко, а потом напиталось росой, распалось, выпустило из себя тонкие волоски корешка, впилось ими в камень и в глину и стало расти.

Так начал жить на свете тот маленький цветок. Нечем было ему питаться в камне и в глине; капли дождя, упавшие с неба, сходили по верху земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и жил и рос помаленьку выше. Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал возле цветка; из ветра упадали на глину пылинки, что принес ветер с черной тучной земли; и в тех пылинках находилась пища цветку, но пылинки были сухие. Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. А когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз; она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мертвую глину.

Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. Однако трудно было цветку питаться из одних пылинок, что выпали из ветра, и еще собирать для них росу. Но он нуждался в жизни и превозмогал терпеньем свою боль от голода и усталости. Лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его утомленных листьев.

Если же ветер подолгу не приходил на пустырь, плохо тогда становилось маленькому цветку, и уже не хватало у него силы жить и расти.

Цветок, однако, не хотел жить печально; поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он дремал. Все же он постоянно старался расти, если даже корни его глодали голый камень и сухую глину. В такое время листья его не могли напитаться полной силой и стать зелеными: одна жилка у них была синяя, другая красная, третья голубая или золотого цвета. Это случалось оттого, что цветку недоставало еды, и мученье его обозначалось в листьях разными цветами. Сам цветок, однако, этого не знал: он ведь был слепой и не видел себя, какой он есть.

В середине лета цветок распустил венчик вверху. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым мерцающим огнем, и его видно было даже в темную ночь. А когда ветер приходил на пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою.

И вот шла однажды поутру девочка Даша мимо того пустыря. Она жила с подругами в пионерском лагере, а нынче утром проснулась и заскучала по матери. Она написала матери письмо и понесла письмо на станцию, чтобы оно скорее дошло. По дороге Даша целовала конверт с письмом и завидовала ему, что он увидит мать скорее, чем она.

На краю пустыря Даша почувствовала благоухание. Она поглядела вокруг. Вблизи никаких цветов не было, по тропинке росла одна маленькая травка, а пустырь был вовсе голый; но ветер шел с пустыря и приносил оттуда тихий запах, как зовущий голос маленькой неизвестной жизни. Даша вспомнила одну сказку, ее давно расказывала ей мать. Мать говорила о цветке, который все грустил по своей матери — розе, но плакать он не мог, и только в благоухании проходила его грусть.

«Может, это цветок скучает там по своей матери, как я»,— подумала Даша.

Она пошла в пустырь и увидела около камня тот маленький цветок. Даша никогда еще не видела такого цветка — ни в поле, ни в лесу, ни в книге на картинке, ни в ботаническом саду, нигде. Она села на землю возле цветка и спросила его:

— Отчего ты такой?

— Не знаю,— ответил цветок.

— А отчего ты на других непохожий?

Цветок опять не знал, что сказать. Но он впервые так близко слышал голос человека, впервые кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием.

— Оттого, что мне трудно,— ответил цветок.

— А как тебя зовут?— спросила Даша.

— Меня никто не зовет,— сказал маленький цветок,— я один живу.

Даша осмотрелась в пустыре.

— Тут камень, тут глина!— сказала она.— Как же ты один живешь, как же ты из глины вырос и не умер, маленький такой?

— Не знаю,— ответил цветок.

Даша склонилась к нему и поцеловала его в светящуюся головку.

На другой день в гости к маленькому цветку пришли все пионеры. Даша привела их, но еще задолго, не доходя до пустыря, она велела всем вздохнуть и сказала:

— Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.

Пионеры долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем. Потом они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек с навозом и золою, чтобы удобрить мертвую глину.

Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок, неизвестный по имени, отдохнет, а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде.

Четыре дня работали пионеры, удобряя землю на пустыре. А после того они ходили путешествовать в другие поля и леса и больше на пустырь не приходили. Только Даша пришла однажды, чтобы проститься с маленьким цветком. Лето уже кончалось, пионерам нужно было уезжать домой, и они уехали.

А на другое лето Даша опять приехала в тот же пионерский лагерь. Всю долгую зиму она помнила о маленьком, неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь, чтобы проведать его.

Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание, такое же, как от того маленького цветка-труженика.

Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только немного хуже, чем тот первый цветок. И Даше стало грустно, что нету прежнего цветка. Она пошла обратно и вдруг остановилась. Меж двумя тесными камнями вырос новый цветок — такой же точно, как тот старый цвет, только немного лучше его и еще прекраснее. Цветок этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и еще сильнее отца, потому что он жил в камне.

Даше показалось, что цветок тянется к ней, что он зовет ее к себе безмолвным голосом своего благоухания.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. П. ПЛАТОНОВА

1899 Родился 1 сентября (20 августа ст. ст.) в Ямщицкой слободе, предместье Воронежа. Был старшим сыном Платона и Марии Климентовых, у которых было одиннадцать детей. Отец, Платон Фирсович Климентов (1870—1952), был слесарем, помощником машиниста в воронежских железнодорожных мастерских.

1907—1913 Обучается в епархиальной школе при Смоленской церкви, где его учительницей была Аполлинария Кулагина; затем продолжает обучение в четырехклассной городской школе.

1914 Весной работает рассыльным в Товариществе «Россия».

1915—1917 Работает литейщиком, а затем помощником машиниста в местечке Бек-Мармашево Устье (90 км от Воронежа); потом в различных мастерских... Исторические события 1917 года застают его в воронежских железнодорожных мастерских.

1918 Вступает в РКП(б). Начинает свое обучение в Воронежском политехникуме по специальности электротехника; дебютирует в воронежской прессе рассказом «Очередной» в еженедельнике «Железный путь», № 2, а затем стихами «Поезд», там же, № 6. С осени много публикуется в газетах «Известия Совета обороны воронежского укрепленного района», «Красная деревня», «Воронежская коммуна», «Наша газета» и др.

1919 После 6-го Воронежского съезда Советов отделегирован в город Новохоперск как корреспондент газеты «Известия Совета обороны воронежского укрепленного района» в целях мобилизации населения для борьбы с Деникиным. Как железнодорожник, освобожден от службы в Красной Армии, будучи вместо этого приписан к ЧОНу (Части особого назначения), как помощник машиниста бронепоезда.

1920 31 марта принят в Комсожур (Союз коммунистических журналистов). 29 сентября выбран делегатом Всероссийского съезда на собрании Союза пролетарских писателей.

1921 Выходит в свет брошюра Платонова «Электрификация». Публикуется серия его публицистических статей на темы искусства, науки, кооперации, электрификации и т. д., прежде всего на страницах газеты «Воронежская коммуна», подписанных псевдонимом А. Платонов (который станет фамилией писателя), А. Фирсов, курсант А. П. или просто инициалами: А. П., А. Пл. В июле публикуются фельетоны, рассказы, очерки в издании

воронежского Комсожура «Огни», № 1 и 2. Отдает одно из стихотворений в альманах «Голодающим детям». Вычеркнут из РКП(б), будто бы за отказ участвовать в плохо организованном субботнике. Публикует рассказ «Маркун» («Кузница», № 7).

1922 5 февраля отпущен редакцией газеты «Воронежская коммуна» (был в ней сотрудником отдела литературного и научно-популярного) и начинает работать в Губернском управлении как работник комиссии по гидротехническим делам. Выходят в свет его рассказы: «Детские воспоминания», «Приключения Баклажанова», «Данилок» («Воронежская коммуна»), статья «Потомки солнца», фельетон «Красное знамя», изданный в Краснодаре, а также фантазия «Сатана мысли», позже издаваемая под заглавием «Потомки солнца». Публикует также стихи; подборка их публикуется в Краснодаре в томике «Голубая глубина», предваренном предисловием Г. М. Литвина-Молотова. Летом и осенью учится в Коммунистическом университете в Воронеже, где знакомится со студенткой Марией Кашинцевой, дочерью врача, своей будущей женой.

1923 Выходит рецензия В. Брюсова на томик стихов «Голубая глубина» («Печать и революция», № 6). Платонов выступает в клубе «Железное перо», продолжает занятия публицистикой; посылает на конкурс журнала «Красная нива» рассказ «Бучило», который получает первую премию. Воронежская «Наша газета» публикует «Рассказ о многих интересных вещах» (12 июля — 19 августа, № 73—88). Рождается на свет сын писателя Платон (Тотик, Тоша).

1924 В мае принимает участие в съезде гидрологов в Ленинграде. В журнале «Красная нива», № 43, выходит рассказ «Бучило». В ноябре участвует в вечере воронежских поэтов. В декабре едет в Ленинград для отбора экскаватора, необходимого для работ по регуляции рек в Воронежской губернии. Публикует стихотворение «На смерть Ленина» в журнале «Московский служащий» (№ 1) и других.

1925 Приезд в Воронеж Виктора Шкловского по командировке «Правды», встреча его с Платоновым-мелиоратором. Платонов участвует в вечере воронежских поэтов и писателей, читает свои рассказы «О малопитательной ерунде» и «Жизнь иерея Прокопия Жабрина».

1926 4 марта принимается отрицательное решение по вопросу о просьбе писателя о повторном приеме его в партию. Участвует в первой половине мая во Всероссийском совещании гидротехников в Москве; избирается в Центральный комитет заводского союза работников пашни и леса (Всеработземлес). 10 мая увольняется из Губернского управления, получает свидетельство с места предыдущей работы и выезжает в Москву. В декабре в журнале «Всемирный следопыт», № 12, появляется фантастическая повесть «Лунная бомба». С 5 декабря начинает

работу в качестве помощника подотдела мелиорации в Тамбовском губернском земском управлении. Жена и сын остаются в Москве. Работает над рядом повестей и рассказов: «Епифанские шлюзы» («Молодая гвардия», № 6), «Антисексус» (опубликован в 1981 г.), «Эфирный тракт» (опубликован в 1968 г.), работает над замыслами рассказов и повестей «Семен», «Город Градов», «Родина электричества» и др. В Москве выходит «Третья фабрика» В. Шкловского, в которой три раздела главы посвящены Платонову.

1927 В марте отказывается от работы в Тамбове, возвращается в Москву, где получает работу в газете «Крестьянская правда». Выходит первый том прозы «Епифанские шлюзы».

1927 Интенсивно работает над повестью «Чевенгур», которой первоначально дал название «Строители страны. Путешествие с открытым сердцем»; начальная часть повести оказалась в журналах под названиями «Потомок рыбака» («Красная новь», № 6) и «Приключение» («Новый мир», № 6). Публикует совместно с Б. Пильняком репортаж о путешествии по Центрально-Черноземному району («Че-Че-О», «Новый мир», № 12), а также пишет совместно с ним пьесу «Дураки на периферии», до сих пор не опубликованную. Выходит очередной том прозы «Сокровенный человек», а также повесть «Луговые мастера».

1929 Выходит очередной том прозы «Происхождение мастера». Повесть, давшая заглавие сборнику, является экспозицией повести «Чевенгур», подготовленной для опубликования отдельно. 18 сентября, в связи с приостановкой печатания «Чевенгура», посылает рукопись Горькому. Рассказы «Государственный житель», «Усомнившийся Макар» появляются в журнале «Октябрь» (№ 6 и 9), которые вызывают острую атаку на писателя. Платонов только на выступление В. Стрельникова отвечает статьей «Против халтурных судей» («Литературная газета», № 26).

1930 Платонову едва удается опубликовать один рассказ «Первый Иван» («Октябрь», № 2) и два стихотворения «Проводы», и «Мать» в альманахе «Рост», издаваемом в Ярославле. Наряду с критическими откликами о его прозе (М. Майзель. «Ошибки мастера», Р. Мессер. «Попутчики второго призыва», № 4, «Звезда», газета «Резец», № 7) появляется статья Федора Левина в защиту творчества писателя.

1931 Издает повесть-репортаж «Впрок. Бедняцкая хроника» («Красная новь», № 3), которая вызывает лавину критических выступлений в адрес автора. А. Фадеев назвал повесть «кулацкой хроникой» («Красная новь», № 5—6). Платоновы переезжают из Проезда Художественного театра на Тверской бульвар, где писатель проживает до конца своей жизни.

1932 По-прежнему продолжается кампания против «Бедняцкой хроники». Платонов пробует себя в новом качестве: он пишет пье-

су «Высокое напряжение», которую посылает М. Горькому. Поставить ее не удается (опубликована в 1986 г.).

1933 Платонов посылает А. Фадееву свою поэму, которая не была напечатана. Машинопись этой поэмы, о которой вспоминает А. Фадеев в письме к Платонову от 23 августа, не удалось обнаружить.

1934 12 февраля Платонов посылает М. Горькому рассказ «Мусорный ветер» для альманаха «Год XVII» (рассказ был напечатан в 1966 г.). Пишет пьесу «Шарманка» (опубликована в 1988 г.). Весной отправляется в Туркмению. Участвует в I съезде туркменских советских писателей (8—12 мая), пишет рассказ «Такыр», который одновременно отдает в альманах «Айдинг-Гюнтер» и в журнал «Красная новь» (№ 6). Ежемесячник «30 дней» публикует рассказ «Любовь к дальнему» (№ 2). Выходит восьмой том «Литературной энциклопедии» с биографией Платонова, написанной Н. Гнединым. Писатель берется за работу над повестью «Джан».

Первая половина тридцатых годов. Платонов пишет рассказ «Юшка» (опубликован в 1966 г.), работает над повестями «Котлован» и «Ювенильное море», а также над пьесой «14 красных избушек» (опубликована в 1987 г).

1935 Критика обращает внимание на рассказ «Такыр» («Литературный критик», № 6).

1936 Журнал «Красная новь» (№ 1 и 11) печатает рассказы «Третий сын», «Глиняный дом в уездном саду» (первоначальное название «Нужная родина»), а «Литературный критик» (№ 8) рассказы «Бессмертие» и «Фро». В редакционном вступлении была предпринята попытка защитить писателя от атак со стороны критиков и невозможности публикаций. Платонов вновь едет в Туркмению. Продолжает работу над повестью «Джан» (впервые напечатана в сокращении в 1964 г., полностью в 1970 г. (?)). Налаживает сотрудничество с кино, пишет сценарии к фильмам («Карагез», «Отец-мать»), которые не были поставлены. «Литературное обозрение» № 18 публикует его пьесу «Лепящий улыбку».

1937 Выпускает томик прозы «Река Потудань», который вызывает бурные споры. Платонов начинает деятельность критика, публикует статьи и рецензии под псевдонимами Ф. Человеков, А. Фирсов. В связи с уничтожающей критикой его творчества Гурвичем («Красная новь», № 10) пишет статью «Возражение без самозащиты» («Литературная газета», 20 декабря).

1938 Продолжает работу в качестве литературного критика на страницах журнала «Литературный критик». Появляются несколько его рассказов: «Ольга» («Новый мир», № 7), опубликованы затем «На заре туманной юности» и фрагмент повести «Джан» («Литературная газета», № 43), «Июльская гроза» (там же, № 54, а также в журнале «Октябрь», № 11, в форме книжки для детей). Арестован сын Платонова.

1939 Опубликован рассказ «Родина электричества» («Индустрия социализма», № 6), «Свет жизни» («30 дней», № 8/9) и несколько других.

1940 Писатель начинает работу над сценарием «Июльской грозы», переписывается на эту тему с В. Шкловским. Публикуется сценарий «Неродная дочь» («Вокруг света», № 12) и несколько рассказов: «Алтерке» («Дружные ребята», № 2), «Старый механик» («30 дней», № 2).

1941 Эвакуируется с семьей в Уфу.

1942 В Уфе выходит сборник его рассказов «Под небесами родины», а в Москве томик прозы «Одухотворенные люди». 8 октября призван в Красную Армию в качестве корреспондента военной газеты «Красная звезда».

1943 4 января умирает сын Платонова; писатель приезжает с фронта на похороны, которые состоялись на Армянском кладбище в Москве. Военные рассказы Платонова появляются на страницах журналов «Знамя», «Красная звезда», «Краснофлотец». В Москве выходят поочередно три сборника этих рассказов: «Бессмертный подвиг моряков», «Рассказы о родине» и «Броня».

1944 Платонов и дальше публикует военные рассказы в газетах и журналах «Дружные ребята», «Красная звезда», «Труд», «Красноармеец». Английский перевод рассказа «Третий сын» включен в вышедший в Лондоне том «Советского рассказа». В сентябре, два месяца спустя после контузии, привезен домой на носилках. Несмотря на прогрессирующую болезнь (туберкулез), возвращается на фронт, отказавшись от полагающегося ему санатория. 11 октября появляется на свет дочь Платонова, Мария. В «Правде» 27 декабря появляется критическая рецензия на его военную прозу (В. Лебедев. «Литературные выкрутасы»).

1945 Выходит томик рассказов «В сторону заката солнца». Появляются рассказы «Цветок на земле» и «Никита» («Мурзилка», № 4 и 7, «Новый мир», № 7), а также «Жена машиниста» («Гудок», № 118). Выходит французский том военных рассказов Платонова. Пишет вместе с Р. Фраерманом пьесу «Волшебное существо».

1946 В феврале писатель демобилизуется. В журнале «Новый мир» (№ 10, 11) опубликован рассказ «Семья Иванова», печатающийся после смерти писателя под названием «Возвращение», который вызывает серию нападок на писателя. Помимо сценария, опирающегося на мотивы этого рассказа («Возвращение»), возникает сценарий «Солдат-труженик, или После войны»).

1947 Критики (А. Фадеев, В. Ермилов, Е. Книпович, З. Кедрина, Т. Мотылева и другие) обсуждают якобы клеветнический рассказ о возвращении Иванова. Выходит в свет новелла «Счастье вблизи человека», являющаяся фрагментом повести «Джан»

(«Огонек», № 15), и первая сказка в обработке писателя «Финист — Ясный сокол».

1948 Выходит в свет том русских сказок в пересказах Платонова «Финист — Ясный сокол». 6 января «Пионерская правда» публикует сказку Платонова «Две крошки», которая немедленно подвергается на страницах «Правды» (9 января) И. Рябовым сокрушительной критике «за пацифизм».

1949 Выходит том башкирских народных сказок в обработке писателя («Башкирские народные сказки»), «Комсомольская правда» (№ 45) пишет о «космополитизме» Платонова, который надлежит «разоблачить до конца».

1950 Выходит из печати том русских народных сказок в обработке Платонова под редакцией М. Шолохова «Волшебное кольцо». «Семья Иванова» издается на английском, на польском, выходит томик военных рассказов «Солдатское сердце» в переводе Е. Чекальского. Платонов пишет пьесу «Пушкин в Лицее» и с мыслью о постановке продолжает работать над «Ноевым ковчегом», который остался незавершенным.

1951 5 января писатель скончался от туберкулеза в своей квартире на Тверском бульваре, похоронен был рядом с сыном на Армянском кладбище в Москве. В некрологе, подписанном И. Эренбургом, А. Фадеевым, К. Фединым, Б. Пастернаком, М. Шолоховым, Н. Тихоновым и А. Твардовским, читаем: «Андрей Платонов был кровно связан с советским народом. Ему он посвятил все силы своего сердца, ему отдал свой талант» («Литературная газета», № 2).

КОММЕНТАРИИ

Сокровенный человек

Впервые напечатан в сб. «Сокровенный человек» (1928). Предположительное время написания — 1926—1927 гг.

Известен отзыв о повести известного критика, редактора и писателя А. К. Воронского, отзывавшегося в письме к М. Горькому о повести следующим образом: «Мне нравится Андрей Платонов, он честен в письме, хотя еще и неуклюж. У меня есть его повесть о рабочем Пухове — эдакий русский Уленшпигель — занятно».

Несмотря на неоднозначную оценку повести критикой 20—30-х годов, современные исследователи склонны относить ее к числу наиболее удачных ранних произведений Платонова, в которых сложно и неоднозначно рассматривался путь в революцию человека из народа. Фома Пухов — «Фома неверующий»— пробует идеи и этику новой государственности «на прочность», испытывая не только ее, но и себя. Пуховы, принявшие революцию «на веру», возжаждавшие «делать историю»,— тема позднейших платоновских произведений («Происхождение мастера», «Чевенгур», «Котлован» и др.).

Джан

Впервые частично опубликована в «Литературной газете», 1938, 5 августа, № 43 («Возвращение на родину»), в журнале «Огонек», 1947, № 15 («Счастье вблизи человека»).

После смерти писателя — в сокращении в журнале «Простор» (Алма-Ата), 1964, № 9. Начало работы датируется по времени возвращения А. Платонова из первой поездки в Туркмению — 1934 г., хотя некоторые архивные заметки, хранящиеся в ЦГАЛИ, позволяют отнести замысел произведения к 1933 году.

Полностью повесть опубликована в книге: Платонов Андрей. Избранные произведения: В 2 т.— М., 1978.— Т. I (текстологи и комментаторы издания — Е. А. Краснощекова и М. Н. Сотскова).

Повесть «Джан», как и рассказ «Такыр»,— результат поездок Платонова в составе бригады писателей в Среднюю Азию в 1934 и 1936 гг. В повести Платонов в сложной художественной форме, совмещающей в себе традиции старинных преданий и мифов с традицией философской прозы, попытался рассказать о судьбе легендарного народа джан, утратившего за века бесправного и скудного существования свою душу, и о том, как, сбрасывая иго забвения, движется он к счастью, памяти и обретению человечности.

«Для истинно воодушевленной, для целесообразной жизни народа нужна еще особая организующая сила в виде идеи всемирного значения, способной отвечать сокровенному желанию большинства народа, чтобы наполнить его сердце удовлетворением собственного развития и победы»,— читаем мы в одной из платоновских статей 30-х годов. Идею эту Платонов видел в «универсальной, мудрой и мужественной человечности»— высшей цели социализма. Функция Назара в повести состоит в том, чтобы, следуя внешне прочерченному традицией пути эпического героя (в «Джан» все время ху-

дожественно обыгрываются древнейшие индо-иранские мифы), взломать фольклорное мировоззрение. И дать народу немедленно достичь более высокой и человечной общности.

Родина электричества

Впервые напечатан в журнале «Индустрия социализма», 1936, № 6. Рассказ датируется писателем 1926 годом.

«Свет и социализм»— так называлась одна из ранних статей молодого Платонова. «Свет» и «социализм» для Платонова в двадцатые годы — понятия тождественные. Революция, озарившая темную, многострадальную Россию, почти напрямую отождествлялась Платоновым с «лампочкой Ильича», пришедшей в крестьянские избы. Свет новых идей и свет науки, свет электротехники должен был, по мысли писателя, мгновенно и радостно переустроить вселенную. Ощущение сложности и непростоты задачи приходит к молодому писателю не сразу, и свидетельство этого — его рассказы, такие, как «Родина электричества», «О потухшей лампе Ильича», «Песчаная учительница».

Столкновение «технического разума» и «естественного начала», воплощенного в восприятии народа как природной стихии, как массы (общее свойство молодой советской литературы 20-х годов), характерное, по мнению исследователей, для Платонова в это время, заканчивается в конечном счете признанием значимости требований, предъявляемых этой массой. Писателем выдвигается новая для его героя задача — воспитание нового сознания, одухотворение сознания.

На заре туманной юности

Впервые напечатан под названием «Ольга» в журнале «Новый мир», 1938, № 7. Название «На заре туманной юности» (строка из стихотворения А. Кольцова, а также заглавие одноименного рассказа Вл. Соловьева) дано автором для последующих изданий.

Изживание духовного сиротства, ощущение высокой причастности к судьбе всего народа, всего человечества — типичный путь платоновского «сироты» из одиночества — в народ, к людям.

«Без меня народ неполный»,— скажет один из героев рассказа. «Но и без народа нет меня»,— окончит он свою мысль.

«Смысл жизни не может быть большим или маленьким — он непременно сочетается с вселенским и всемирным процессом и изменяет его в свою особую сторону,— вот это изменение и есть смысл жизни»,— запишет позднее Платонов в своих записных книжках.

Река Потудань

Впервые опубликован в сб. «Река Потудань» (1937).

Андрей Платонов много и трудно думал о любви — начиная с ранних статей и выступлений в воронежской печати и вплоть до поздних, самых зрелых и мудрых произведений («Афродита», «Возвращение»). Его отношение к любви сложно, противоречиво и неоднозначно. Постоянно для писателя лишь одно: продолжая традицию высокой духовности этого чувства, свойственную русской классической литературе, Платонов отрицает в нем

чисто чувственное, потребительское, в конечном счете эгоистическое начало. (Ср. его письма к жене: «1927 г. ...Любовь — мера одаренности жизнью людей, но она, вопреки всему, в очень малой степени сексуальность. Любовь страшно проницательна, и любящие насквозь видят друг друга со всеми пороками и не жалуют один другого обожанием... Любовь совсем не собственность. ...Любовь, как всякую природную стихию, можно приложить и иначе. Как электричеством, ею можно убивать, светить над головой и греть человечество...»)

Фро

Впервые опубликован в журнале «Литературный критик», 1936, № 8.

Публикации этого рассказа в критико-литературоведческом журнале сопутствовала редакционная статья «О хороших рассказах и редакторской рутине», явившаяся смелым и честным актом поддержки писателя в трудной и несправедливой ситуации, когда его художественные произведения не печатались и он был вынужден заниматься под различными псевдонимами литературно-критической деятельностью.

Пафос редакционной статьи заключался в попытке раскрыть подлинную сущность платоновского гуманизма и защитить талант от несправедливых и огульных обвинений.

Рассказ продолжал «платоновскую» тему любви. Вначале перед нами проходит образ «губительной страсти», эгоизм чувства, превращающего для молодой женщины с отъездом мужа мир в пустыню. Но, пройдя это испытание, Фро обретает радость-страдание, войдя в мир духа, труда и заботы о других. Лишь тогда любовь для героини становится связью всего, и новое расставание не разлучает, а объединяет героев. Поэтому в финале рассказа, как обещание будущего счастья и гармонии, появляется маленький мальчик-музыкант. «Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!» В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверное, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова».

Третий сын

Впервые опубликован в журнале «Красная новь», 1936, № 1. Рассказ известен как своего рода художественный канон прозы Платонова, еще при его жизни вошел в антологию советского рассказа на английском и французском языках, вышедшую во Франции и Англии, а также — в виде исключения — в сборник лучших американских рассказов года, изданный в 1937 году известным издателем О'Брайеном в Америке. В то же время рассказ послужил причиной резких критических нападок на писателя, обвиняемого в «ущербности» его гуманизма (А. Гурвич).

Дорогие писателю мысли о единстве семьи-родины-человечества, сберегаемых памятью и любовью, были осуждены якобы за апелляцию к «Униженным и оскорбленным», за мрачность и отсутствие гражданского оптимизма. Критик Л. А. Шубин в своей статье 1967 года, положившей начало современному научному этапу исследования платоновского творчества, очень точно назвал подобную критику «спором в профиль».

В рассказе воплощается его излюбленная «идея жизни» — мать уже умерла, но дети живут по ее нравственному закону: собрались возле нее и вспоминают и ее, и детство, и радость, и горе, и все общее, что делает этот закон, по Платонову, общечеловеческим, этих шестерых — родом и залогом вечности. Отсюда спокойствие и гордость старика-отца, отсюда — одна из главнейших у позднего Платонова посылок: семья — скрепа народа, родины, человечества.

В прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)

Впервые напечатан под названием «Александр Мальцев» в сокращенном виде в журнале «30 дней», 1941, № 2, затем также в сокращенном виде под названием «Воображаемый свет» в журнале «Дружные ребята», 1941, № 3.

История знаменитого машиниста, обладавшего великим талантом вождения, отделенного от остальных, не столь совершенных людей одинокой гордыней своего таланта, становится для Платонова поводом для размышлений над судьбой исключительных личностей, над превратностями судеб, переворачиваемых внезапно катастрофой, и о единственном залоге спасения — человеческой ответственности и солидарности. Ответственности не только за судьбы значительных личностей, но и за те пути, по которым поведут они «локомотив истории». Мотиву «роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека», «враждебных для человеческой жизни гибельных обстоятельств», «внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира» противопоставляется мотив человечности и человеческого достоинства.

По небу полуночи

Впервые опубликован в журнале «Индустрия социализма», 1939, № 7. Отрывок под названием «Над Пиренеями, — в «Литературной газете», 1939, 5 июня, № 31.

Включенная в текст рассказа глубинная поэтическая реминисценция — лермонтовское стихотворение «Ангел» — позволяет увидеть потаенный философский смысл этого антифашистского рассказа. Напомним лермонтовские строки:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
. . . .
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.

Мальчик-сирота, погруженный жестоким миром «неодушевленных врагов» в беспамятство, в темноту сознания,— состояние для писателя худшее, чем смерть,— обвинение, брошенное стихии фашизма, миру мертвых идолов. Зуммер — символический герой, берущий на себя ответственность от лица европейского гуманизма, проходит искус испытания и сомнения, прежде

чем совершает свой выбор,— и волен взмыть душой, как современный, гипотетический и скорбный ангел,— ввысь, в небо, в мир свободы и надежды, унося в своих объятиях «душу младую», ищущую свою мать и свою родину.

Неодушевленный враг

Впервые опубликован с подзаголовком «Философское раздумье о советском солдате и солдате-фашисте» в еженедельнике «Литературная Россия», 1965, 7 мая, № 15. Авторская датировка— Действующая армия, 1943.

Среди многочисленных платоновских рассказов о войне (сб. «Под небесами родины», «Одухотворенные люди», «Бессмертный подвиг моряков», «Рассказ о родине», «Броня») он занимает особое место. В нем выражена платоновская философия народной, праведной войны, когда против врага, ощущаемого как инородное, чуждое природе и людям существо, восстает все — и это восстание справедливо своей глубокой и естественной закономерностью. Сказочное противостояние «живого» и «мертвого» предстает в платоновском философском рассказе в виде спора-поединка двух солдат — русского и немецкого, за каждым из которых — определенная идеологическая, нравственная и философская позиция.

Платоновская идея выражается просто: «Рождается ребенок лишь однажды, но оберегать его от врага и от смерти нужно постоянно. Поэтому в нашем народе понятие матери и воина родственны: воин несет службу матери, храня ее ребенка от гибели. И сам ребенок, вырастая сбереженным, превращается затем в воина».

Афродита

Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь», 1962, № 9. Условная датировка — 1944—1945 гг.

Этот рассказ не только автобиографичен — он несет в себе итог многолетних размышлений писателя о смысле жизни, о человечности, о вере и любви. Любовь — бескорыстная и одухотворенная, заставляющая героя, Назара Фомина, обращаться с вопросом о любимой ко всему миру «животных и растений», позволяет признаться, что приносимая ею «радость-страдание» и есть источник творческой неуспокоенности, залог вечной «живой жизни». Мифологическая богиня любви древних греков — и живая русская женщина, которую назвал Афродитой муж,— для Платонова родные сестры, образы красоты, гармонии и счастья.

Возвращение

Впервые под названием «Семья Иванова» в журнале «Новый мир», 1946, № 10—11.

Сразу же после опубликования рассказ подвергся резкой критике (Ермилов В. В. Клеветнический рассказ А. Платонова//Литературная газета.— 1947.— 4 января.— № 1). Позже В. В. Ермилов признался в этом как в своей серьезной ошибке: «Я не сумел войти в своеобразие художественного мира Андрея Платонова, услышать его особенный поэтический язык, его грусть и радость за людей. Я подошел к рассказу с абстрактными мерка-

ми, далекими от реальной сложности жизни и искусства» (Литературная газета.— 1964.— 17 октября).

В этом рассказе Платонов как бы пояснял простую и важную мысль: «Одно из самых опасных для народа последствий войны — разрушение семьи. Где найти нравственную силу, которая сможет противостоять губительным страстям людей, и где находятся источники их истинной любви, которыми люди обмениваются в знак верности и взаимного чувства на всю жизнь...»

Июльская гроза

Впервые опубликован в «Литературной газете», 1938, 30 сентября, № 54, затем в сокращенном виде под названием «Гроза» в журнале «Дружные ребята», 1939, № 1.

Мир детства у Платонова — это особый космос, вхождение в который на равных дозволено не всякому. Этот мир — прообраз большой вселенной, ее социальный портрет, чертеж и абрис надежд и великих утрат. Образ ребенка в прозе XX века всегда глубоко символичен. Образ ребенка в прозе Платонова не только символичен — он щемяще конкретен: это мы сами, наша жизнь, ее возможности и ее утраты... поистине, «велик мир в детстве...».

«Ребенок долго учится жить,— пишет в записных книжках Платонов,— он учится самоучкой, но ему помогают и старшие люди, которые уже приучились жить, существовать. Наблюдать за развитием сознания в ребенке и за осведомленностью его в окружающей неизвестной действительности составляет для нас радость».

Еще мама

Впервые опубликован в журнале «Вожатый», 1965, № 9.

Дата написания не установлена.

«Мать, рождая сына, всегда думает: не ты ли — тот?»,— записывал Платонов в своих заметках. Воспоминания о своей первой учительнице А. Н. Кулагиной (см. «Автобиографическое письмо») приобретают в платоновской прозе присущий ему высокий символический смысл. «Мать» в мире художественной платоновской прозы — символ души, чувства, «нужной родины», «спасения от беспамятства и забвения». Вот почему «еще мама»— та, кто вводит ребенка в «прекрасный и яростный» мир, учит ходить по его дорогам, дает нравственные ориентиры.

Неизвестный цветок (сказка-быль)

Впервые опубликован на украинском языке в газете «Ленинская смена», Харьков, 1968, 20 января, № 8.

Как свидетельствует М. А. Платонова, рассказ датируется ноябрем — декабрем 1950 года.

Рассказ этот, написанный незадолго до смерти, по словам вдовы, явился как бы творческим завещанием писателя. Простая притча о цветке, вырастающем из праха и пыли, из смертных останков, перерабатывающем самое смерть в жизнь,— творческое кредо прекрасного писателя.

«Искусство заключается в том, чтобы посредством **наипростейших** средств выразить **наисложнейшее.** Оно — высшая форма экономии».

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Платонов Андрей Платонович

ИЗБРАННОЕ

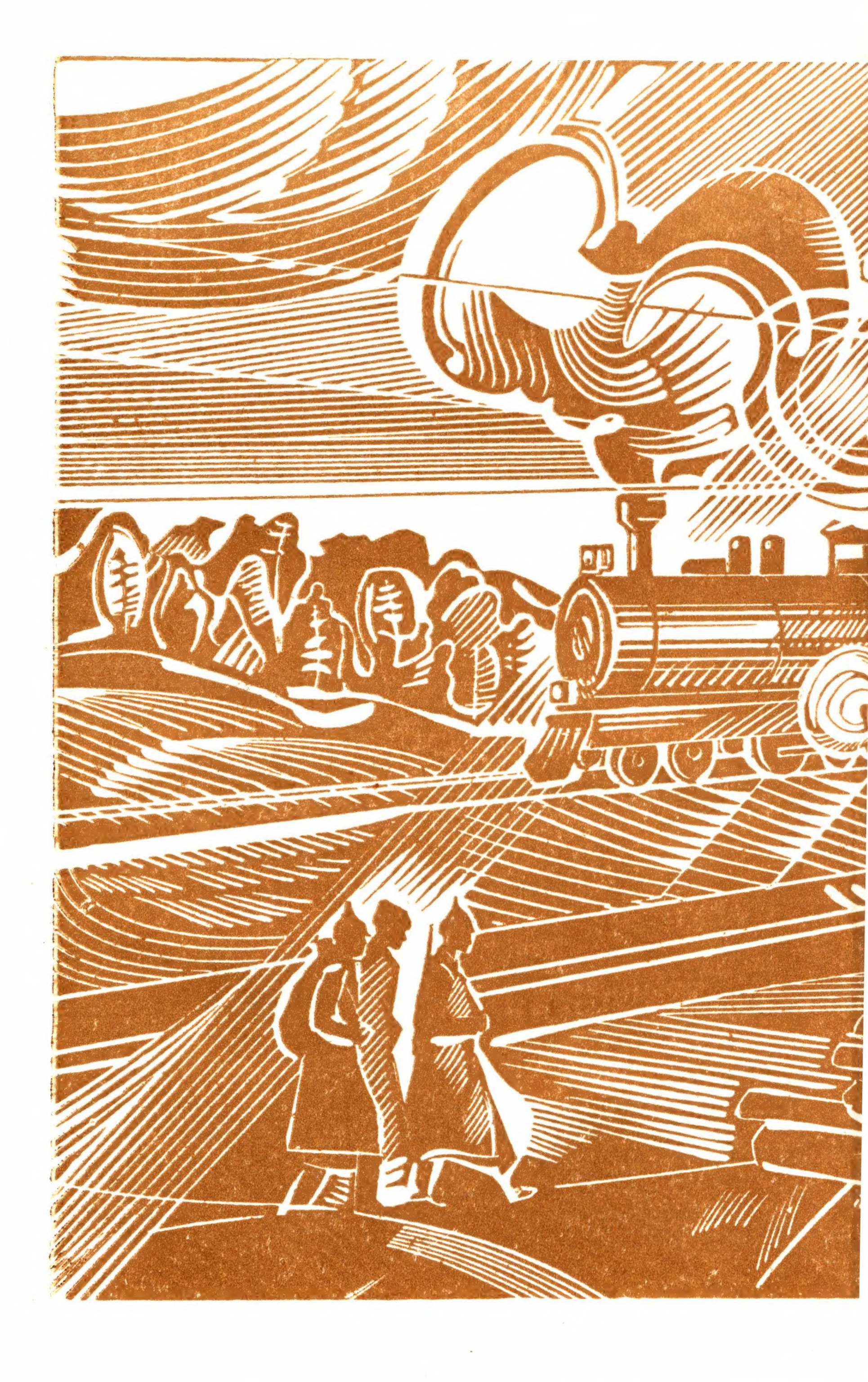
Зав. редакцией *В. П. Журавлев*
Редактор *Ю. Д. Тарасов*
Художественный редактор *Л. Ф. Малышева*
Технический редактор *С. С. Якушкина*
Корректор *Л. С. Вайтман*

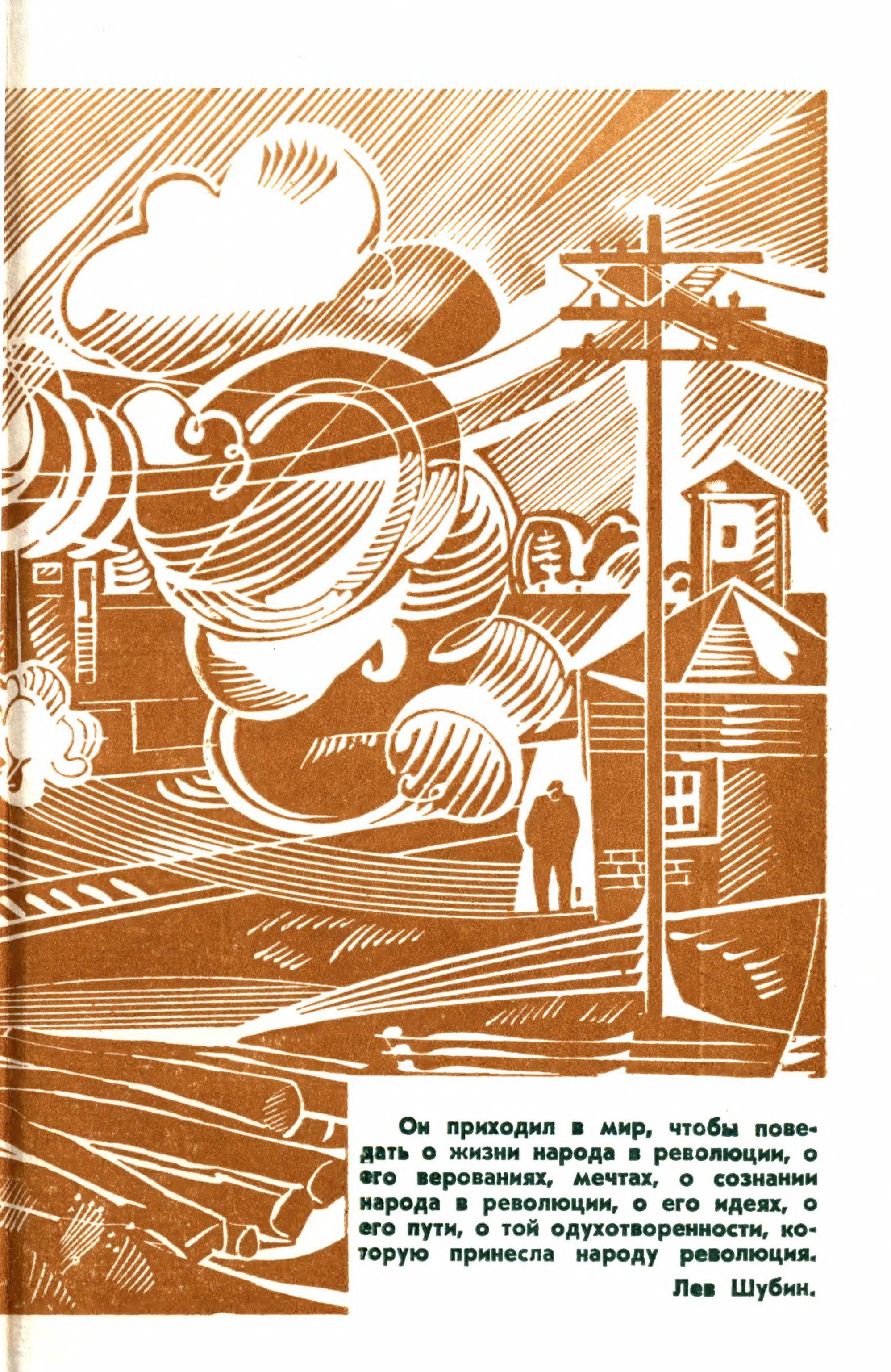
ИБ № 12919

Подписано к печати с матриц 16.03.89. Формат 60×90 1/16. Бум. типограф. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,0+0,25 форз. Усл. кр.-отт. 23,68. Уч.-изд. л. 24,85+0,3 форз. Тираж 360 000 экз. Заказ 1045. Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли. 214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.





Он приходил в мир, чтобы поведать о жизни народа в революции, о его верованиях, мечтах, о сознании народа в революции, о его идеях, о его пути, о той одухотворенности, которую принесла народу революция.

Лев Шубин.

1р. 10к.




А.П. ПЛАТОНОВ